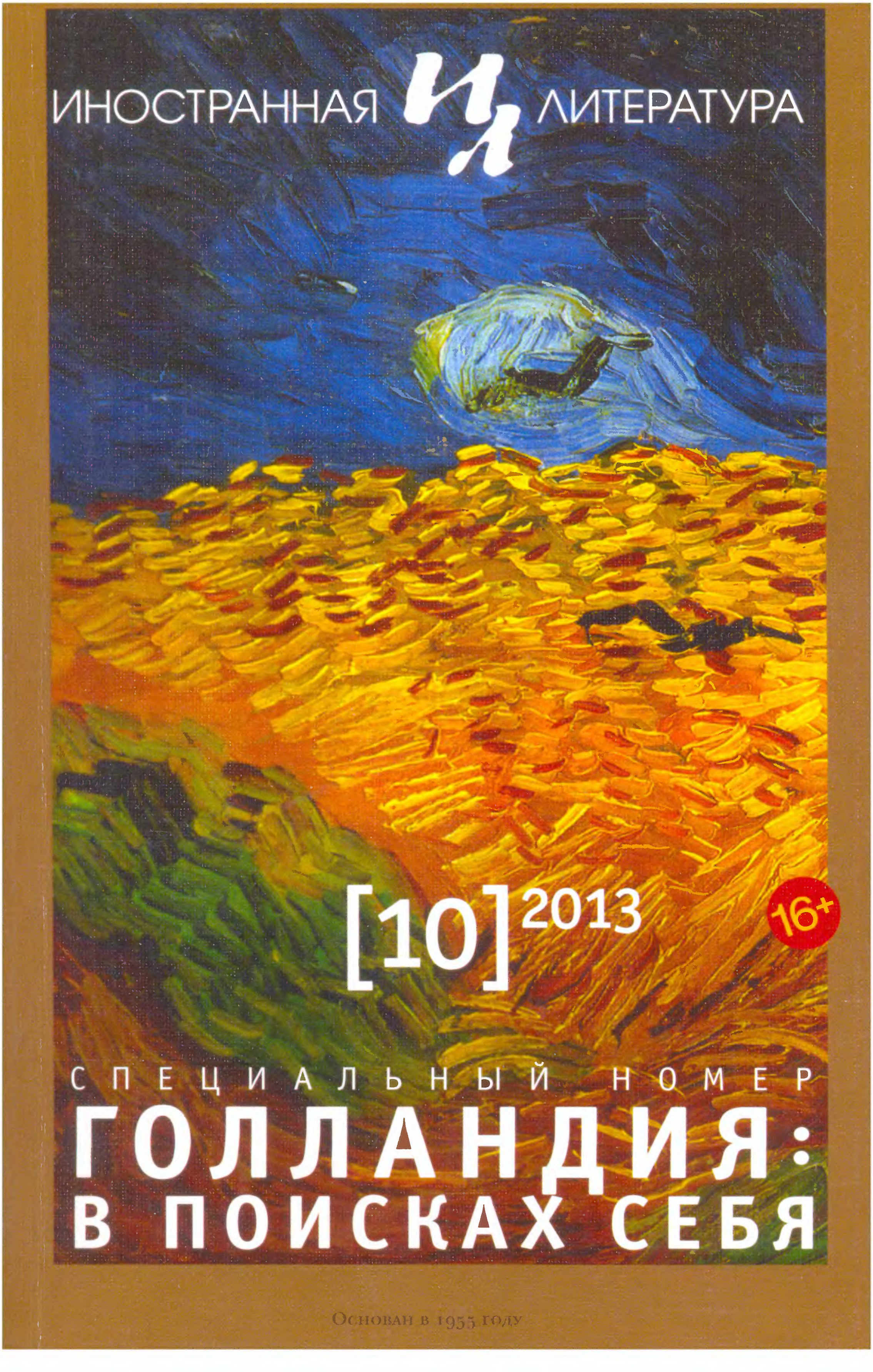
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[10] 2013

16+

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР

ГОЛЛАНДИЯ: В ПОИСКАХ СЕБЯ

Основан в 1955 году

Что нам известно о голландцах? Коммерсанты, любящие и умеющие делать деньги, при этом считающие дурным тоном выставлять свое богатство напоказ. Живописцы, которых отличает глубокий психологизм и в то же время неизбывно оптимистичное отношение к жизни. Путешественники, колонисты, охотно перенимавшие традиции, обычаи и нравы местного населения. Голландцев и сейчас тянет в дальнюю дорогу, им, как, может быть, никому из европейских народов, свойственна "охота к перемене мест". Примечательная черта этого предприимчивого, волевого, трудолюбивого народа — это удивительная восприимчивость, любопытство, интерес к самым разным проявлениям жизни. То, что Спиноза в XVII веке сформулировал кратко: "Не осмеивать человеческие поступки, не огорчаться из-за них, не клясть их, но понимать". Любопытство, проявляющееся в стремлении понять чужого, проникнуть в его сущность, отыскать то важное, что определяет его мысли и действия. Это же стремление лежит в основе всей голландской литературы, от средневековых моралите и нравоучительной поэзии и драматургии и даже клюхтов (фарсов) Золотого века до прозы и поэзии последнего столетия. Все необычное, чужое вызывает у голландских писателей не отторжение, но пытливый интерес, дает возможность для сравнений, позволяет взглянуть на себя со стороны, поставить себя на место Другого и, поняв его, понять самих себя. Поэтому мы и назвали этот номер "В поисках себя"; по-голландски — zoektocht naar zichzelf.

Вот и включенные в номер тексты, каждый на свой лад, представляют поиск собственного "я" — от "возвращения к давнему призрачному самому себе" классика голландского постмодерна Сейса Нотебоома до поэзии Эстер Наоми Перкин, так и назвавшей свой второй поэтический сборник — "От имени другого". От превращения Другого в Своего в "Вороне" Кадера Абдолы до повести одного из самых талантливых современных голландских авторов Арнона Грюнберга о взрослении, где Другой хочет быть не только — и не столько — Своим, но самим собой.

Авторы, вошедшие в специальную рубрику "Голландия — Россия", приуроченную к году дружбы между двумя странами, также не остались в стороне от странствий и поисков. Зарубежный период в карьере пианиста Юрия Егорова начинается с дороги в прямом смысле — побега из СССР ("В доме поэта" Я. Броккена). Болезненная страница новейшей истории нашей страны — чеченская кампания 1990-х и ее последствия десятилетие спустя также представлена рядом вдумчивых и одновременно остроумных путевых очерков голландского журналиста Олафа Кунса ("Не-Швейцария"). К рубрике "Голландия — Россия" можно отнести и три фотографии на третьей обложке нашего номера: на стенах лейденских домов русские стихи — Блок, Ахматова, Хлебников...

История предоставила каждой нации по-своему решать проблему самоидентификации. Голландский способ найти ответы на вечные вопросы "кто я?" и "кто мы?" и лег в основу специального номера "Иностранной литературы".

Евгения Ярмыш,
составитель номера

[10]
2013

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Голландия: в поисках себя

3 Арнон Грюнберг *День святого Антония.* Повесть. Перевод Светланы Князьковой

87 Кадер Абдола *Ворон.* Повесть. Перевод Надежды Возненко

151 Херман Кох *Прохожий.* Рассказ. Перевод Екатерины Торицыной

166 Саннеке ван Хассел *Белое Перо.* Рассказ. Перевод Екатерины Торицыной

173 *Из современной голландской поэзии:* Рутгер Копланд, Рамсей Наср, Миха Хамел, Тоон Теллеген, Арьен Дейнкер, Эстер Наоми Перкин. Переводы Ирины Михайловой, Нины Тархан-Моурави

Из классики XX века

191 Ян Волкерс *The Splendid Thirties.* Из книги *Назад в Ухстхейст.* Перевод Ирины Михайловой

Писатель путешествует

213 Сейс Нотебоом *Все пути ведут в Сантьяго.* Перевод Евгении Ярмыш

233 Артур Жапен *Две встречи.* Перевод Екатерины Асоян

Голландия — Россия

246 Ян Броккен *В доме поэта.* Фрагмент книги. Перевод Ирины Лейченко

259 Олаф Кунс *Не-Швейцария.* Из книги *Кавказские канатоходцы. Путешествие по запущенному саду России.* Перевод Евгении Ярмыш

Статьи, эссе

273 Ольга Тилькес *Батавское ухо*

БиблиофИЛ

282 *Голландская литература на страницах "ИЛ"*

Авторы номера

284

Kingdom of the Netherlands

Россия
Голландия
Nederland
Rusland
2013

Nederlands
letterenfonds
dutch foundation
for literature

© "Иностранная литература", 2013

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Общественный редакционный совет:

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Б. В. Дубин

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
Г. М. Дашевский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. И. Леенсон
М. А. Липко
Е. М. Мамардашвили
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Арнон Грюнберг

День святого Антония

Повесть

Перевод Светланы Князьковой

Forget it, Jake, it's Chinatown[1].

Группа "Chinatown"

Если я привидение, то я, пожалуй, самое симпатичное привидение на свете.

Астрид Линдгрен
Карлсон, который живет на крыше
(вольный перевод)

ЭТО первые слова, которые мы написали по-английски. Мы написали в жизни очень много слов, но все больше на родном языке, а на нем мало кто читает. Во всяком случае не те, кто мы бы хотели, чтобы их прочли. Например, хорватка Кристина. Мы бы хотели, чтобы наши слова прочли еще очень и очень многие. Чтобы никто не подумал, что мы писали их только для нее, ведь на самом деле это не так.

© 1998 Arnon Grunberg
© Светлана Князькова. Перевод, 2013
1. Да брось ты, Джейк, это ведь Чайнатаун. Группа "Чайнатаун" (*англ.*) (*Прим. перев.*).

Мы, конечно, и раньше писали по-английски, например, сочинения, в которых нужно употребить не меньше десяти трудных слов из прошлого урока, списки неправильных глаголов или рассказы о знаменитых людях нашей родины. Ох уж эти рассказы о знаменитых людях нашей родины! Их возвращают тебе через три дня с помеченными красным ошибками на предлоги. К черту все эти предлоги!

Сейчас мы впервые пишем по-английски по-настоящему. Это будет не рассказ о знаменитом человеке нашей родины, и не список неправильных глаголов, и даже не сочинение, в котором нужно употребить не меньше десяти трудных слов из прошлого урока.

Мы хотели бы научиться говорить так, чтобы никто не спрашивал нас: "Откуда вы приехали?" или "Как давно вы здесь живете?" Мы не хотим спотыкаться о звуки и поэтому решили писать. Если ты пишешь, то уже не спотыкаешься о звуки. Можно путать прошедшее и будущее время, можно поставить предлог там, где по правилам должен стоять совсем другой предлог. Можно сделать ошибку в спряжении глагола, но спотыкаться о звуки уже не будешь. Голос на бумаге — это голос человека, к уголкам рта которого не приклеились крошки, который нечаянно не заговорил с набитым ртом, и по его голосу не догадаешься, что человек этот плохо побрился, а также никто не станет смотреть ему в зубы так откровенно нахально.

Зубы — это наше слабое место. У нас есть и другие слабые места, но в первую очередь нас выдают зубы. Мы уже очень давно не чистили зубов. У нас в голове совсем другие вещи, отнюдь не чистка зубов. У нас даже нет зубной щетки или зубной пасты. Ведь когда едва хватает денег на хлеб, кто побежит в супермаркет за зубной пастой?

Водитель грузовика сказал, что для женщин зубы — это не важно, главное — это какими их создал Бог. Нас Бог создал хорошо. Можно сказать, даже очень хорошо. Жаль только, что на бумаге не видно, как мы хорошо сложены. Если ты говоришь на бумаге, то уже не засунешь руки в карманы брюк и не прошвырнешься по улице, чтобы невзначай обернуться и запулить камешек под ноги красивой женщине, когда она будет проходить мимо.

В мире много красивых женщин — так придумал Бог. Со временем красивые женщины превращаются в уродливых — и это все из-за дьявола. Так считалось у нас в деревне. Дьявол превращает красивое в уродливое, живое в мертвое, и даже блестящее становится тусклым, если его коснется дьявол.

Зовут нас Поль и Тито Андино. Мне восемнадцать, а Тито девятнадцать. Нашу маму зовут Рафаэлла Андино. Мы родом

из маленькой деревушки. Нелегально переправились через границу и только через четыре года смогли, наконец, расплатиться с теми, кто нас сюда привез. Своего отца мы помним плохо. Мама все отрицает, заговаривает нам зубы или молча слушает музыку и смотрит в окно, но мы-то знаем, что наш отец был бандитом. Его били не раз, потому что бандитов не любят. Он и нас колотил, и Рафаэллу, бывало, тоже, ведь если тебя часто бьют, то тебя и самого начинает тянуть в драку. Однажды ночью он влез в дом к мужику, который заранее положил рядом с кроватью дубинку из эвкалиптового дерева. Этот мужик очень разозлился на нашего отца. Он бил его по голове эвкалиптовой дубинкой до тех пор, пока голова у отца не раскололась. Это был самый грустный день в нашей жизни. Тито тогда было девять, ну, от силы десять лет.

Рафаэлла очень много плакала, ведь наш отец был любовью всей ее жизни. На похоронах она сказала, что любовь — это душистый цветок и в то же время колючка. Мы ничего не говорили. Она одела нас красиво. Тот дядька, который бил нашего отца по голове эвкалиптовой дубинкой, тоже был на похоронах, но, как и мы, ничего не говорил.

Люди, знавшие нашего отца, вспоминали, что он любил маисовый ликер. Все пили маисовый ликер, потому что он его любил. Ликер был в красных и желтых ведерках. Даже нам с Тито дали выпить. К концу поминок все напились. Одинокие мужчины подходили к Рафаэлле знакомиться. Конечно, не только одинокие, женатые тоже подходили знакомиться к Рафаэлле. "Для мужчин не имеет значения, женатые они или нет", — всегда повторяла наша мама.

По нашему мнению, нет ничего особенного в том, что папа был бандитом. Он стал бандитом, чтобы кормить нас. Мы спросили у того мужика с дубинкой, зачем он продолжал бить папу, когда тот уже лежал на полу и не шевелился. Он ответил, что на него словно что-то нашло. В тот год его четыре раза обворовали.

Сейчас, когда мы все это пишем, мы живем в Америке уже шесть лет, четыре месяца, две недели и один день.

Мама работает официанткой. Она была еще совсем юной, когда мы у нее родились, и поэтому неудивительно, что она и сейчас еще такая красивая. Если бы она не была нашей мамой, мы бы в нее влюбились.

Рафаэлла говорит: "Рано или поздно все мужчины дают тебе понять, что ты глупая и неприятная, к тому же страшная. Вначале, конечно, они этого не говорят, но рано или поздно этим все кончается".

Мы этого не понимаем. Если когда-нибудь мы полюбим женщину, мы будем давать ей понять, что она милая, умная и красивая. Да-да, так мы и будем делать. Если мы полюбим женщину, мы медленно обернемся и запулим камешек, чтобы он прикатился ей прямо под ноги. И когда она посмотрит на нас, мы воскликнем: "Хочешь прогуляться, милашка?" Вот как мы придумали! Но мы этого еще ни разу не испробовали. "Надо набраться терпения", — говорит Рафаэлла. Правда, она имеет в виду не камешки на дороге.

Мы часто бродим по улице, потому что дом у нас маленький, а мама занимает много места. Не потому, что она толстая, но когда она дома, то она заполняет собою все. Совсем рядом у нас игровая площадка: там горка, песочница, в которой водятся черви, и есть еще ржавые качели. По сторонам стоят четыре скамейки. Иногда на них сидят мамаши с детьми. Мы тоже сидим, курим сигареты и рассуждаем о жизни. О той, которая настанет, когда нам больше не придется развозить еду, то есть о настоящей жизни.

Когда Тито исполнялось девятнадцать, Рафаэлла подарила ему солнцезащитные очки, а мне обещала, что, когда мне стукнет девятнадцать, она мне тоже такие подарит. Поэтому у нас пока одни очки на двоих. Один день их ношу я, а на следующий — Тито. Мы всегда ходим в темных очках, даже если на улице идет дождь. Если мама нас бьет, мы даем ей сдачи. Конечно, иногда мы просто убегаем. Однажды у Тито повыдергивали волосы. Это сделали четыре девчонки. Они набросились на него и вчетвером стали тащить за волосы. Я ничего не мог сделать — их было четверо. Пришлось спрятаться за деревом. Мы небольшого роста, зато хорошо сложены, к тому же у нас широкие плечи. Но ведь не будешь драться с девчонками!

Тито крикнул им: "Эй, у вас там под юбками, конечно, ничего нет!" Ведь такое бывает: женщины порой выходят на улицу без ничего под юбкой. А те девчонки в ответ: "Идите сюда, сейчас узнаете, что у нас под юбками".

Мы медленно подошли к ним поближе. Когда мы оказались с ними нос к носу, они набросились вчетвером на Тито и повыдергивали ему волосы. Они просто рассвирепели, и все из-за такого пустяка! При этом кричали: "Е.... вашу мать, грязные выродки!"

Люди на нашей улице живут некультурные.

Наш отец был главной любовью в жизни Рафаэллы. Но, как выяснилось, главная любовь ее жизни — вор. Любовь всей твоей жизни останется любовью всей твоей жизни, даже если она тебя дубасит и тянет из дому все, что плохо лежит. Для настоящей любви колотушки — все равно что трын-

трава. Рафаэлла говорит, что в жизни есть лишь одна настоящая любовь и что все остальное — лишь подобие той первой, единственной, любви. И чем дальше, тем копия хуже.

У нашей мамы много поклонников. Она совсем не старая, но уже мудрая. Она, например, говорит, что мы должны делать все, чтобы в будущем у нас был дом с ванной и чистым туалетом. Она не хочет, чтобы мы полетели на Луну или стали адвокатами, а только хочет, чтобы у нас был дом со своей ванной и исправным туалетом. Она знает, что это такое — жить в доме без туалета, и мы это тоже знаем. Еще она говорит, что у каждого мужчины есть женщина, которая отравила ему жизнь. И, вероятно, в жизни любой женщины тоже есть мужчина, который все ей отравил, но на этом не стоит слишком зацикливаться.

Но в чем-то ей мудрости не хватает. Она иногда приводит в дом женатых поклонников или у кого есть постоянная подружка — поклонников совершенно лысых и тех, что курят толстые сигары. Все они хотя бы раз побывали у нас дома.

На курсах английского мы познакомились с хорваткой. Но мы, конечно, еще ни разу не звали ее в гости.

Мы почти всегда называем маму просто Рафаэлла, потому что она такая молодая и красивая. Впрочем, мама мы ее называем, только если она нас бьет или ломает наши сигареты. И это при том, что она сама курит! Или если она разоряется пять минут подряд из-за того, что мы, дескать, забрызгали стульчак в туалете. Пять минут кричать из-за такой ерунды! Тито считает, что это у нее начало помешательства.

Мы ломаем голову, как бы заработать кучу денег. Хотим придумать какой-нибудь план, который будем хранить ото всех в секрете. Иначе его украдут.

Помяните наше слово: в итоге у нас будет вилла с видом на море и сад — такой большой, что в нем можно будет заблудиться и умереть от голода.

Мы развозим еду по домам, с шести вечера и примерно до одиннадцати-двенадцати. Мы пошли работать сразу, как только сюда приехали, потому что заработка Рафаэллы не хватало. Однажды она сказала, что нашла для нас работу. Привезла и познакомила с владельцем мексиканского бистро, работающего с заказами.

— Это мои сыновья, — сказала она. — Они смышленые и умеют хорошо работать.

Хозяин мексиканского бистро нельзя сказать, чтобы был смышленый, но сам он хорошо работать не умеет, поэтому ему нужны смышленые парни, умеющие работать хорошо.

Мы развозим заказы на велосипеде. У Тито горный велосипед, а у меня старенький, с ножным педальным тормозом. Цепи на велосипедах болтаются и по дороге чуть ли не наматываются нам на плечи. Зато если на нас нападут и захотят отнять у нас деньги, мы будем отбиваться цепями.

Между восемью и десятью часами — самое горячее время. Мы развозим тогда вдвоем до сорока заказов. У нас есть свои постоянные клиенты. Например, женщина в шляпе. Она ест каждый день одно и то же, и всегда перед телевизором. "Телевизор — это мой дружок", — приговаривает она и отвечает на реплики из телевизора.

Уже третий год английский у нас с двенадцати до двух каждый день, кроме субботы с воскресеньем. Мистер Берман говорит, что через каких-нибудь пару лет мы будем здорово болтать по-английски. Мы любознательны. Мистер Берман обычно говорит: "Какие любознательные парнишки, эти братья Андино!" Нам, конечно же, не нравится, когда мистер Берман при хорватке называет нас любознательными парнишками.

Вначале мы умели только ругаться по-английски. А теперь хотим еще и научиться любить по-английски. Поэтому мы такие любознательные. Впрочем, мистеру Берману невдомек, что мы хотим уметь делать по-английски все.

Но молимся мы на родном языке. Мы не читаем молитвы из молитвенника, а обращаемся к нашему отцу. Бог, наверное, уже починил ему голову, поэтому мы просим, чтобы он подошел к Богу и сказал: "Смотри, там внизу Рафаэлла, Поль и Тито, это моя жена и дети. Рафаэлла — самая красивая и милая женщина на свете, а Поль и Тито — лучшие дети, о которых только можно мечтать. И я вот хочу попросить тебя: позаботься о них, потому что меня с ними нет, и о них некому позаботиться. Ведь ты можешь им помочь и кинуть им в окно горсть монет, чтобы Рафаэлле не приходилось работать в кофейне по шесть дней в неделю?"

2

Сейчас мы расскажем, как в класс впервые вошла хорватка — она была в юбке и на высоких каблуках. Села на стул, который стоял ближе всего к двери, и устремила свой взор вперед. Недавно мы узнали выражение: "Только что с корабля". Это значит, что человек только что приехал в Америку. Всем своим видом хорватка давала понять, что она только что с корабля, только это был очень странный корабль.

Мы пересели к ней поближе и спросили, откуда она приехала.

— Из Европы, — ответила она. — Ну как, ответ исчерпывающий?

Мы отрицательно покачали головами, а она вдруг сказала:

— Не надо клеиться.

— Ну ты и штучка! — заметил Тито. — Кто сказал, что мы клеимся?

— Я знаю мужчин. Поверьте, я их знаю, — хмыкнула она и посмотрела на нас очень высокомерно. Словно принцесса. Но мы ей ничуть не поверили.

— Сколько тебе лет? — продолжал расспрашивать Тито.

— Девятнадцать, — ответила она.

На что Тито сказал:

— Ничего тебе не девятнадцать. По виду ты опытная. В девятнадцать лет так никто не выглядит. Ты утонченная.

Это слово мы совсем недавно узнали — очень красивое слово.

Она пожала плечами:

— Ну и не верьте, пожалуйста!

В эту минуту в комнату вошел мистер Берман с кока-колой лайт в руке. Он всегда пьет кока-колу лайт, потому что боится растолстеть.

Когда мы спускались на лифте после урока, хорватка тронула Тито за плечо.

— Подождите меня на улице у выхода, — шепотом попросила она.

Мы стали ждать. Ждали целых пять минут, и наконец она появилась. С сумочкой в руках, довольно чудно́й. Она достала из нее какую-то бумажку и сунула Тито под нос.

— На вот, читай, — сказала она.

Это было водительское удостоверение. В нем было написано: “Год рождения — 1978”.

— Ну что ж, — сказал Тито, — может, тебе и правда девятнадцать.

— Теперь поверили? — спросила она. — Это ведь документ? — и она запихнула удостоверение обратно в сумочку.

Тито пожал плечами.

— Мне его только что выдали, — сообщила она, смеривая взглядом нас обоих.

Она казалась одновременно высокомерной и испуганной. И в то же время в ней сквозила гордость.

— Пойдем попьем кофе? — предложил Тито.

Она отрицательно покачала головой.

— Нет, — сказала она. — У меня есть парень, но все равно спасибо за предложение.

И с этими словами она удалилась, не удостоив нас больше взглядом.

— Ей не девятнадцать, — сказал Тито.

Но я сказал:

— Может быть, даже ровно столько. Может быть, есть женщины, которые так выглядят в девятнадцать лет.

В тот день мы были свободны. Порой, когда мы оба свободны, мы заходим к Рафаэлле в кофейню. Но в тот день у нас не было никакого желания. Мы сели в метро и сразу поехали домой. На метро ехать минут сорок. И там мы всегда спим. Мы умеем спать стоя, с одним закрытым глазом.

Вернувшись домой, Рафаэлла всегда жалуется, что у нее устали ноги. Потому что, как она говорит, ей приходится много ходить и бегать. "Все ходишь и бегаешь, и так проходят дни". Но если она приводит в дом поклонника, она, конечно, не жалуется на ноги. Ну что вы! Поклонники не хотят ничего знать про уставшие ноги. Иначе они сразу свалят.

У Рафаэллы много постоянных клиентов. Она знает, что́ любят ее клиенты из еды и питья. Ее постоянные клиенты, например, часто повторяют: "Рафаэлла, мой цветочек" или "Рафаэлла, если б ты жила у меня в доме..." Она ничего им на это не отвечает, только смеется.

Рафаэлла часто получает подарки: серьги, браслеты, цветы, разные вазочки, книжки. Однажды ей даже подарили вешалку. Ее притащил мебельщик. Он явился в кофейню с вешалкой на спине.

— Вот вешалка для моей Рафаэллы, — сказал он, — в доме пригодится, не надо будет оставлять плащ в ванной, пока с него вода не стечет. В доме без вешалки нельзя.

Возможно, она когда-то рассказала этому типу, что у нас в доме нет вешалки. Мы бы скорее дали отрезать себе язык, чем признались бы в таких вещах.

Порой, Рафаэлла таскает своих поклонников к нам домой. Это бывает не слишком часто, но с нас и того хватает. Для нас каждый ее поклонник лишний.

И уж совсем редко она проводит с поклонниками уик-энд на их летней даче на Лонг-Айленде или где там у этих поклонников бывают дачи.

Однажды она вернулась летним вечером домой с одной из таких дач. Была уже почти осень. Села за стол и, не зажигая света, закурила.

— Ну и как тебе там? — спросил Тито.

Она два раза кивнула, словно на такой вопрос можно ответить лишь кивком головы и ответила: “Ничего, немного секса не помешает”, после чего еще раз кивнула.

Обычно она никогда не говорит про секс, это одна из тем, на которые она не любит распространяться. Она никогда не говорит о смерти или о сексе. Потому что, считает она, есть темы, которых лучше не касаться.

Тито сказал:

— Ну ладно, мы пошли на улицу.

Мы вышли на детскую площадку. Тито достал из кармана сигарету и изорвал ее.

— У нее крыша едет, — немного помолчав, сказал он. — Ты заметил?

— Да, — сказал я, — заметил.

Когда мы совсем уже поздно пришли домой, она все еще сидела за столом. Слушала песни нашей родины.

— Когда у нас будет больше денег, мы вернемся домой, — сказала она.

Но мы не собираемся возвращаться. Мы хотим остаться здесь, получить американский паспорт и научиться говорить по-английски без акцента. Завести сад, в котором можно будет заблудиться и над входом в который будет висеть большая табличка: “Поклонникам Рафаэллы вход воспрещен”.

3

Когда мы только-только сюда прибыли, мы ходили в тренировочных костюмах и полукедах. Теперь у каждого из нас красивая белая рубашка, которую мы носим по праздникам. В таком виде мы ходим в церковь. Бог приглядывает за нами, ведь если бы он за нами не приглядывал, нас бы уже давно не было на свете. Рафаэлла к Богу равнодушна. Бог не относится к числу поклонников Рафаэллы.

За ужином Поль как-то раз спросил:

— Рафаэлла, сколько в жизни бывает поклонников?

— В жизни может быть столько поклонников, сколько в жизни бывает ночей, — ответила Рафаэлла. — Пока будут ночи, будут и поклонники.

— А мы, — спросил Тито, — мы тоже поклонники?

Рафаэлла положила куриную ножку на тарелку — мы очень часто едим курицу, это дешево и необременительно.

— Я не знаю, — сказала она. — Каждому в жизни приходится быть чьим-то поклонником.

— А ты? — спросил Поль. — Ты тоже чья-то поклонница?

— Я была поклонницей очень давно, — ответила она, снова принимаясь за куриную ножку и давая нам понять, что разговор окончен.

По средам мы ходим в прачечную. Рафаэлле некогда ходить в прачечную. На самом деле, прачечная — это не мужское дело. Поэтому мы всегда ходим в среду утром, чтобы поменьше бросаться людям в глаза. У Рафаэллы сорок шесть пар трусиков. Некоторые из них все в дырках. Мы возвращаемся из прачечной и показываем их ей.

— Вот, смотри сама, — говорим мы, — их уже нельзя стирать. Если ты их еще раз наденешь, они с тебя просто свалятся.

У Рафаэллы два вида трусиков. Одни — для тех случаев, когда она ждет поклонников, а другие — когда она поклонников не ждет. У нас же только один вид. Мы не ждем поклонниц, мы сами поклонники.

Это было в среду, в мае. Рафаэлла привела в дом поклонника, не похожего на всех остальных. Сумка со стираным бельем стояла в коридоре. Мы как раз собирались поговорить с ней о трех парах трусиков, которые, как мы считали, не годились даже на то, чтобы служить кухонной тряпкой. Но она привела в дом поклонника, и нам пришлось промолчать насчет дырявых трусиков. Ах, если она приводит в дом поклонника, мы о многом должны держать язык за зубами!

Он был маленького роста, не в костюме и не в галстуке. Обычно они приходят в костюме и в галстуке. На этом были очки, кожа на его лице была бледной и слегка в пятнах. Он был моложе остальных, и ростом не намного выше нас. Зато у нас плечи шире.

— Поль, Тито, — крикнула Рафаэлла, — у нас гости!

Она всегда так кричит, когда приводит в дом поклонника: “Поль, Тито, у нас гости!” Это означает, что мы должны спрятать куда-нибудь все неподходящее из большой комнаты. Например, немытые три дня тарелки, рваные носки, приготовленные в штопку. После этого надо проверить ванную. Не валяются ли там вонючие полотенца или грязные трусы?

Порой поклонники проникаются сочувствием к Рафаэлле и участвуют в оплате нашего жилья. Поклонники всегда готовы проявить сочувствие. Это помогает им забыть о том, что они сами нуждаются в сочувствии.

Но ничто не указывало за то, что данный поклонник мог бы внести хотя бы цент в оплату нашего жилья.

— Кого это она притащила в дом? — шепотом поинтересовался Тито.

– Поль, Тито, – обращалась к нам Рафаэлла. – Это мистер Криг. Я думаю, он вам понравится, он очень смешной.

Этого еще не хватало! Смешных поклонников мы бы вообще расстреливали. Если уж они все равно приходят, то мы предпочитаем молчаливых.

– Пойду освежусь немного, – крикнула Рафаэлла. – Займите пока гостя!

Вот так всегда: Рафаэлла уходит освежиться, а мы должны занимать гостя.

– Как-как вас зовут? – переспросил Тито. – Все так неожиданно, мы не расслышали ваше имя.

– Эвальд Станислас Криг, – повторил мужичок и протянул свою горячую руку для рукопожатия. – Зовите меня просто Эвальд. Какой же липкий день сегодня, Иисус милосердный, какой липкий день!

– Да, – отозвался Тито, – но вчера он был еще и не таким липким.

– Что правда, то правда, – поддакнул Поль, – по сравнению со вчера, сегодня мы можем Богу молиться.

– Липкие дни настали, мистер Криг, – изрек Тито. – А впереди еще июль и август.

– Эвальд, – повторил мужичок, – называйте меня просто Эвальд.

– Эвальд, что вы будете пить? – спросил Тито. – Да вы садитесь!

И он указал на кресло-качалку, которую Поль полтора года назад нашел на помойке.

– Я захватил с собой бутылочку, – сказал Эвальд, – вкусного белого вина.

Этого еще не хватало! Он, оказывается, из тех, кто приносит с собой вино. Наверное, нашим он брезгует.

– У нас тоже кое-что есть в холодильнике, – сказал Тито.

– Я в этом не сомневаюсь, – отозвался Эвальд Криг, – но я вот подумал, захвачу-ка с собой вкусного белого винца и еще шампанского – выпить за наше знакомство.

И он стал доставать бутылки всевозможных калибров из пластикового пакета и расставлять их на столе. Мы недовольно осмотрели коллекцию бутылок. Если он собрался все это здесь выпить, то так скоро он не уйдет.

– Что ж, – сказал Тито, – тогда я принесу штопор.

И он пошел в ванную. Рафаэлла стояла под душем.

– Мама! – сказал Тито.

– Что?

– Это кто? Кого ты, Господи помилуй, притащила в дом?

— Он симпатичный мужчина, — ответила она, оставаясь за занавеской. — Будьте с ним поласковей, и сами убедитесь, какой он симпатичный.

Тито еще полминуты постоял, не зная, что сказать. Потом решил, что добавить к этому нечего, вернулся в кухню и достал из ящика штопор. Этот штопор тоже был подарком одного из поклонников. Половина предметов из тех, что нас окружали, были подарками поклонников, включая занавеску для душа.

Рафаэлла появилась, когда первая бутылка уже опустела. В красном платье в белый горошек. Это было ее любимое платье. Волосы у нее были еще влажные. Красное платье в белый горошек. Влажные волосы. Программа обычная. Настанет ли когда-нибудь этому конец, или эта программа будет продолжаться бесконечно?

— У вас отличные сыновья, — похвалил Эвальд, — и такие взрослые!

Он налил ей в бокал вина.

— Да, они с детства очень самостоятельные.

— Мы пойдем прогуляемся, — объявил Тито.

Мы пошли на детскую площадку. Кроме нас, там никого не было. Мы достали сигареты и закурили.

— Дальше уже ехать некуда, — немного помолчав, сказал Тито.

— Да, — согласился Поль, — дальше ехать некуда.

— Она, наверное, дошла до ручки, иначе бы такого типа в дом не притащила.

Поль кивнул.

Еще какое-то время мы сидели молча.

Когда начало смеркаться, мы зашли к перуанцу и заказали за семь с половиной долларов пару кур гриль и кукурузные початки. Мы знаем всю программу и понимаем, чего от нас ждут.

Когда мы вернулись, они сидели в полутьме. К этому времени волосы Рафаэллы уже просохли. Колено мужичка было придвинуто к колену Рафаэллы.

Мы пошли на кухню, сбросили кур на блюдо и еще положили по кукурузному початку на каждую тарелку. Затем внесли еду в комнату. Теперь не только колени мужика и Рафаэллы соприкасались, теперь уже его рука лежала на ее колене. Тито встряхнул шевелюрой.

— Ужин, — воскликнул он. — Сейчас будем ужинать, иначе все остынет.

И он смахнул с большого стола какие-то бумажки.

— Ужинать вместе, — произнес Эвальд, медленно поднимаясь со стула, — это одно из моих любимых занятий.

— Вы серьезно? — удивился Тито. — Как забавно!

— Перестань, Тито! — одернула его Рафаэлла.

Мы сели.

— У меня сердце из льда, — сказал Тито, — простите меня и приятного аппетита.

— И у меня тоже сердце из льда, — сказал я. — Но... если кто хочет помолиться?..

Мы верим в Бога, но перед обедом никогда не молимся. Когда кто-то из поклонников Рафаэллы приходит в гости, мы нарочно спрашиваем, не хочет ли кто помолиться перед едой. Рафаэлла терпеть этого не может. Ни один из ее поклонников никогда перед едой не молился, но мы все равно продолжаем спрашивать.

— Не думаю, чтобы кто-нибудь собирался молиться, — сказала Рафаэлла.

— Вот и отлично, — отозвался я, — тогда мы приступим на пять минут раньше.

И с этими словами я набросился на кукурузу. У меня свой способ грызть кукурузу. Я провожу зубами по початку, и кукурузные зерна падают на тарелку. После того как я обчищу таким образом все зерна, я посыпаю их солью и ем. Такой способ кажется Рафаэлле малоаппетитным.

— Когда я был в вашем возрасте, я тоже считал, что у меня сердце из льда, но потом мое сердце оттаяло. Да-да, оттаяло! — с ликующим видом повторил он и заулыбался.

После этого он схватил бутылку шампанского и открыл ее.

— Поздравляю, — произнес Тито, не переставая жевать. — Вы, наверное, положили свое сердце на разморозку в СВЧ.

У нас нет печки СВЧ. Мы пока что на нее откладываем. Мы могли бы взять и в кредит, но Рафаэлла против кредитов. Она считает, что люди, которые что-то покупают в кредит, уже одной ногой в тюрьме.

— Нет, — отозвался мужичок. — Я не размораживал его в СВЧ, оно оттаяло благодаря таким людям, как Рафаэлла.

Он поднял бокал и произнес:

— За Рафаэллу!

Она улыбнулась.

— Выходит, ваше сердце довольно быстро оттаяло, — сказал я.

— Оно не было в глубокой заморозке, — предположил Тито и как бы случайно уронил вилку. Он наклонился ее поднять, а когда выпрямился, состроил гримасу и прошептал:

— Они опять прижались коленями.

— А вот у нас сердца в глубокой заморозке, — объявил я.

Теперь Тито, в свою очередь, начал изображать газонокосилку. “Поработать газонокосилкой” — так мы это называем, когда кто-то из нас сперва обчищает початок от зерен зубами, не разжевывая их.

— Ой! — воскликнул субъект, но ничего, кроме этого, сказать не успел, поскольку Тито с набитым ртом пробормотал:

— Это ничего, что сердца у нас в глубокой заморозке, зато Бог слепил нас на славу.

— Не то слово! — поддакнул я.

Рафаэлла ударила ладонью по столу.

— Поль, Тито! — воскликнула она. — Это обязательно — всем рассказывать, как вы на славу сложены? И разве нельзя есть поаккуратней, хотя бы при гостях?

Мужичок снова наполнил бокалы.

— Я не гость, — сказал он. — Не смотрите на меня, как на гостя, Рафаэлла.

И слегка, совсем невзначай, коснулся ее руки.

— Мы не всегда говорим одно и то же, — сказал Тито. — Мы просто подводим итоги. “Сердце: в глубокой заморозке; сложены: на славу”.

— Текст для объявления о знакомстве, — пояснил я.

Теперь я тоже уронил на пол свои приборы. Наклонился их поднять и прошептал:

— Теперь он еще и руку положил ей на ногу.

— На платье или прямо на голую ногу? — спросил Тито.

— На голую ногу, — шепотом ответил я, — у нее платье совсем задралось.

— Черт побери, — прошипел Тито, — это уж совсем ни в какие ворота, и прямо во время ужина! Какой пошляк!

— Вы не должны задираться, — сказала Рафаэлла. — Эвальд очень смешной.

Тито побледнел. Он всегда бледнеет, когда злится, но замечают это лишь те люди, которые хорошо его знают.

— Вот это славно! Тогда расскажите нам что-нибудь смешное.

— Ах, — застеснялся персонаж, — я вовсе не такой уж смешной, ваша мама преувеличивает. Хотя должен сказать, что, когда мы вместе, мы много смеемся, правда ведь, Рафаэлла?

Она кивнула и сказала:

— Я давно так не смеялась.

— Блаженны те, кто смеются, — пробормотал я.

— Поль, — одернула Рафаэлла, — ну хватит, надоело! Эвальд не намного вас старше, ему всего двадцать шесть.

— А мне восемнадцать, — сказал я, — и я еще понемногу расту, предупреждаю заранее.

— Без них я бы тут не выжила, — сказала Рафаэлла, — но порой они приводят меня в отчаяние.

— Так я же понимаю, — сказал мужичок, — я все понимаю! Я сам был точно таким же.

Тут терпение у Тито лопнуло.

— Что вы этим хотите сказать? Что это означает, что вы сами были точно таким же? Какие мы, по-вашему?

Мужик задумался. Мы загнали его в угол. Он вылил остатки из бутылки.

— Ну, положим, вы сердитые.

— Никакие мы не сердитые! — отрезал Тито.

— Значит, вы не сердитые?

Ему явно не было до нас дела. Его интересовало колено Рафаэллы и, скорей всего, ее бедро.

Тито встал и промолвил:

— Как бы ваше сердце не протухло в размороженном виде!

А я добавил:

— Не то не успеете оглянуться, как мы превратим его в корм для рыб.

И с этими словами мы вышли из дому и отправились на детскую площадку.

— Теперь они будут целоваться, — сказал Тито.

— У нее совсем беда с головой, — сказал я, — иначе она бы до этого не дошла.

Так мы и сидели. Курили и подкидывали камешки, пока не убедились, что Эвальд Станислас Криг убрался наконец из нашей квартиры.

4

Как-то раз после урока хорватка спросила:

— Какое самое вкусное блюдо из всех, что вы когда-либо пробовали?

Это были ее первые слова, обращенные к нам с тех самых пор, как она заявила, что мы не должны к ней клеиться.

— М-м-м... — задумался Тито, а я ответил:

— Пицца, а твое?

— Морковный суп, — сказала она, — горшочек морковного супа, который я приготовила сама, с добавлением ванильного сахара и листика мяты.

У нее был очень мечтательный вид, словно она до сих пор чувствовала аромат этого горшочка.

— Мы его никогда не пробовали, — вздохнул Тито, а я предложил всем пойти попить кофе.

Мы привели ее в кафешку Эндрю. Она заказала к кофе яблочный пирог. А мы просто кофе.

— Это будет стоить нам чаевых пяти щедрых клиентов, — прошептал я, а Тито шепнул:

— Придержи язык.

Она управилась с яблочным пирогом меньше чем за пару минут. Нам нечасто приходилось видеть, чтобы кто-то с таким аппетитом поглощал яблочный пирог. Когда она с ним управилась, она даже облизнула с тарелки взбитые сливки, и губы у нее стали белыми.

— Раньше я часто ела взбитые сливки, — сообщила хорватка, — я их обожала.

Ее звали Кристина Андреа, и она говорила, что ни одно из ее имен нельзя сокращать. Что она терпеть не может сокращенные имена и чтобы никто даже не пытался их сократить.

Она вылила в свою чашку весь молочник. Все молоко из молочника растворилось в ее кофе. Кофе буквально переливался через край. Она стала пить, не отрывая чашку от блюдца, и, пока пила, ни на кого не смотрела. Полностью сосредоточилась на кофе. Придерживала чашку обеими руками, а когда в ней ничего уже не осталось, сказала:

— Неплохой был кофе...

— Ты живешь с родителями? — спросил ее Тито.

— Не твое дело, — сказала она, достала из сумки зеркальце и стала подкрашивать губы. Состроила себе в зеркальце несколько гримасок и добавила:

— Ничего страшного, я привыкла.

Потом встала и одернула юбку. Такая у хорватки была привычка. Она всегда одергивала юбку.

— Мой отец — женатый холостяк, — сказала она, поглядев на нас то ли сердито, то ли недоверчиво.

Она часто так на нас смотрела. Потом бросила: “Ну спасибо и до завтра!” — и ушла.

Я пробежалея немного за ней, и, вернувшись, сообщил, что она исчезла в подземке на 34-й улице.

— Ее отец — женатый холостяк, — произнес Тито.

— Да, — подтвердил я, — именно это она и сказала.

Тито немного подумал и вдруг предложил:

— Пожалуй, стоит это где-нибудь записать.

В конце тетради, там, где мы делаем разные заметки по английскому, мы выделили несколько страниц для хорватки.

"Ее отец — женатый холостяк", — записал Тито и поставил рядом дату. После этого мы отправились на работу.

Когда мы вечером вернулись домой, в кресле-качалке, как и вчера вечером, сидел Эвальд Криг. Рядом с ним сидела Рафаэлла. Они слушали музыку.

— Ага, вы опять у нас, — сказал Тито.

— Присаживайтесь, ребята, — пригласила Рафаэлла.

Голос ее звучал как-то странно.

Мужичок налил до краев в две небольшие рюмки какую-то прозрачную жидкость.

— Выпейте с нами, — предложил он, — выпейте с нами! Я так рад, что познакомился с вашей мамой.

Мы молча обменялись взглядами.

— Ребята, — начала Рафаэлла все таким же странным голосом, но больше ничего не смогла сказать, потому что подавилась и закашлялась.

— Крепкий напиток, — пробормотал Эвальд Криг.

— Ребята, послушайте, — сказала Рафаэлла, — Эвальд Криг — знаменитость у себя на родине.

Мужичок довольно кивнул, когда она говорила эти слова. Сразу после этого он резко повернул голову вправо и чихнул так громко, как мы еще в жизни не слыхали. Буквально у нас на глазах у него изо рта вылетела мокрота и в виде жирного плевка приземлилась на наш ковер.

— Будь здоров! — сказала Рафаэлла, после чего мужик быстро обтер рот, невнятно пробормотав что-то насчет сквозняка.

А мы все не могли отвести глаз от его липкой мокроты на ковре. Чего только не вытворяли поклонники у нас дома, но плюнуть на ковер еще не приходило в голову никому.

Все так же не отводя глаз от плевка на ковре, Тито сказал:

— Значит, вы очень знамениты у себя на родине?

— Ну да, — ответил дяденька, — типа того, но это неважно.

— Не скромничай, Эвальд, — сказала Рафаэлла.

Подумаешь, еще один нашелся, знаменитость у себя на родине! Этого добра тут и так хватает.

— И чем же вы прославились? — поинтересовался Тито.

— Книгой, — ответила Рафаэлла, — просто книгой, представьте себе.

— Какой еще книгой? — пробормотал Поль. — Телефонной?

— Романом, — пояснила Рафаэлла.

— Мистер Криг, — обратился к нему Тито, — а на какую тему вы пишете?

— На какую тему? — переспросил мужичок, отбрасывая со лба длинные пряди и украдкой улыбаясь Рафаэлле. — Итак, моя тема. Ну и вопросики у вас!

— Пожалуйста, не задавайте таких трудных вопросов, — пришепетывая, попросила Рафаэлла.

— Ты накирялась, — прошептал ей на ухо Поль, — ты накирялась, Рафаэлла!

— Оставь меня, оставь меня в покое, — прошептала она, — ты что, не видишь, что я счастлива?

Похоже, она давно забыла, что значит счастье. Наверное, она так давно не чувствовала себя счастливой, что уже забыла, что это такое.

— Да-да, — продолжал мужичок, — о моем творчестве много писали. Один критик утверждал, что моя тема — это мой стиль, другой — что у меня вообще нет никакой темы, третий — что все мои темы — это предательство. Я бы, конечно, не решился утверждать подобное о своем творчестве, но вам, вероятно, это о чем-то говорит.

— Очень о многом, — сказал Тито, а Поль спросил:

— А есть ли у вас еще какие-нибудь темы?

Мы не разобрали, что он ответил, потому что он вдруг снова чихнул. Но теперь он сидел не на свету, и мы не смогли рассмотреть, вылетела или нет у него изо рта мокрота. Но и на этот раз он опять тщательно промокнул рот.

— Прекратите наконец эти разговоры! — потребовала Рафаэлла.

Когда мужичок закончил свои манипуляции с носом и ртом, он сказал:

— О чем вы там меня спрашивали? На чем мы остановились?

— Вы богаты? — вдруг спросил Тито.

— Вполне, вполне, — ответил мужичок, — во всех отношениях, и к тому же я в привилегированном положении.

С этими словами он снова слегка коснулся колена Рафаэллы.

— Давай потанцуем, — предложила Рафаэлла.

Мужичок встал и начал танцевать. Он танцевал как погибающий от голода медведь на раскаленной плите, и во время танца хватал Рафаэллу за что попало. Она ему все позволяла.

— Нам надо с ней поговорить, — произнес Тито, когда мы с ним вдвоем заперлись в ванной. — С этим пора кончать.

В полтретьего ночи Тито не выдержал.

— Рафаэлле завтра в восемь на работу, мистер Криг, — объявил он. — Если вы не против, мы бы проводили ее в кровать.

– Конечно, – пробормотал он, – разумеется. Просто, когда Рафаэлла рядом, я забываю о времени.

Вскоре тип вызвал такси и покинул наш дом. Еще непочатые бутылки он оставил в качестве вещественного доказательства того, что он скоро вернется. Поддерживая Рафаэллу с двух сторон, мы отвели ее спать. Мы сняли с нее обувь, а все остальное не трогали. Потом мы обратились к Богу, чтобы он присмотрел за Рафаэллой и благословил ее, если он еще не разучился благословлять людей.

После этого мы задули свечи и сами пошли спать.

5

Однажды она явилась на полчаса позже.

– Еще раз добрый вечер, – сказал мистер Берман и снова обратился к классу.

– Итак, предложения с “если” и “то”.

Клаудиа сказала: “Если б я была на вашем месте, то я бы пригласила меня на прогулку”.

– Очень хорошо, – отозвался мистер Берман, – отличное предложение.

Хорватка держала в руках большую сумку. Она достала из нее туфли – это были красные туфли.

– Купила за десять долларов, – прошептала она.

Поль, сидевший с ней рядом, прошептал:

– Это удача.

– Большая удача, – так же шепотом отозвалась она.

Некоторое время она рассматривала свои туфли, а малыш Гийермо тем временем прочитал свое предложение: “Если бы у меня было много денег, то я бы купил машину”.

– Я скоро иду на праздник. На бал.

Поль прошептал на ухо Тито: “Она скоро идет на бал”.

Тито перевернул тетрадь. И под предложением: “Ее отец – женатый холостяк” записал: “Пятнадцатое мая, она купила за десять долларов красные туфли”. Затем опять открыл тетрадь вначале и продолжил свои зарисовки.

Пятнадцатое мая оказалось особенным днем, одним из самых памятных дней в нашей жизни.

После урока она подождала нас на улице и сказала:

– Пойдем прошвырнемся, о’кей?

Тито кивнул. Ничего подобного она раньше не предлагала. Мы решили, что лучше будем молчать, не то она, чего доброго, передумает.

Итак, мы стали спускаться вниз по Седьмой авеню. Мы все шли и шли, ничего не видя вокруг. Так мы могли бы дой-

ти аж до Флориды. Иногда она показывала на какое-нибудь здание или магазин и говорила: “Смотрите!” Мы, конечно, смотрели, но толком ничего не видели. И на минуту, буквально на минуту, когда мы переходили через 23-ю улицу, она взяла Тито за руку. Когда мы перешли на ту сторону, она отпустила его руку. На Чарльз-стрит она остановилась. Снова достала из сумки туфли, поглядела на них очень внимательно и сказала: “Красивые!”

Мы кивнули. Люди, проходившие мимо, тоже посмотрели на ее туфли.

— Знаете, как такие туфли называются?

Мы отрицательно покачали головой.

— Лакировки, — сказала она. — Это очень дорогие туфли.

Некоторое время она их рассматривала, потом вздохнула очень глубоко и промолвила: “Это будет чудесный бал, да-да, это будет чудесный бал!” Цокнула языком, издав какой-то странный звук, который был немного похож на придыхание при произнесении английского Т, очень твердого — да-да, пожалуй, больше всего было похоже на это.

— Знаете, — сказала она, — я спала с пятью ребятами, но трижды это было несерьезно. Ну да ладно, все бывает.

И на этом вдруг все оборвалось. Она спрятала туфли и сказала: “Ну, мне пора. Увидимся завтра, пока!”

Она пошла вниз по Чарльз-стрит, на запад. Поль хотел было пойти за ней, но Тито сказал: “Останься”, после чего достал тетрадь и ручку. Он опустился на колени и в конце тетради записал: “Ее новые туфли называются ‘лакировки’. Она спала с пятью ребятами, но трижды это было несерьезно”. Затем он спрятал все вещи обратно в сумку.

— Ты плачешь, — сказал Тито брату.

— Чепуха, — отозвался Поль.

— У тебя глаза на мокром месте, — сказал Тито, — я ведь вижу.

— Это из-за ветра, — сказал Поль, — из-за пыли в воздухе, ты только посмотри, сколько пыли здесь намело!

Но Тито ему не поверил:

— У нас нет времени плакать, — сказал он, — нам пора на работу. Мы и так уже сильно опоздали.

Четверг вечер — самое горячее время. Когда мы работаем, мы обо всем забываем. Нам приходится ужасно сосредоточиваться, иначе все пойдет насмарку. Мы можем заехать с буррито на 14-ю улицу, а с чили-тако — на Веверли-плейс, а должно быть все наоборот.

Когда работаешь, то обо всем забываешь.

В последнее время Рафаэлла стала носить с собой на работу черную хозяйственную сумку со сменной обувью. “Самое главное, — говорит она, — это удобные туфли”. Порой мы к ней заходим, и если народу не слишком много, то нам наливают по бесплатной чашке кофе. Но если в кафе сидят ее поклонники, у нее нет для нас времени. Поклонники приходят в обеденный перерыв или под вечер, за исключением самых богатых — те приходят в любое время. Поклонники дают самые щедрые чаевые. Чем больше поклонников, тем больше мы получаем.

Никто не умеет обращаться с поклонниками лучше, чем Рафаэлла. Она держит их на расстоянии, но всегда дружелюбна. Порой она кладет одному из них руку на плечо и говорит: “Большой стакан апельсинового сока сегодня не заказываем?” Она им часто подмигивает. Она знает наизусть все имена, и каждому из поклонников дает понять, что он для нее особенный. Иначе нельзя, иначе ей не будут давать такие щедрые чаевые. Никто не станет давать щедрые чаевые, если вдруг догадается, что он для Рафаэллы — середнячок. В отношении поклонников Рафаэлла просто гениальна.

“С ними нужно быть милой, но не слишком, — говорит она. — Иногда угостить выпивкой за счет заведения, но не слишком часто. Еще им можно разрешить потрогать волосы, но не больше, чем раз в неделю”.

“Их нужно держать впроголодь, — объясняет Рафаэлла. — Но не так, чтобы они погибали от голода, иначе они больше не придут”.

Как Господь Бог держит людей впроголодь, так Рафаэлла держит впроголодь своих поклонников.

Как-то раз вечером Тито заметил: “Рафаэлла, да ты просто мастерица держать их впроголодь!” На что она сказала, что никакого особого мастерства в этом нет и что в жизни это проще простого.

Поль немного подумал и сказал, что если человек в каком-то деле ас, то он, конечно, считает, что ничего проще в жизни не бывает. Потому что сам ты не ценишь того, что умеешь, и не знаешь, оценят ли это другие.

В отношении “держать впроголодь”, считает Рафаэлла, совсем не важно, какая у тебя внешность. Это обещание, которое всегда остается лишь обещанием. “Держать впроголодь” — это значит поддерживать надежду ровно настолько, чтобы она не угасла, и в то же время кормить ее недостаточно, чтобы она не могла расти. “Держать впроголодь” — это

игра, в которой не может быть выигрыша, а есть только продолжение игры. Это как бесконечность Вселенной. Как ожидание гостиничного номера, в который все равно никогда не сможешь войти.

"В семь лет я впервые ощутила чужой голод, а в двенадцать научилась им управлять. А теперь тот же голод помогает выжить мне самой и дает возможность выжить вам. Чужой голод всегда был со мной, с юных лет я чувствовала, как он жжет мою кожу, — так разъедает ссадины морская соль".

— А твой собственный голод, — спросили мы, — куда он делся?

— Ах, я его давно похоронила, — ответила она. — Тот, кто замечает чужой голод и умеет им манипулировать, постепенно забывает про свой собственный.

— Мы должны достать твой голод из-под земли, — сказали мы.

Она ответила, что это невозможно, поскольку черви и насекомые уже как следует над ним поработали и найти удастся разве что скелет.

— Без поклонников мы бы не выжили, — сказала Рафаэлла на следующий день в метро. — Без поклонников вы не смогли бы ходить на курсы английского. Без поклонников у нас бы не было вешалки. — Но этой последней фразы Рафаэлла, конечно, не сказала. Это домыслили мы сами.

Рафаэлла знает все рассказы поклонников наизусть. Ни одному из них не надо повторять свою историю дважды, но они, если хотят, могут рассказывать ее хоть двадцать раз подряд — Рафаэлла готова слушать, как в первый раз.

Иногда они шепчутся между собой о Рафаэлле, когда думают, что она их не слышит. Они считают ее красивой, и только к ее ногам они иногда придираются.

"Икр у нее почти нет" — нам порой приходилось слышать подобные замечания. Когда мы слышим такое, мы смотрим пристально, и взгляд наш полон презрения.

Однажды (это было очень давно) Тито не выдержал и сказал: "Если вам не нравятся ее икры, шли бы вы лучше в другую кофейню!" Когда Рафаэлла это услышала, она влепила ему на улице при всех пощечину. "Если ты еще раз такое повторишь, ты сюда больше никогда, слышишь, никогда не придешь!"

Хозяина кофейни зовут Саймон. Он очень строгий и у него всегда плохое настроение. Некоторые люди словно родились с плохим настроением, плохое настроение проходит у них только после их смерти.

7

В наш выходной Эвальд Станислас Криг позвал нас в ресторан. Решил угостить нас устрицами. Рафаэлла настояла, чтобы мы тоже с ними пошли.

Она часто смеется, когда с нею рядом Криг. Мы не спорим, он и в самом деле часто говорит странные вещи, но мы почему-то не смеемся.

Он взял нас с собой в ресторан на Ист-Ривер. Ресторан был очень дорогой. С белыми скатертями, где официанты смахивают крошки со стола ножом.

Криг заказал для Рафаэллы целую тарелку устриц, и, когда она сказала, что ей понравилось, он заказал еще двенадцать штук в придачу.

Тито изрек:

– Я читал, что, если устриц не очень хорошо пережевывать, они живые попадут к человеку в желудок и поселятся у него в кишках.

А Поль на это:

– Смотри, Рафаэлла, скоро у тебя внутри будет обитать целая колония устриц!

Эвальд Станислас Криг, не слушая нас, сказал:

– Надо же, я впервые влюбился в женщину с детьми!

Рафаэлла не дала ему пощечину, не встала из-за стола, не плеснула ему в лицо водой из стакана и даже не сказала: “Ну и ну!” Она не запулила ему хлебом в лицо. Она просто смеялась. Стояла перед ним в своем красном платье в белый горошек и хихикала. Мы стали незаметно пинать ее ногами. Но на нее это не действовало.

Криг повторил:

– Да, что правда, то правда, я впервые влюбился в женщину с детьми. Мы должны это отпраздновать.

Он сделал знак официанту и отбросил со лба кудри.

– Влюбленность быстро проходит, – сказал Тито.

– Влюбленность, – сказал Криг, – перемещается со скоростью света. Это общеизвестно, только научно не доказано.

Он попросил принести розового шампанского и добавил:

– Когда впервые влюбляешься в женщину с детьми, то надо выпить розового шампанского.

– Перестаньте называть ее женщиной с детьми, пожалуйста, перестаньте называть ее женщиной с детьми! – взмолился Тито. – Ее зовут Рафаэлла.

Она сидела тут же, возле окна, иногда улыбалась и повторяла: “Ну какая разница? Рафаэлла, женщина с детьми – как

только меня не называли!" И она окунула устрицу в кетчуп. Судя по всему, ей нравились устрицы, но только обильно смоченные кетчупом. Мы не стали есть устрицы. Такие вещи не для нас. Всему есть предел.

— Знаешь, что мне особенно приятно, — начала Рафаэлла. — Меня столько людей в этом городе водили в ресторан. Но ты первый, кто пригласил также Тито и Поля.

— О чем я и говорю, — отозвался Криг, делая большой глоток шампанского из бокала, — я влюблен в женщину с детьми.

После чего он поднял свой бокал и произнес:

— За любовь и за самую восхитительную женщину с детьми из всех, кого я встречал до сих пор.

Чаша нашего терпения переполнилась. Тито схватил ложку и начал барабанить ею по столу. Через несколько секунд к нему присоединился Поль. Так мы и сидели, барабаня ложками по столу. Рафаэлла и мужичок смотрели на нас, не говоря ни слова. Мы продолжали барабанить, словно нас специально для этого пригласили. Словно мы тренировались не одну неделю — только и делали, что барабанили ложками по столу.

Один из официантов подошел к нашему столику. Люди стали оборачиваться. Мы все барабанили и барабанили, заглушая скрипача.

— Уймите ваших детей, — произнес официант, — столовые приборы совсем не для этого.

И, понизив голос, добавил:

— Они посеребренные.

И тогда Криг поступил совсем неожиданно. Он схватил ложку и тоже начал барабанить ею по столу. Точно в таком же ритме, как и мы. И Рафаэлла схватила ложку и начала стучать ею по столу.

Скрипач на сцене перестал играть, потому что его стало не слышно.

— Это в твою честь, Рафаэлла, — воскликнул Эвальд Криг, продолжая барабанить, — в честь самой привлекательной женщины с детьми в Америке.

— Какой подхалим! — прошептал Тито.

Посетители за соседними столиками начали вставать с мест, чтобы посмотреть на нас. Мы все барабанили. Мы стучали ложками по столу примерно так, как тот мужик дубасил эвкалиптовой дубинкой нашего отца по голове.

Какой-то мужчина в бежевом костюме, с гладко зачесанными назад черными волосами подошел к нам, все время повторяя:

— Вы нарушаете порядок. Вы немыслимо нарушаете порядок.

Эвальд Криг посмотрел на него взглядом победителя, продолжая стучать ложкой по столу. Мы барабанили все быстрее. И казалось, что мы взяли верх над жизнью, что жизнь — это уже не дикий зверь, который хочет нас растерзать. Теперь мы сами были зверем, способным разорвать жизнь в клочья.

И вот случилась странная вещь. Мужчина и женщина, которые сидели перед нами за соседним столиком, тоже схватили ложки и начали стучать ими по столу. Вначале они немного подлаживались под ритм, но потом застучали с нами в унисон. И при этом радовались, как дети. Мужик с длинной седой бородой издал протяжный вопль: "Yes-s-s-s!", после чего схватил ложку и начал стучать ею по столу. Все больше людей застучали ложками по столу. Мужчина с черными волосами хлопнул в ладоши, и, откуда ни возьмись, со всех сторон подскочили официанты в вечерних фраках. Мы слышали их ропот: "Вы нарушаете порядок. Будьте любезны, вы не могли бы прекратить?"

В тот вечер все, кто слышали, как мы стучим, схватили ложки и тоже начали стучать ими по столу — до того это было заразительно. В ресторане, конечно, оставалось несколько человек, которые продолжали разговаривать между собой и делали вид, что ничего не происходит, но они были в абсолютном меньшинстве.

Свет притушили. Несколько створок ракушек упало на пол. Мы продолжали барабанить. Те люди, которые не стучали приборами по столу, возмущались: "Что это за сервис, что за ресторан?!"

Посетителей ресторана охватило небывалое волнение. Возможно, из-за того, что вечер был поздний, или из-за напитков, или от воодушевления, с которым мы стучали ложками по столу, но Криг то и дело вздыхал и все повторял, что влюбился в женщину с детьми. Мы не знали, правда ли это, мы знали только одно: мы вспомнили о нашем отце и об эвкалиптовой дубинке, мы думали о Рафаэлле, мы решили не ждать, пока жизнь разорвет нас в клочья, а сами стали дикими зверями, готовыми разорвать жизнь в клочья. И тут в зал вошел мужчина с черными волосами и с мегафоном в руке. Он воскликнул, что, если барабанный бой сейчас же не прекратится, то нас скоро выведут. И тогда некоторые прекратили стучать. Те, что присоединились к бою последними, сдались первыми. А мы дольше всех все стучали и стучали, пока у нас не разболелись руки.

Мы покрылись по́том, впрочем, не только мы одни — все остальные тоже покрылись по́том. Лампы снова включили на

полную мощность. Барабанная дробь ложками по столам объединила людей. Даже те, что пришли сюда порознь, теперь снимали пиджаки и пересаживались за столики друг к другу.

Вдруг Криг воскликнул:

– Принесите нам счет. Если нам запрещают стучать ложками по столу, то мы лучше пойдем домой.

Он встал с места и обратился к Рафаэлле:

– Я сейчас вернусь.

Та посмотрела на нас и сказала:

– Я влюблена.

На противоположной стороне реки мы видели огоньки Квинса, нашего района.

После долгой паузы Тито сказал: “О Боже!”, а Поль сказал:

– Красавцем его не назовешь.

– Скорее наоборот, – сказал Тито. – Когда он чихает, у него изо рта вылетает мокрота.

– И прилипает к ковру, – сказал Поль.

– Он грызет ногти, – заметили мы оба.

– И пользуется вонючим лосьоном после бритья.

– У него красный нос.

– Он не любит тебя по-настоящему.

– Он не протирает очки.

– Ты ничего о нем не знаешь.

– Он всем втирает байки.

– У него неширокие плечи.

Но, что бы мы ни говорили, Рафаэлла смотрела на нас с улыбкой и повторяла: “Я влюблена”.

– А я думал, ты веришь, что бывает любовь всей твоей жизни и что все остальное – только копия, – сказал Тито.

– Одно не исключает другого, – ответила Рафаэлла.

– Тебе не следует влюбляться, – сказал Тито. – То, что влюбляются в тебя, – к этому мы уже привыкли, но тебе самой влюбляться не следует.

– Ничего не поделаешь, – сказала Рафаэлла и поцеловала нас.

– Но почему именно он? – спросил Поль. – Почему именно этот человек? Что же, лучше никого не нашлось?

– Соглашалась бы тогда уж на того дядьку, который притащил вешалку, – пробормотал Тито.

– Наша жизнь изменится, – сказала Рафаэлла. – Наша жизнь сильно изменится.

Да, именно это она сказала вечером двадцать четвертого мая.

— Значит, вот какая она — влюбленность, — сказал Поль. — А мне казалось, это что-то совсем другое.

Тито догадался, о чем думал Поль, потому что и сам думал о том же. Мы думали о хорватке и о ее красных туфлях.

Эвальд Криг вернулся, держа в охапке наши куртки.

— Уходим отсюда, — сказал он. — Уходим отсюда немедленно.

Возле дверей нас остановил мужчина с черными волосами.

— Вы совершили серьезное правонарушение, — сказал он Кригу. — Мы не хотим больше здесь вас видеть.

Он был выше Крига на две головы. Картина была забавная. Криг посмотрел на него, смерил его взглядом с головы до ног и с ног до головы. Потом положил этому типу руку на плечо и сказал: “Мистер, вы редиска. — Тот пытался что-то на это возразить, но Криг его опередил: — Спокойно, — сказал он, — ведь против этого не попрешь!”

И после этого он стал спускаться вместе с Рафаэллой по лестнице, левой рукой массируя ей зад. Мы шли за ними следом и лишь качали головами.

8

В воскресенье, в День поминовения, целый день лил дождь. Было довольно тепло. В четыре у нас была назначена встреча с хорваткой в чайной на Третьей авеню, между 31-й и 32-й улицами. Мы боялись, что она не придет или что уйдет, нас не дождавшись. В пятницу она сказала: “Приходите вовремя, я не люблю тех, кто опаздывает”.

Был такой ливень, что четвертый, пятый и шестой трамваи не ходили. Рельсы полностью залило. Мы примчались с 53-й улицы. Промокли до нитки, но нам было все равно. Мы летели, что было сил.

Опоздали на четверть часа. В чайной сидело всего двое. И одной из этих двоих оказалась хорватка. Она курила сигарету. На ней была белая юбчонка, которую мы раньше не видели. Мы никогда в жизни не видели таких коротких белых юбчонок. Казалось, она была сделана из пластика.

— Вы очень точны, — сказала она, после того как мы уселись. — Я бы сейчас докурила сигарету и ушла. И была бы в ярости. Я бы позвонила вам и расчихвостила так, как еще никто и никогда вас не ругал. И потом ни разу бы на вас не взглянула. Вы превратились бы для меня в пустое место. Но тут я вспомнила, что у меня нет вашего телефона.

— Значит, нам повезло, — сказал Тито.

Вода капала с наших волос, с одежды, текла с кроссовок и из носков, вода капала даже из наших плавок.

— Ладно, — сказала она и потушила сигарету, — что будем заказывать?

Она была подкрашена иначе, чем обычно. Губы подкрашены иначе, глаза подкрашены иначе, прическа другая, уши другие, руки другие, а на ногах — красные туфли. И вся такая, словно сидит на троне рядом с Господом Богом.

— Хочешь мороженое? — спросил Тито.

— Нет, — ответила она, — лучше уж шоколадное канноли.

Она закурила следующую сигарету. Одной рукой она придерживала юбку, иначе она бы ничего не прикрывала и просто бы улетела. Поднялась в воздух, как самолет, и, вероятно, больше бы никогда не приземлилась.

— Раньше, — стала рассказывать она, — мы всегда в воскресенье днем ходили с папой играть в кегли. У моего папы был кегельбан. А я была его талисманом. Меня передавали из рук в руки. Меня все любили.

Она немного приподняла ногу и сказала:

— Поглядите на мои туфли, когда я в них, то они смотрятся еще лучше.

Нам не пришлось ничего ей отвечать, поскольку говорила только хорватка. Она проткнула шоколадное канноли вилкой, но так его никто не ест. Его берут в руки. Но мы не посмели ей указывать. Сахарная пудра сыпалась во все стороны.

— Итак, — сказала она, — хотите мое фото?

— Мы были бы очень рады, — сказал Тито.

— Где только мое лицо или где вся фигура?

— И то и другое, — немного помедлив, сказал Тито.

— Я подарю вам свои фото, — сказала она. — Но вы должны носить их всегда с собой. Всегда! И когда я захочу, я в любой момент могу вас спросить: “Где фото?” И вы должны будете мне их показать. Ни в коем случае не мять. Они должны храниться в пластиковой папке. И только мое фото — не вместе с другими снимками. Папка должна приятно пахнуть: лесом или озером. И ни в коем случае не потеряйте эти фото. Если однажды я вас спрошу “Где фото?” и у вас их не окажется, я на вас больше никогда не взгляну. Вы будете для меня словно пустое место. И я всем расскажу, какие вы негодяи.

В эту минуту канноли упало на пол вместе с блюдцем.

— Ну вот, — вздохнула она, — вечно со мной так!

Она быстро наклонилась — но не для того, чтобы поднять блюдце или канноли, а чтобы достать сумочку. Она вытащила из нее две фотографии и вручила каждому из нас.

— Только сейчас не смотрите, — сказала она, — посмóтрите после того, как я уйду.

Хорватка опять принялась рыться в сумочке и достала жвачку.

— Хотите жвачку? — предложила она и принялась надувать пузыри — большие голубые пузыри. Она жевала голубую жвачку. Тито досталась зеленая, а Полю — оранжевая. Хорватка продолжала надувать все новые пузыри. Но никто в чайной не обращал на нас внимания.

— Ты приехала сюда прямо из Хорватии? — спросил Тито.

Она быстро сдула пузырь и сказала:

— Нет, я вначале какое-то время пожила в Мюнхене. В Мюнхене все очень хорошо одеваются. Я надеюсь, что мой муж будет из Мюнхена, тогда он точно будет хорошо одеваться.

Она открыла сумочку и достала из нее аэрозольный баллончик. Мы подумали, что она хочет сбрызнуть волосы лаком — такие баллончики мы знаем. Ими пользуется Рафаэлла, когда собирается в оперу. Один из ее поклонников — оперный фанат. Мы решили, что хорватка сейчас начнет брызгать лаком волосы, но она вдруг сказала:

— А вы знаете, что это?

Мы отрицательно покачали головой.

— Газ, — пояснила она, — если кому-то брызнуть такой штукой в лицо, то человек ослепнет.

Затем она достала нож. Нажала на кнопку, и наружу выскочило лезвие. Ножик был новенький.

— Вначале делаем “пш-ш-ш”, — сказала она, — а потом “чик-чик-чик”.

С этими словами она заботливо спрятала оба предмета в сумку.

— Я ко всему готова, — пояснила она, — теперь вы убедились?

И она снова принялась надувать пузыри, очень-очень большие. Мы еще ни разу не видели, чтобы кто-то мог надувать такие пузыри.

Поль сказал:

— Мы тоже ко всему готовы. Когда мы мчимся на велосипедах с заказами и с деньгами, у нас есть цепь, и если на нас нападут, то мы будем отбиваться цепью.

— Здорово, — сказала она, — но главное, чтобы быстро. Скорость — это главное, если на нас нападают. Нужно заранее знать, куда пинать и за что щипать. Тогда, считай, полдела уже сделано.

Какое-то время она сидела молча. За окном становилось все темнее, и дождь не прекращался.

— Можно, мы потрогаем твои волосы? — спросил Тито.

Она посмотрела на нас нерешительно.

— Ну, разве что... — сказала она, — только не больше тридцати секунд. Я начинаю считать.

Мы положили руки ей на голову. Мы не гладили ее по волосам. Мы просто приложили руки к ее голове и держали, пока она не досчитала до тридцати. Затем она объявила: “Все, хватит нежностей на сегодня”.

Ей пора было идти. Она встала и сказала: “Не забудьте положить мои фото в пластиковые папки и всегда держите их при себе. Фото не должны промокнуть от дождя или пожелтеть на солнце. И когда вы будете на них смотреть, смотрите на них, словно в первый раз. Иначе я на вас больше не взгляну, и вы будете для меня словно пыль — пыль на краю дороги, по которой вы ходите”.

И после этого она ушла. А мы смотрели ей вслед.

9

Эвальд Станислас Криг массировал спину Рафаэллы.

— Ага, вы снова здесь? — сказал Тито.

— Рафаэлла притягивает как магнит, — отозвался Криг, продолжая массаж.

— Когда же вы работаете? — спросил Поль и вдруг рыгнул.

— Поль! — воскликнула Рафаэлла. — Ну Поль!

— Будь здоров! — сказал Тито.

— Я работаю, — ответил Криг, разминая плечи Рафаэллы, — я работаю по утрам.

— Он работает над новым романом, — пояснила Рафаэлла.

Мы оба уставились на этого коротышку. Мы не могли поверить, что он может написать хотя бы одну букву, которую стоило бы прочесть.

— Тито, Поль, — сказала Рафаэлла, — сходите к перуанцу и купите курицу.

Мы заперлись в ванной и достали из кармана фотки. На одной было ее лицо, на другой — вся фигура. Все, как она обещала. Черно-белые фотки, она была на них в платье. Мы не могли разобрать, какого цвета платье. Видно было только, что красивое, с вырезом посредине. Такое платье надевают на выход, а не когда идут за продуктами или в прачечную. В таком платье выходят из машины, понимая, что сорок фотографов, увидев твое лицо, защелкают фотоаппаратами. На этих фото она смотрела свысока. Мы специально употребили это слово. Именно так она смотрела — свысока. На обороте она надписала свое имя: Кристина Андреа. И подчеркнула.

Мы спрятали фото в конверт, потому что пластиковых папок у нас не было.

После этого мы отправились к перуанцу.

— Две курочки для семейства Андино, — сказал перуанец, — а сколько будете брать сегодня вечером початков?

Он всегда говорит с нами по-испански. Мы терпеть его не можем. Мы всегда отвечаем ему по-английски.

— Мы ни в коем случае не должны потерять эти фотки, — сказал Тито. — Мы будем стоять за них насмерть, не то она посмотрит на нас, как на пустое место, и станет топтать нас, словно пыль на обочине.

Мы открыли дверь и вошли в подъезд нашего дома. Пока нас не было, они вдвоем уже накрыли на стол.

Криг сказал:

— Обычно я не ем в гостях, но с Рафаэллой все по-другому.

Он вдруг достал из кармана две двадцатидолларовые бумажки и сунул их Тито.

— Это за кур, — прошептал он.

Тито замер и уставился на него.

— Мы заплатили за них ровно семь с половиной долларов, мистер Криг, — выдавил он из себя наконец, — но это неважно, у нас дома никто не должен платить за еду.

— Бери, — прошептал Криг, — бери, тебе говорю.

— Ладно, возьми, — прошептал Поль.

А Тито вдруг сказал:

— Похоже, вы любите угощать, мистер Криг.

Лицо у мужичка просветлело.

— Вот именно, ты это точно подметил. Нет ничего приятней, чем угощать.

Мы прошли на кухню. Рафаэлла, глядя в желтое карманное зеркальце, собирала волосы наверх.

— Ну почему? — спросил Тито.

Он смотрел на Рафаэллу в упор, засунув руки в карманы. Вид у него был такой, словно он хотел подкинуть камешек, только вот у нас на кухне не было камешков.

Тито спросил:

— Почему нельзя было жить как всегда, с этими твоими поклонниками, приходящими и уходящими? Ты всегда говорила, что они нужны, необходимы, что их нужно держать впроголодь, и всегда так и делала. Почему теперь этот тип каждый день у нас, почему он разминает тебе спину в нашем присутствии, почему ты твердишь, что в него влюблена? Почему?

С этими словами он выхватил жареную курицу из пакета и стал ее раскручивать за одну ножку над головой, словно лас-

со. Жир брызгал во все стороны. Рафаэлла отпрянула, но ей все равно попало на нос и на волосы. Тито крутил курицу все быстрее, вопрошая: “Ну почему, скажи, Рафаэлла, почему?” Наконец, курица развалилась, и в руках у Тито осталась одна только ножка.

— Мы ее сполоснем, — сказал Поль, поднимая с кухонного пола жареную курятину. — Мы ее сполоснем, посыплем сверху красным перцем, и она снова будет как новая.

Поль не любит портить вещи.

Но Рафаэлла не обращала внимания ни на Поля, ни на свои волосы, ни на собственный нос и плечи.

— Почему, — повторяла она, — почему? Потому что я устала. Не так, как вы устаете, если одну ночь не поспите, я устала по-другому. Устала ездить в метро, устала стоять под душем, устала чистить зубы, устала держать впроголодь, устала вставать, устала ложиться, устала от клиентов и от поклонников. Потому что он смешной, не похож на других, потому что у него есть деньги, потому что он любит их тратить, потому что я хочу отсюда уехать, но не знаю как, потому что у него смешные кудряшки, потому что он мне снился, потому что он милый или кажется мне таким, потому что он немногого просит, потому что он добр с вами, потому что невозможно бесконечно ждать, потому что минута слабости бывает в жизни у каждого. Можно быть сильным неделю или три года, или, скажем, три месяца, но однажды наступает момент, когда слабеешь. Потому что устаешь быть сильной. Потому что не хочешь больше быть сильной. Потому что хочешь обмануть себя. Но никто не может обмануть себя в одиночку. Для этого нужны другие люди. Еще потому, что моя работа — это тупик, потому что я хочу, чтобы вы учились, потому что все произошло так, как и произошло. Ну, теперь вы поняли?

Тито кивнул. Он взял заново собранную курицу и вошел с нею в комнату.

— Я там, на кухне не удержался и обгрыз ножку, — сообщил он Кригу, — такой я был голодный.

— Ничего страшного, — сказал Криг, ныряя в полиэтиленовый пакет, стоявший под столом.

— Я тут захватил шампанского, — раздался его голос из-под стола.

— Ну уж, дудки! — буркнул Тито.

И мы заперлись в ванной и достали фотки.

— Она здесь какая-то сердитая, — сказал Поль.

— Она здесь такая, словно сидит на троне рядом с Господом Богом.

— Она здесь такая, словно немного не в себе.

— Она здесь такая, словно кто-то закрыл ее в темной пещере.

— Она здесь такая, как все красивые женщины.

— Мы должны сделать запись, — вдруг предложил Тито.

Он достал тетрадь, и с обратной стороны мы записали: “День поминовения. Она была талисманом в кегельбане”.

И тут мы услышали голос Рафаэллы:

— Выйдите из ванной, не доводите меня до отчаяния. Поль, Тито, идите есть, или я выломаю дверь.

За ужином Тито сказал:

— А вы знаете, мистер Криг, о том, что Рафаэлла ничего не умеет делать лучше, чем держать людей впроголодь?

— Тито! — одернула его Рафаэлла, а мистер Криг сказал:

— Эвальд, называйте меня просто Эвальд, меня зовут Эвальд Станислас, но Эвальд вполне достаточно. Я никакой не мистер Криг. Я Эвальд, можно также звать меня Эвальд Станислас, но только не мистер Криг.

— Знаете ли вы, Эвальд, что Рафаэлла ничего не умеет делать лучше, чем держать людей впроголодь? Как фокусник, у которого может вдруг исчезнуть голубь, так и Рафаэлла держит людей впроголодь. Вы знали об этом?

— Тито, — повторила Рафаэлла негромко, но в ее голосе не было силы.

— Интересно, — отозвался Криг, — как интересно!

Он, похоже, был из тех, кто все находит интересным, что бы ему ни говорили.

— Такое далеко не все умеют, — сказал Тито, — держать впроголодь десять или двадцать поклонников. Это особое искусство. Отдавать себя не сразу, а постепенно, сантиметр за сантиметром. Это Рафаэлла нам сказала — что никогда нельзя отдавать себя сразу, что всегда нужно что-то оставить про запас, на следующий день.

Рафаэлла кивнула, очень спокойно, словно она забыла о том, что мы сидим за столом.

— Это же делаю и я, — спустя несколько секунд отреагировал Криг. — Именно это я и делаю. Отдаю себя сантиметр за сантиметром, но так, чтобы оставалось что-то на завтра. Забавно, что мы, по существу, делаем одно и то же.

Рафаэлла рассмеялась. А Криг предложил тост: “За искусство отдавать себя”. Они чокнулись. “Сантиметр за сантиметром”, — уточнила Рафаэлла.

— Мне никогда это не приходило в голову, — сказал Криг и довольно засмеялся, — но разве то, чем я занимаюсь, не означает буквально “держать впроголодь”? Разве это не то, что

делает любой писатель? Разве это не конечная цель любого писателя? Держать впроголодь, пока сам не упадешь?

И он поцеловал Рафаэллу.

Рафаэлла посмотрела на Крига и сказала:

— Но если ты хочешь держать впроголодь других, то нужно уметь полностью контролировать свои собственные желания?

— Совершенно верно, — согласился Криг. — Нужно закамуфлировать свои желания и спрятать их под сукно, сосредоточиться только на том, как "держать впроголодь".

Его глазки засверкали.

Мы встали из-за стола. Мы оставили воркующих голубков наедине. Рафаэлла витала где-то далеко. Намного дальше, чем когда мы лежали с ней и с братом в кровати, тесно прижавшись к ней, чтобы согреться, и она рассказывала нам о поклонниках, которых она держит впроголодь. И еще о нашем отце и о маисовом ликере, о том вечере, когда он встал на тропу войны, собираясь ограбить мужика с дубинкой из эвкалиптового дерева. Маисовый ликер лез у него чуть ли не из ушей. "Останься лучше дома", — просила Рафаэлла, но он не желал ее слушать, он принципиально не слушал женщин.

Чуть позже Рафаэлла сказала: "Каждый человек умеет в жизни делать что-то одно, этим и надо заниматься. Только несчастные делают то, чего они как следует не умеют".

В тот раз Эвальд Криг впервые остался у нас ночевать.

10

Вечерами, перед тем как лечь спать, мы ставим фотки перед зажженной свечой. Утром кладем ее фотки в конверт и засовываем конверт себе в карман.

Вчера в холле, внизу, где мы порой остаемся поболтать после урока, хорватка вдруг прошептала: "Покажите фото".

Она четыре дня не спрашивала про фотки, и мы уже подумали, что она так никогда про них и не спросит, что она про них забыла.

Мы достали фотки, и она начала их рассматривать. Смотрела так, словно видела их впервые.

— Красивые, — наконец промолвила она.

Мы кивнули.

— Такой вы должны меня запомнить, — сказала она. — Никому не показывайте эти фото. Никто не должен знать меня такой, кроме вас.

— Где были сделаны эти фото? — спросил Поль, когда мы выходили через двери-вертушки на улицу.

— Они были сделаны... — сказала она. — Они были сделаны, *и это самое главное.*

— Хочешь еще яблочного торта, кофе и много молока? — спросил Тито.

— Нет, — ответила она. — Сейчас мы пойдем к реке.

И мы пошли по направлению к Гудзону. Она все болтала обо всем подряд. Когда мы подошли уже к самой реке, Тито спросил:

— А где твоя мама?

— Ах, моя мама, — отозвалась она и снова издала этот звук, как при произнесении твердого Т. — Она целыми днями спит. Так никуда в жизни не продвинешься, скажу я вам.

Она высморкалась. Потом похлопала по своей сумочке и сообщила:

— Все необходимое у меня здесь, в этой сумочке.

Сумка у нее была вроде тех, что вешают на шею почтовым голубям. Да-да, именно такую сумку, как у почтового голубя, она носила через плечо. Понизив голос, она добавила:

— Вы ведь знаете, как опасно в нашем мире? Поэтому лучше иметь с собой в сумке все необходимое.

И потом:

— Вы ведь знаете, что я такая красивая, что при виде меня некоторые падают в обморок.

Она закурила сигарету.

— И я становлюсь все красивей, — сказала она. — В Мюнхене мне удалили усы. Это был подарок моего отца. У меня больше не растут усы. Усам каюк. Я первая женщина в нашей семье, у которой не растут усы. А какие у меня грудки! Даже та тетка, что удаляла мне усы, сказала: “Какие у тебя прелестные грудки! Они словно из золота”. Мне говорили: твоя грудь стоит трех белых “мерсов” с открытым верхом. Никто бы и не догадался, но это бесспорный факт. Я говорю: да бросьте вы, перестаньте, морочьте лучше голову своей мамаше. Но мне, естественно, приятно такое слышать. Три “мерса” с открытым верхом! Я ведь каждое утро смазываю тело кремом с витамином Е. Витамин Е — он для обновления клеток кожи, чтобы у них как бы дéтки появлялись. Все это нужно знать. Нужно заботиться о себе, чтобы не превратиться в старую вешалку.

Она затушила ногой окурок и двинулась куда-то в южном направлении. Мы пошли следом за ней, но шли вместе с ней недолго. Она начала раздражаться. Показала на солнце, отражавшееся в Гудзоне, и сказала:

— Очень красиво. Но я не могу сейчас на это любоваться, мне нужно идти. Сегодня я не могу. Посмотрите сегодня вы за меня.

Мы стояли на 14-й улице.

— Ну, я пошла, — объявила она.

Сегодня она была не в той юбке, которую нужно было придерживать, чтобы она не улетела, а в черных брюках.

Итак, она ушла, а мы остались. Время от времени она оборачивалась, чтобы помахать нам. А может быть, она просто опасалась, что мы за ней увяжемся. Мы тоже часто опасаемся, что за нами кто-то увяжется.

Когда она скрылась из виду, Тито достал свою тетрадь и записал: “Она единственная в семье, у кого не растут усы”. И строчкой ниже: “Ее грудь стоит трех белых ‘мерсов’ с открытым верхом”.

По дороге домой мы зашли к Рафаэлле. Народу в кафе было полно. Саймон угостил нас кока-колой. Мама собиралась куда-то вечером с Эвальдом Кригом. Нас не приглашали, да мы бы и не смогли. Мы работали.

Он ничем не отличается от остальных поклонников. Все они что-то обещают. Обещают одежду, мебель, развлекательные поездки, деньги на университет, выгодную работу, любовь, цветы, бесплатное вино, красивый сервиз, тропический остров, вешалку, рай, куда можно попасть, не умирая. Они вечно что-то обещают и считают себя очень оригинальными.

Раньше, когда мы возвращались домой, Рафаэлла делилась с нами тем, что ей довелось услышать за день. Например, рассказывала про толстяка, который никогда не снимает перчатки. “Знаете, что он мне сегодня сказал?” — “Вот сядешь однажды в мой личный самолет, и мы будем кружить над Лонг-Айлендом, и если ты покажешь мне дом, где ты живешь, то я сброшу вниз розы”. Рафаэлла ужасно смеялась. Но не вульгарничала. Она смеялась и при поклонниках тоже и всегда говорила им: “То, что ты мне только что предложил, мне кажется ужасно смешным, но ты ведь не обижаешься на меня за то, что я смеюсь?” Поклонники не обижались. Им очень нравилось смотреть на Рафаэллу, когда она смеется. А смеяться она умела так, что все смотрели на нее в кофейне Саймона. И некоторые даже сами начинали смеяться.

Но над тем, что говорил Эвальд Криг, она не смеялась. Хотя он обещал то же самое, что и другие ее поклонники. Правда, он не обещал кружить с ней на спортивном самолете над Лонг-Айлендом, но в итоге все сводилось к тому же, что и обычно.

Только ему она верила. Или делала вид, что верит. У него были идеи. Как-то раз он сказал Рафаэлле: “Бросай работу, берись за свое собственное дело, а я тебе помогу. Ты ведь не хочешь до конца своих дней быть рабыней у Саймона?”

Рафаэлла обрадовалась. Кто-то задумался о ее жизни! Но посторонние не должны задумываться о нашей жизни. Пусть они лучше думают о своей. У каждого есть своя собственная жизнь, о которой стоит задуматься, и свои планы, и мы никогда не узнаем, какие у кого планы. Впрочем, у поклонников планы прозрачные.

Эвальд Криг сказал: “Ты должна открыть мексиканское бистро. Ты ведь умеешь готовить буррито? Ах нет, лучше не бистро, а службу доставки. Доставлять будут твои ребята. Ты будешь готовить буррито, а ребята будут их доставлять. По-моему, идея очень хорошая. Мы назовем заведение ‘Мама Буррито’, звучит задушевно. Мама — это всегда хорошо. Я собираюсь вложить деньги в это предприятие”.

— Ой, только не это! — говорили мы.

Но Криг настаивал на своем. Все твердил, что разве мало Рафаэлла пахала на Саймона, что настало время заняться чем-то другим, что “Мама Буррито” — отличная идея, надо только рекламки раздать в районе, и все пойдет как по маслу. Он собирался вложить в это дело десять тысяч баксов.

Рафаэлла от этих разговоров теряла голову. Она видела во сне “Маму Буррито”, болтала о “Маме Буррито”, думала только о “Маме Буррито” — через каждые три слова она повторяла “Мама Буррито”.

Эвальд Криг сказал: “Одной точкой мы не ограничимся. Когда мы вернем свои инвестиции, мы начнем расширяться. Чем ‘Макдоналдс’ стал для гамбургера, тем станет ‘Мама Буррито’ для буррито. Отделения ‘Мамы Буррито’ будут расти по всему миру, как грибы после дождя: в Москве, в Токио, в Рио-де-Жанейро! Единственное, что требуется от тебя, — это протянуть руку, и в нее посыплются денежки”.

Рафаэлле понравилась мысль, что ей надо всего лишь протянуть руку. Мы говорили: “Оставайся у Саймона. Перемены всегда оборачивались для нас не к добру”. И это правда. Вначале мы жили у себя в стране, и наш отец был с нами. Он был разбойник, но он был жив. Он бил нас, но он был жив, а ведь бил он нас не слишком часто... Но потом он умер. Нас больше никто не бил, правда, теперь нам нечего стало есть, и мы поехали в Америку. Вскоре нас опять стали бить, а есть нам по-прежнему было нечего. К тому же мы не понимали, о чем говорят люди, которые нас бьют. Теперь мы понимаем язык окружающих, и нас больше никто не бьет. У Рафаэллы появились поклонники, которых она приводит в дом. Поклонники нас не бьют, они нас просто игнорируют. Некоторые ее поклонники даже видеть нас не хотят. Они говорят: “Мы рады прийти, но только чтобы пацанов не было”. И тогда мы си-

дим на улице на детской площадке и ждем. Мы ждали так очень-очень долго и приучились курить. И потом, довольно скоро, мы все поняли, мы поняли поклонников, мы поняли, почему они готовы проявлять сочувствие, мы поняли Рафаэллу, поняли эту страну, поняли деньги, поняли систему чаевых, мы поняли страсть, мы поняли все.

Мы стали экспертами в вопросах страсти. Мы раньше не знали, как это называется, но однажды вечером Рафаэлла сказала: "Да, люди зовут это страстью. Страсть, — сказала она, — это когда ты можешь держать их голодными, голодными настолько, что они чуть с ума не сходят".

— Сколько же голода умещается в одном человеке? — поинтересовался Тито.

Рафаэлла задумалась, но потом ответила: "Ну, по крайней мере, пятьсот литров. В человеке голода столько, что он может сойти за бездонную бочку".

Мы шли за поклонниками, когда они выходили от Рафаэллы и направлялись к своей машине или к ближайшей станции метро. Поклонник с вешалкой, поклонник с перчатками, поклонник с цветами, поклонник, что всегда брызгал себе в рот из баллончика, прежде чем позвонить в дверь, и потом от него еще два часа тянуло мятным холодком, поклонник с шофером, поклонник с палкой, поклонник, всегда заранее извещавший о своем приходе открыткой. Мы их всех провожали, мы их видели и чуяли их запах. Порой мы подбирали с земли их окурки и докуривали до конца — пока пальцы не обожжешь.

И тогда страсть накинулась на нас, словно бацилла, попавшая внутрь, которую потом ничем не выкуришь.

Мы стали щекотать себя, потому что никто нас не щекотал. Мы все щекотали и щекотали себя, потому что в нас поселилась страсть. Мы щекотали себя до завтрака, после завтрака и во время завтрака, мы щекотали себя во время молитвы. Даже в метро мы щекотали себя — особенно, если было многолюдно и люди стояли вплотную друг к другу. Тогда щекотать себя особенно удобно. Мы щекотали себя на игровой площадке, пока Рафаэлла угощала чашкой кофе одного из поклонников. Мы щекотали себя с закрытыми глазами и с открытыми, чтобы лучше все видеть.

Мы посещали газетные киоски для взрослых и все листали журналы, пока нас не выгоняли из-за того, что мы не можем их купить. И потом мы повторяли все то, что видели в журналах: натирали себе кожу арбузом и выковыривали из пупка черные косточки. Мы даже втирали себе в кожу мед. Но это не помогало. Некоторые наши клиенты спрашивали: "Чем это так пахнет?", а это пахло нами, ведь если вотрешь в

кожу мед и потом походишь одетый, то начинаешь пахнуть. Одежда прилипала к телу, но никто этого не замечал, ведь мы сами занимались стиркой.

Мы поняли, что Бог изваял нас на славу. Рафаэлла говорила: “У Бога не все люди хорошо выходят, некоторым не повезло”. Мы благодарим Бога за то, что он хорошо нас слепил. И задаем себе вопрос, сколько нам еще себя щекотать, прежде чем нам улыбнется рай. Рай, о котором говорят люди в метро поздно вечером, когда в вагонах уже почти никого не осталось. Рай, в котором кряхтят и стонут и резко срывают друг с друга одежду. Рай, который мы видели в кино на 55-й улице, где крутят фильмы за три доллара. Рай, в котором один другому говорит: “Я хочу делать с тобой все”, а другой отвечает: “Хорошо, делай со мной все”.

Как часто мы говорили друг другу: “Я хочу делать с тобой все”, а второй на это отвечал: “Хорошо, делай все это со мной”! Просто чтобы потренироваться, до того как мы останемся один на один с теми, кто нас изберет и кого мы сами избрали. “Делай со мной все” — это звучало как пароль в рай, и ничего страшного, что мы не знаем, чтó этот рай собой представляет. Мы знаем только, что это рай, ведь мы слышали, как люди о нем шепчутся — так можно шептаться только о рае.

Мы стали собирать собственную влагу и потом смешивали ее с куриной, потому что нас учили, что животные — это тоже божьи твари.

Рафаэлла порой удивлялась пропаже яиц. Она открывала холодильник и говорила: “Кто ворует мои яйца?”

Мы молчали. Что нам делать, если нас никто не щекочет и даже не собирается, поэтому мы и щекотали себя сами. Мы щекотали себя и смешивали свою влагу с куриной. И потом, оттянувшись, втирали эту смесь в кожу — мы мазались этой штукой словно кремом с витамином Е. Но ничего не помогало. Абсолютно!

— Кто держит нас впроголодь? — вопрошал Поль. — Рафаэлла держит впроголодь своих поклонников, но кто держит впроголодь нас?

— Наверно, сам Бог, — говорил Тито, — наверняка, это он. Кто бы еще это мог быть?

Поэтому мы благодарили Бога каждое утро и каждый вечер за то, что он слепил нас на славу и держит впроголодь.

Рафаэлла сказала: “Может быть, ‘Мама Буррито’ — не совсем плохая идея. Кто знает? Почему бы и нет?”

Второго июня они с Эвальдом Кригом пошли покупать кухонное оборудование: миксеры, противни, сковородки, скалки. Домой они пришли с многочисленными коробками.

Рафаэлла сказала: “Итак, ‘Мама Буррито’ родилась на свет!”

11

Эвальд Криг заказал в типографии рекламки. На листочках было написано: “Мама Буррито”. А чуть пониже: “Самые вкусные буррито в Квинсе”. Под этим: “Позвоните и получите скидку 10 %”.

Рафаэлла больше не работала у Саймона. Саймон разозлился, когда она пришла к нему за расчетом. Многие клиенты приходили в его кофейню только ради Рафаэллы, и он об этом знал. Но признавать этого никогда не хотел. Вначале он ее умолял: “Не бросай меня, Рафаэллочка, моя кофейня будет без тебя уже не та”. Потом он начал ругаться. И наконец закричал: “Так уходи же, паскуда, уходи, шлюха! Будешь подыхать от голода, но сюда ты больше никогда не вернешься!”

И она ушла.

Эвальд Криг сказал:

— Наконец-то ты оттуда ушла, это надо было сделать намного раньше.

— Посмотрим, — сказала Рафаэлла, — туда я в любом случае больше не вернусь.

— Через пять лет, — сказал Эвальд, — можно будет покупать акции “Мамы Буррито”. Все захотят купить хотя бы одну акцию, а ты будешь ими всеми владеть.

Рафаэлла начала готовить буррито. Три дня она только и делала, что готовила буррито. А Эвальд Криг их пробовал. И вот через три дня у нее получились такие вкусные буррито, каких Криг еще в жизни не ел.

— Да, — сказал Эвальд Криг, — за такие буррито можно пойти даже на убийство.

— В Мексике они не такие, — сказала Рафаэлла, — мы едим их там совсем по-другому.

Криг об этом ничего не хотел знать.

— Неважно, как их на самом деле едят в Мексике, — говорил он, — важно то, как люди считают, что их нужно есть. Главное — это воображение: сигареты, буррито, фейерверк, фильмы, водка, книги. Все это воображение, воображение и только воображение. Упаковка — удовольствие — удачная продажа. Скоро ты сама будешь торговать воображением. Больше того, ты позаботишься, что воображение станут доставлять людям на дом, прямо к подъезду, а если они захотят, то и прямо к ним на кухню, на стол или, я бы не возражал, если прямо в кровать или в уборную. Это меня меньше всего

волнует, при условии что твои буррито попадут им в желудок. Сначала в желудок соседей, затем в желудки всех нью-йоркцев, после этого в желудки всех американцев, и я не успокоюсь, пока твои буррито, твои восхитительные буррито, не окажутся в желудках китайцев, корейцев и японцев.

После того как он произнес эту речь, он крепко поцеловал Рафаэллу в губы и забрался на стул. Этот маленький псих в очках, с поблекшими кудрями, красным носом и маленькими женскими ручками почему-то стоял сейчас у нас в большой комнате на стуле и кричал: "Я снова мечтаю, это я, уверенный в том, что разучился мечтать, считавший, что разбазарил все свои мечты ради призрака счастья, я мечтаю и мечтаю благодаря тебе, Рафаэлла. У моей мечты конкретная форма и такое же конкретное содержание, моя мечта называется буррито, ее зовут 'Мама Буррито'".

Он чертил в воздухе указательным пальцем, словно его слушало, по меньшей мере, пятьсот человек. "Я мечтаю, что в скором времени, когда в Китае у кого-то не окажется еды на ужин, маленькие китайчата начнут клянчить у родителей: позвоните в 'Маму Буррито', позвоните в 'Маму Буррито'. И что даже в самом крошечном китайском сельце будет такая возможность. Не забывайте и о том, что 'Мама Буррито' — это не только буррито. Это еще и мечта, надежда на лучшую жизнь. Пусть даже эта мечта приходит к вам в пластмассовом корытце с пластиковыми приборами, бумажной салфеткой и, может быть, даже кока-колой лайт — она не перестает оставаться мечтой".

Рафаэлла смеялась — мы давно не видели, чтобы она так смеялась.

— Какой же ты смешной, — говорила она, — Боже мой, ну какой ты смешной!

Поль прошептал:

— Он не только противный до тошноты, он еще и психопат.

— Еще какой психопат! — согласился Тито. — Куда хуже, чем я думал.

12

Четыре дня хорватка не обращала на нас внимания. Она сидела на стуле и молчала. Не говорила ни слова, ни единого, по крайней мере нам.

Мы испугались, что она уже начала смотреть на нас, как на пустое место и топтать нас, как придорожную пыль, хоть мы и не понимали, в чем мы провинились.

Но в пятницу она опять стала вести себя, как ни в чем не бывало. Мы играли в игру — в пятницу мы всегда играем в игры. И она снова сидела с нами.

— Боже, как же жарко! — сказала она. — Вам тоже жарко? У меня пот струится по всему телу. Я бежала. Зато теперь у меня свободные полдня. Полдня в моем распоряжении. Я хочу классно провести время. Как-нибудь очень классно. И вы можете присоединиться, если хотите.

Мы, конечно же, хотели. Нам было уже не до урока.

— И как же ты хочешь провести время? — спросил Поль.

— Я пока не знаю, — сказала она, — но все должно быть как-нибудь невероятно классно. Так, чтоб подпрыгнуть захотелось. Чего еще никогда не было и что никогда больше не повторится.

Мы обещали, что что-нибудь такое придумаем, но до конца урока так ничего и не придумали.

— Прокатимся на метро, я за всех плачу, — предложил Тито.

Мы поехали по первой линии. На Франклин-стрит мы вышли и немного прошлись.

— Знаете, чем вы мне нравитесь? — спросила она, но на собственный вопрос не ответила.

Достала из кармана резиновый мячик со словами, что она его выиграла. Хорватка сообщила, что выиграла уже много резиновых мячиков, но все их раздала бедным. Затем она метнула мячик в стенку.

— Ловите, — крикнула она нам, — вы должны его ловить.

Но стенка оказалась неровной. Мячик отскочил в сторону. Мы побежали за ним. Когда мы вернулись назад с мячом, она сказала:

— Когда вы заплатили за мой яблочный торт, я подумала: “Ну, теперь они будут ко мне приставать”, но вы ко мне не приставали. Поэтому я подарила вам свои фото. Я почти никому не дарю своих фото. Но вам я их дарю, потому что вы должны запомнить меня такой, какая я там. Никому не показывайте эти фото, но можете рассказывать обо мне людям. Если вас спросят: вы ее знали? — то вы скажите: конечно, мы ее знали. Она была такая красивая, что люди просто падали на землю, словно яблоки с деревьев, такая красивая, что невозможно глазам было поверить, еще она ходила в красных туфлях, потому что они ей приносили удачу. Вот что вы должны обо мне говорить. И еще о том, что я дарила бедным резиновые мячи.

После этого она принялась насвистывать.

Мы пошли в парк Гудзон-ривер и разлеглись там на траве. Даже трава была горячей. Дети играли в лапту.

— Вот теперь, — сказала она, — хорошо бы нас окатило водой!

Она закрыла глаза. Когда она снова их открыла, она достала из сумки ножик и начала протирать его белым бумажным платком. Начищала его до тех пор, пока он не заблестел на солнце. Она срезала ножом несколько ромашек.

— Смотрите, какой он острый, — сказала она, — прямо как мой язык, а язык у меня тоже очень острый.

Она набрала в легкие воздуха и опять начала насвистывать.

— Это хорватская песенка.

Когда ей надоело свистеть, она продолжила свой рассказ:

— Мне могут сказать что угодно: “Подойди к стенке. Наклонись. Наклонись ниже. Наклонись так низко, чтоб достать руками ступни”. Но у меня острый язык. Я решаю, кто будет наклоняться. Из-за того, что у меня острый язык, мне не нужен нож. Но наперед никогда не знаешь, поэтому я всегда беру нож с собой. Ведь никогда не знаешь. Могут, например, приказать: “Высунь язык”. Могут сказать: “Сунь свой язык мне в ухо”. Но я в таких случаях всегда вначале заглядываю в ухо. Если в нем полно серы, то я не буду совать туда язык. Или если в ухе волосы. Вы даже представить себе не можете, какие у людей бывают уши: в них целые заросли волос! Я говорю тогда: “У тебя в ушах волос больше, чем на голове”. Я говорю: “Для языка здесь нет места, у тебя все уши забиты”. Да, острый язык необходим, не то пропадешь. Но иногда бывает нужен и нож. Если люди не понимают шуток, они могут схватить тебя за горло. Они никогда не бьют. Они сразу хватают за горло. Одной моей подруге плеснули в лицо аммиаком. Вы знаете, как действует аммиак? Он все разъедает: кровь, ткани, клетки, кожу. Остаются только кости. Аммиаком отмывают самую едкую грязь. Теперь моя подруга на один глаз слепая и до того страшная, что никто на ней не хочет жениться. Сумка должна быть всегда под рукой. Я всегда сразу предупреждаю: “Где я, там и моя сумка”. Люди не соразмеряют свои силы. Порой я думаю: “Никто не соразмеряет свои силы”. Все необходимое у меня в сумке, поэтому я такая сильная. И красивая. Красивые всегда сильные. Смотрите, вон кораблики плывут. Это ведь тоже красиво!

Она спрятала нож в сумку и снова начала насвистывать. Мы закрыли глаза и слушали ее свист.

Через пятнадцать минут она встала и сказала:

— В воскресенье я могу захватить вас с собой в хорватский клуб. В два часа вы должны быть готовы и стоять на перекрестке 21-й улицы и Третьей авеню.

И она убежала. Помчалась куда-то по траве, не оборачиваясь. Она становилась все меньше.

А мы так и остались сидеть на траве.

Тито сказал:

— Смотри, она что-то забыла.

Это был карандаш для подводки глаз. Тито положил его себе за ухо.

13

Мы стали разносить рекламки у себя в районе. В них было написано: "'Мама Буррито', самые вкусные буррито в Квинсе".

Мы живем в Холлисе. Если по линии Ф доехать до конечной остановки, то можно пересесть на автобус или спуститься по Хиллсайд-авеню до конца, и тогда попадешь в наш дом.

Рафаэлла делала буррито. Эвальд Криг сидел наготове возле телефона в ожидании заказов.

— А тебе разве не нужно работать? — интересовались мы.

— Нет, — отвечал он, — "Мама Буррито" важнее работы.

И шепотом добавлял:

— И кроме того, я заработал уже столько своими книгами, что могу выйти на пенсию.

— Ну и выходи, — шепнул Поль, но Криг его не расслышал.

В первый день позвонили трое, в том числе и наша соседка. Она сказала, что возле нашей двери очень вкусный запах, и Тито вручил ей рекламку. "Вот, — сказал он, — Рафаэлла готовит буррито, позвоните ей и закажите. Первый заказ бесплатно".

Эвальд Криг приобрел всевозможные упаковочные материалы, чтобы доставлять буррито. Вся наша большая комната была завалена упаковочными материалами. Нельзя было и шагу ступить: везде пластмассовые корытца, бумажные пакетики, пластиковые ложки, фольга, целые груды фольги, стаканчики всех калибров и размеров.

— Ты слишком много всего накупил, — говорили мы. — Это ведь наша профессия — развозить заказанную пищу. Мы знаем, о чем говорим.

Он отмахивался от любых наших советов:

— Вы не понимаете, через два года даже на Аляске узнают о "Маме Буррито".

Когда мы вечером вернулись с работы, с нашей основной, Криг встретил нас словами: "Звонили трое. И пусть сегодня их трое, завтра их будет шестеро, на следующей неделе шестьсот, на следующий месяц — шесть тысяч. Это успех. Дело

идет в гору. Люди чувствуют разницу. Мы будем продавать мексиканскую мечту в пластмассовых корытцах, вначале тут, в Квинсе, а потом и по всему миру. О вас будут говорить, как о сыновьях основательницы 'Мамы Буррито'".

Одна партия буррито подгорела. Но на душе у Рафаэллы было легко. "Все идет хорошо", – сказала она и обняла нас. Вся ванная была заполнена съестными припасами: тут соус тартар, там куриная грудка, дальше тесто, приправы, укроп.

– Нам нужен новый холодильник, – воскликнул Криг. – Завтра привезут новый холодильник. Я сегодня его заказал, срочно. Наша квартира станет мозговым центром "Мамы Буррито".

На следующий день в десять утра привезли холодильник с морозильной камерой, и по настоянию Эвальда Крига установили в ванной. В большой комнате не было места, потому что там было уже все забито упаковочными материалами.

Мы больше не могли попасть в ванную и не могли принять душ, но на все наши возражения Криг отвечал:

– Все мы переедем в гостиницу, а здесь будет мозговой центр "Мамы Буррито".

До полпервого так никто и не позвонил. Рафаэлла стояла на кухне, готовая мастерить буррито, а Эвальд Криг сидел возле телефона с записной книжкой и тремя ручками.

– Они вот-вот позвонят, – то и дело восклицал он, – я это чувствую, они вот-вот позвонят.

Один раз телефон и вправду зазвонил, но это оказался маркетинговый опрос. Криг иной раз вставал и начинал бродить по комнате, насколько позволяло пространство, заваленное коробками, и бормотал: "Мы продаем мексиканскую мечту в пластмассовых корытцах и доставляем ее людям домой – идея гениальная, заявляю без ложной скромности".

Мы пошли на кухню. "Как же нам теперь жить без душа?" – спрашивали мы. "Все наладится, – успокаивала нас Рафаэлла, – поверьте. Эвальд знает, что делает".

В большой комнате мы слышали его голос из кухни: "Надежды на лучшую жизнь, пляж, немного любви, немного секса, мексиканская мечта, которую доставляют на дом в пластмассовых корытцах – и это меньше, чем за 5 долларов, включая НДС. Вот чего хотят люди, поверь, Рафаэлла, вот чего они хотят".

Мы чмокнули Рафаэллу, потому что у нас была назначена встреча с хорваткой.

– Куда вы? – спросила она.

– Немного погуляем, – ответили мы.

Ровно в два мы стояли на пересечении 21-й улицы и Третьей авеню. Мы оделись во все самое лучшее.

В двадцать минут третьего хорватки еще не было. Мы стали опасаться, что она забыла о встрече, что она уже начала смотреть на нас, как на пустое место. Но около половины третьего она подъехала на машине. Резко затормозила, прямо возле того места, где мы стояли.

Она вылезла из машины. На ней снова была та крошечная юбочка, которую нужно было держать, чтоб она не улетела.

— Ну, вот и я, — сказала она. — Вы долго меня ждали?

Ответа от нас не потребовалось, потому что она говорила все время сама.

— Ну-с, в клуб еще рановато.

С этими словами она достала из своей сумочки сигарету.

Мы взглянули на ее туфли. Каблуки на них были высотой не меньше десяти сантиметров.

— Откуда у тебя такие? — спросил Тито.

— Из обувного магазина, — ответила она. — Или вы подумали, что я покупаю себе туфли в парикмахерской?

Мы уселись под сводом чужого крыльца. Она подстелила себе рекламку.

— А то у меня попа замерзнет, — пояснила она, глубоко вздохнула и добавила: — У меня самая холодная попа в мире. Иногда, когда я лежу ночью в постели, я трогаю свои половинки и чувствую, какие они холодные. Словно две ледышки. Мама говорит, это из-за того, что у меня кровь плохо циркулирует. А она должна бежать, как горный ручеек весной.

Она достала из сумки коробочку "Тик-така". Оранжевый "Тик-так". Пересыпала несколько штук в ладонь и стала распределять.

— Оранжевые — самые вкусные, — сказала она. — Их нужно рассасывать медленно, чтобы оранжевый слой растворился и они стали белыми. Я иногда целыми днями жую "Тик-так". Но я ем также бублики с отрубями, потому что хочу оставаться здоровой. И красивой. Чтобы у меня кожа сияла. Но после бублика с отрубями я угощаю себя "Тик-таком". И чувствую себя счастливой. А когда коробочка наполовину опустеет, можно немного и помузицировать. Вот, послушайте!

И она начала музицировать. Мы тоже музицировали, не меньше двадцати минут. И решили, что когда сегодня ночью ляжем спать, то попросим Бога согреть ей попу. Пусть она будет у нее такой же теплой, как камень, который целый день грелся на солнце, на который садишься вечером, когда он уже немного остыл, чтобы смотреть на деревья.

— Ну, теперь пора в хорватский клуб, — сказала она.

Она расправила юбку. Она шла на каблуках, ничуть не шатаясь, только последний отрезок пути до машины она скинула туфли и крикнула: “Бегом!” И все мы помчались к машине.

По дороге в хорватский клуб у нее четыре раза глохнул мотор.

— Эта развалюха не моя, — сказала она, — слава тебе, Господи!

Мы ехали через район, в котором мы раньше никогда не были. Поль спросил:

— А ты думаешь, Бог все видит? Где бы мы ни были, Бог все видит?

Она ответила на вопрос Поля утвердительно, не переставая соревноваться в скорости с другими машинами.

— У Бога глаза большие, — сказала она. — Такие огромные, что все его узнают на улице. Поэтому он всегда носит темные очки. Глаза у него большие и красные и вечером светятся в темноте. Если подержать возле них сигарету, то она загорится. Такой у него в глазах жар. Он никогда не снимает темные очки, но может сесть рядом, чтобы тебя потискать. Бог любит кого-нибудь потискать. Просто, чтобы разогреться. Бог любит жару. Но если его оттолкнуть, он разозлится. А если сказать: “Отстань, Бог!” — он начнет завывать, как ураган. Он схватит тебя за руку и будет держать так крепко, что ты ее и не вырвешь. Изо рта он достанет сигарету, которую до этого поджег своим взглядом, и прижмет окурок к твоей ладони. Будет прижигать так медленно, что это покажется тебе вечностью, и при этом скажет: “Сука”. Бог знает разные грязные слова. И после он сразу же закурит новую сигарету, потому что он — заядлый курильщик.

Мы ехали все быстрее, обогнали спортивную машину.

— Да, — сказала она. — Бог повсюду, и он все видит. Он может отправить вам на пейджер сообщение, а может возникнуть на пороге, и что он тогда скажет, целиком зависит от его настроения. Бог может быть и очень добрым. Тогда он пригласит тебя в очень дорогой ресторан, с видом на озеро или на глубокую долину, очень глубокую и всю в огнях. Если у Бога хорошее настроение, то он не жадный. Ему все по плечу. Он говорит всякие приятные вещи. Он говорит: “Ты самая красивая, самая милая, самая желанная, самая горячая, самая умная, ты лучшая, с тобой ничего не может случиться, ты в безопасности, ты под моей защитой. У тебя самые красивые глаза, самые красивые волосы, одна твоя грудь стоит трех ‘мерсов’ с открытым верхом, и ты всегда вкусно пахнешь. Я

тебя нюхаю, потому что ты всегда вкусно пахнешь". И он ныряет под стол, чтобы меня обнюхать. Бог, как собака, нюхает мои ноги и между ног. Официанты не смотрят, отворачиваются в сторону, потому что Бог дает щедрые чаевые.

Она говорила все это, пока мы ехали на большой скорости по шоссе.

Мы остановились перед скромным зданием. Оно было похоже на школу. Мы вошли внутрь. Вначале хорватка, а мы — следом за ней. В помещении были сплошь мужчины и всего несколько женщин. Все они сидели за столами и пели. Во время пения поднимали вверх большие кружки с пивом и размахивали ими из стороны в сторону. Мы остановились в дверях.

Некоторые кивали нашей хорватке, и она им отвечала также кивком. Как королева. Да-да, точь-в-точь как королева.

— О чем они поют? — спросил Тито, так как мы ничего не понимали.

— О море, о горах, об озерах, — ответила хорватка, — о нашей стране.

Она вышла с нами в коридор и достала из сумки телефон.

— Мой телефон, — сказала она, — он самой последней модели. И смотрите, к нему кожаный чехольчик. Итальянский дизайн. Сейчас он выключен, — сказала она. — Но в шесть часов я его снова включу.

И она покачала телефон, словно у нее на руках был младенец. Затем достала еще один чехол.

— Смотрите, это мой пейджер. Тоже последняя модель.

— Можно тебя поцеловать? — спросил вдруг Тито.

Она отступила на шаг назад.

— Куда? — спросила она. — Я должна вначале знать, в какое место.

— В щеку, — сказал Тито. — В щеку, под глазом.

Она громко высморкалась.

— Ну ладно, — согласилась она. — Если вам это доставит удовольствие. Но только один раз.

Мы поцеловали ее в указанное место.

Она посмотрела на часы. Они были у нее не на руке, а в сумке.

— Собственно, надо бы сейчас с вами пойти попробовать хорватскую кухню, но времени на это нет, и я отвезу вас домой.

Мы все пошли к машине.

— Я набила мозоли, — сказала она. — Эти туфли не приносят мне удачи.

В машине она их сняла.

– Чуть-чуть отдохнуть, – повторяла она, – совсем чуть-чуть отдохнуть.

Воздух был скорее желтый, чем голубой. И все из-за смога. Тито надел темные очки, те самые, красивые, которые он получил на свое девятнадцатилетие.

Мы оглянулись на хорватский клуб. Из двери на улицу продолжали выходить мужчины. Кто-то стоял и разговаривал возле входа.

– Вы когда-нибудь говорили женщине: “Сегодня поедем в Лас-Вегас, а завтра мы с тобой поженимся”?

Мы отрицательно покачали головой, а Поль спросил:

– А тебе такое когда-нибудь говорили?

– О да, – ответила она, – о да-а-а! – И во второй раз это прозвучало протяжно, этому “да”, казалось, не будет конца. Прозвучало так, словно она слышит это каждый день.

– И бриллианты обещали, и кольца, такие большие и тяжелые, что руки у меня в них станут как свинец. Только я не дурочка. Еще у меня была собака. Я ее очень любила. И ребенок у меня был.

Из клуба на улицу продолжали выходить люди.

– Но никто не знал об этом ребенке. Невозможно было догадаться, что я его жду. Вы только посмотрите, какая я стройная. Ничего не было заметно.

Она немного приподняла вверх блузку. Мы убедились, какая она стройная. Мы увидели ее пупок.

– Та моя подруга, которой потом плеснули в лицо аммиаком, мне тогда помогла. Вы когда-нибудь знали про такое?

Мы помотали головой.

– Ничего особенного тут нет, – продолжала она. – Вначале мы танцевали на дискотеке. Танцевать нужно как можно дольше. А потом мы пошли в туалет.

Она зажгла сигарету.

– А потом, – сказала она, – нужно найти мусорный бак. Только не маленький. Потому что ребенок тяжелый. Намного тяжелее, чем вы думаете. Намного тяжелее, чем тенисная бутса. И если засунуть его в маленький мусорный бак, то знаете, что будет? Мусорный бак потом будут выносить и подумают: “Какой он тяжелый! Что в нем такое? Может быть, слиток золота?” И начнут искать. Ребенка лучше положить в большой мусорный бак, самый большой из всех, какие только можно найти. В котором не будет заметно, что там ребенок. Его нужно засыпать сверху пищевыми отходами. Сделать ямку в пищевых отходах и положить его туда.

Она набрала в легкие воздух.

— И конечно, хорошенько помыть туалет, потому что остается кровь и всякое такое прочее. Лицо надо тоже хорошенько вымыть, смыть пот и размазавшуюся тушь, чтобы никто ничего не заметил.

— Да, — подтвердила она. — Именно так.

— А если ребенок заплачет? — спросил Тито.

— Он не заплачет.

— А если все же заплачет?

— Тогда нужно рукой заткнуть ему рот. И похоронить под пищевыми отходами. И тогда все будет позади. Никто не узнает, что он когда-то был. Тогда можно возвращаться назад на танцплощадку, и плясать, плясать, пока не вознесешься. Не вознесешься, как ангел. Как ангел, который все никак не может перестать танцевать.

Потом она отвезла нас домой, при этом всю дорогу молчала. Прежде чем выйти из машины, Тито спросил:

— Можно мы тебя еще раз поцелуем, в щеку под глазом?

Но она ответила:

— Нет, на сегодня достаточно. Уже почти шесть. Я должна включить телефон. Увидимся завтра.

И она уехала.

14

Кто-то на самом деле один раз позвонил, но, узнав цену, сказал: “Нет, спасибо”.

На кухне сидела Рафаэлла. Она была готова делать буррито в огромных количествах, просто в неимоверных.

— Странно, — сказала она, — что теперь, когда я знаю, как надо жить, большая часть жизни уже прошла мимо. — И она посмотрела мимо нас, мимо кухни, мимо сорока банок кока-колы, приготовленных на продажу. Мы поняли, что она вспомнила нашего отца и тот день, когда тот мужик разбил ему голову эвкалиптовой дубинкой.

— А ты не запихивала никогда ребенка в мусорный бак? — спросил Поль. — Такой большой-большой мусорный бак, и не засыпала его потом пищевыми отходами?

Она пристально посмотрела на нас и ответила:

— Нет, такого со мной никогда не было. А что?

— Да так, — сказал Поль.

Мы пошли к себе. Под кроватью у нас стояли баночки имбирного эля. Криг сидел на стуле возле телефона и приговаривал:

— Ведь никогда не знаешь, вдруг кому-то ночью захочется буррито. 24-часовое обслуживание — вот в чем секрет нашего успеха.

Лежа в кровати, мы попросили у Бога согреть хорватке попу. Чтобы она больше не была у нее как две ледышки. И еще мы попросили нашего отца, который, скорей всего, от Бога в двух шагах, замолвить за нее словечко. Кто-то ведь должен замолвить за нее словечко! И еще за ребенка, погребенного под пищевыми отходами.

Мы поднялись рано утром. Эвальд Криг уснул возле телефона. Мы оделись.

Рафаэлла почти не спала. Она снова сидела на кухне, готовая приняться за стряпню.

– Новый день, – сказал Эвальд, проснувшись, – дарит новые возможности. Мы должны контролировать запасы; половина успеха “Мамы Буррито” зависит от дисциплины.

– Но мы ведь пока ничего не продали, – сказала Рафаэлла.

– Это неважно, – ответил Эвальд Криг и в самом деле пошел контролировать запасы. Из мусорного ведра он извлек четыре банки маринованных огурцов, под вешалкой у него была запрятана коробка с цветной капустой. Из шкафа, в котором стоял пылесос, он достал десять жестяных банок томатного соуса. Он все время бормотал себе под нос: “Нам нужен холодильный отсек, Рафаэлла, говорю тебе, нам нужен просторный холодильный отсек. От этого зависит весь успех “Мамы Буррито”.

Рафаэлла ничего не отвечала.

Мы тем временем надели кроссовки.

– Узнайте, мальчики, можно ли где-нибудь арендовать холодильный отсек, – крикнул нам вдогонку Криг.

В лифте Тито сказал:

– Скоро он превратит наш дом в один большой холодильный отсек – этот тип способен на все.

В тот понедельник, когда мы вышли на улицу, откуда ни возьмись, появилась она. На ней были ее “счастливые” туфли.

– Пойдемте, – сказала она.

Мы спросили ее куда, и она ответила:

– Пойдем к реке. – Жарко, – проронила она, – у меня ноги потеют.

Когда мы уселись на скамейку, она показала нам свои пальцы на ногах.

– Смотрите, как я их накрасила. Жара нагрянула настоящая. Начался летний сезон. Как вам такой цвет? Мои пальчики неотразимы, не так ли? Ну скажите, когда вы смотрите на мои пальчики, разве вы не чувствуете себя внутри абсолютно счастливыми?

И она пошевелила пальцами ног.

— Глядите, как они друг с другом играют, — сказала она, — они похожи на маленьких гномиков в красных шапочках.

Она наклонила набок голову и задумалась.

— Да, — подытожила она, — мои пальцы неотразимы. Я не показываю их кому угодно. Обычно я не снимаю туфли. Особенно, если ношу туфли на каблуках. Люди думают, что у меня туфли красивей, чем пальцы. Знали бы они!

Она еще немного пошевелила пальцами в воздухе и сказала:

— Теперь я вам кое-что расскажу, чего я еще никому не рассказывала. О самом счастливом периоде моей жизни. Знаете, чем я занималась в самый счастливый период моей жизни?

— Нет, не знаем, — сказали мы.

— Я торговала футболками. Их заказывал один мой приятель. С портретами Мадонны, "Стоунз" и Спрингстина. Это было именно то, что нам нужно. Мы ездили со звездами по местам, где они выступали. Я стояла перед стадионом и держала над головой футболку. Мой приятель следил за стопкой товара, а также принимал деньги. Бывало и так, что кто-то выхватывал футболку прямо у него из рук. Он был к этому готов и бежал за вором с молотком.

Наши футболки были намного дешевле тех, что продавались на самом стадионе, поэтому мы сбывали их очень помногу. Это было тяжелое время, потому что сегодня мы торговали в Лос-Анжелесе, а на следующий день в Сиэтле. Часто звезды летали на самолете, и нам приходилось догонять их на машине.

К концу сезона мы прилично заработали. Мы поехали во Флориду. Наняли "форд-мустанг" с открытым верхом. Сиденья были красного цвета. Такие же красные, как солнце на закате. Точно такие, как спелая клубника. Мы переезжали из мотеля в мотель. Цена за постой была невысокой. Мы ели на балконе и смотрели на море. Мы мало друг с другом разговаривали. Он был не слишком разговорчивый. Но я чувствовала, что он меня любит, хоть он об этом никогда не говорил. Я это чувствовала, ему даже не нужно было говорить.

Потом у нас закончились деньги. Вечно эти поганые деньги! Однажды под вечер его схватили. Он поехал за едой и за сигаретами. Превысил скорость, и его арестовали.

Первое время я его навещала так часто, как только могла. Ему дали тридцать лет, можете себе представить? А мне ведь самой еще нет тридцати. Вначале я решила его ждать, но как ждать человека целых тридцать лет?

Он написал мне, что я не должна его ждать, что он меня не любит, я для него не единственная на свете и не самая лучшая, что он оттуда никогда не вернется, что лучше бы ему вы-

несли смертный приговор. Но я знала, что все это чепуха и он пишет все это, чтобы меня спасти. Такие вещи чувствуешь. Словами никого не обманешь.

Но через два месяца я поняла, что тридцать лет — это и правда слишком долго. Мне хотелось выйти на улицу под дождь, чтобы дождь смыл мои слезы. И тогда мне приснился этот сон. Как будто мы снова свиделись с ним в нашей комнате в мотеле. Комната 304, и мы с ним снова там. Я видела стулья, на которых мы сидели, и те стулья, что мы выставили на балкон, еще наш маленький холодильник и кофеварку. И тогда я все поняла. Это был пророческий сон. Сон о будущей жизни. Я поняла, что мы встретимся в следующей жизни и будем счастливы. И тогда я перестала ждать. Эта жизнь не для нас, я это поняла. Наша жизнь еще только когда-нибудь настанет. Каждому предназначена какая-то одна жизнь, и мы попали не в свою. Поэтому мы и не могли быть счастливыми, ведь эта жизнь была не наша.

Когда я это поняла, я стала очень-очень спокойной. И больше не плакала.

304 — мое любимое число. Запомните его, ведь если его прочесть наоборот, то выйдет мой день рожденья.

Итак, вы все теперь знаете о самом счастливом периоде моей жизни. Он был такой счастливый, что вы и представить себе не можете. А в следующей жизни я стану еще счастливее. Так мне иногда кажется. Хоть бы она поскорей началась! Я жду ее не дождусь. Но с вами я уже не увижусь. Ведь вас, возможно, не будет в следующей жизни. Может быть, эта жизнь как раз ваша.

— Ну, — подытожила она, — мне пора.

Она вытрясла в ладонь еще несколько горошин "Тик-така" и положила их в рот.

— Все остальное ваше.

Мигом сунула ноги в туфли и убежала. Она была похожа на кролика. Да-да, издали очень на него похожа.

— У нее день рожденья четвертого марта, — сказал Тито. — Давай-ка это запишем.

15

В лифте висел рекламный листок, и на нем было написано: "МАМА БУРРИТО" ПОКОРЯЕТ НЬЮ-ЙОРК, а чуть ниже — номер телефона. Это Эвальд Криг заказал новую рекламу.

— Пятеро! — объявил он, когда мы вошли. — Пятеро звонили, и им очень понравилось. Я им потом всем перезвонил, им очень понравилось буррито.

Рафаэлла сидела на кухне.

— Может быть, все еще получится, может быть, — сказала она и обняла нас.

Мы не высказали того, что на самом деле думали. Мы на это не решились.

— Холодильный отсек, — раздавался голос Эвальда Крига, — вы нашли холодильный отсек?

Мы посмотрели на Рафаэллу. Она вся пропахла буррито. Ее красное платье в белый горошек было все в пятнах. Много лет назад она не сунула нас в мусорный мешок вместе с пищевыми отходами. Только теперь мы поняли, что этого никогда не забыть — ту минуту, когда ты решил этого не делать. Как и ту минуту, когда ты решил это сделать. Все, что с нами произошло или еще произойдет в жизни, было следствием ее решения не прятать нас в пищевые отходы. Правда, однажды она спрятала нас среди горы арбузов. Когда мы въезжали в эту страну, мы были спрятаны среди арбузов — больших зеленых арбузов.

Если бы Рафаэлла тогда решила спрятать нас среди пищевых отходов, мы были бы сейчас святыми душами. Мы были бы сейчас с нашим отцом. Он ведь теперь святая душа. Некоторые люди считают, что у разбойника не может быть святой души, но мы думаем по-другому. Пускай он нас бил, пускай он бил Рафаэллу, но теперь он — святая душа. Мы точно не знаем, что означает святая душа. По нашему мнению, это что-то вроде плаща, очень красивого плаща из голубого бархата.

Мы улеглись в кровать. Эвальд Криг снова спал рядом с телефоном.

Мы же приняли одно очень важное решение: хорватка — это наша избранница. Она будет делать с нами все. Делать с нами все должна она и никто другой. Бог посмотрит на это одобрительно. Он пошлет на Землю молнии и дождь, и еще град с горошинами величиной в четыре квадратных сантиметра, чтобы всем показалось, что забили сразу сто тысяч барабанов. Завтра мы скажем ей это — то, что она должна делать с нами все. Что мы очень хотим, чтобы она делала с нами все.

Дальше события вдруг начали развиваться очень быстро. Словно сорвалась крышка с миксера, пущенного на максимум, и сливки разбрызгались по стене, по потолку, угодили вам в лицо и на обувь.

Поговорить с ней перед уроком нам не удалось. Она вошла в класс последней. Но когда урок закончился, мы побежали за ней — чего мы обычно не делаем. Обычно мы соблю-

даем достоинство. Мы догнали ее на улице напротив станции Пенн.

– Ты куда? – спросили мы.

– Никуда, – ответила она.

– Мы должны тебе кое-что сказать, – произнес Тито.

– Ну-ну, говорите.

Она продолжала идти не останавливаясь.

– Если бы мы были поэты, мы послали бы тебе стихотворение, если бы мы умели рисовать, мы послали бы тебе рисунок, если бы у нас были деньги, мы послали бы тебе что-нибудь очень-очень большое. Например, "мерседес" с открытым верхом. Но у нас нет денег, мы не умеем рисовать и совсем не умеем писать стихи.

– Ну-ну, говорите.

Она шла дальше, в сторону реки.

– Мы должны тебе что-то сказать, о чем-то тебя попросить, – начал Тито.

– Просите, – сказала она. – Но я не даю взаймы – три-четыре бакса, конечно, дать могу, но не больше.

– Речь пойдет не о деньгах, – сказал Тито.

– О, – сказала она, – ну и отлично! А то у меня денег нет.

– Речь совсем о другом, – продолжал Тито. – На самом деле все очень просто. Мы хотим, чтобы ты делала с нами все, если ты сама, конечно, хочешь.

Она не остановилась. И не посмотрела на нас.

– Все? – повторила она нейтрально, словно речь шла о пакетике супа.

– Все, – повторил Тито, а Поль сказал:

– После того как у нас с тобой будет все, мы вспотеем так, что можно будет наполнить три ванны нашим пóтом – вот как мы хотим, чтобы это было. А Бог, если он хоть немного на нашей стороне, пошлет на землю град, чтобы казалось, что забили сразу сто тысяч барабанов.

– Град? – удивилась она. – В июне месяце?

Мы остановились, так как хотели, чтобы она на нас посмотрела. Теперь и она тоже остановилась.

– Мы хотим, чтобы ты делала с нами все, если ты, конечно, сама не против. Вот, что мы хотели тебе сказать. Это наше самое заветное желание. Мы не умеем писать стихи или рисовать картины, мы не снимаемся в кино, мы не можем подарить тебе белый автомобиль с открытым верхом, и поэтому мы знаем, что мы нахалы. Но мы надеемся, что ты простишь нам наше нахальство. Ведь мы не можем больше ждать.

Она засмеялась. Очень громко. Потом схватила руку Тито и поцеловала его руку. Впервые на нашей памяти она такое

сделала. Потом пробормотала что-то на своем родном языке, но мы, конечно, не поняли, что это было.

— Все — это слишком много, — сказала она. — Если человек неглупый, то ему довольно не больше половины. Только дураки просят все. Все — это тяжело. Так долго не протянешь.

Вскоре мы оказались на ее любимом месте на набережной. Мы не решались произнести больше ни слова.

— Почему? — спросила она. — Почему бы я вдруг согласилась?

— Мы не знаем, — сказал Тито, — и это правда. Даже если бы мы знали, мы бы все равно не говорили, потому что боялись бы, что это все испортит, и потом уже ничего не поправишь. Но мы и в самом деле не знаем.

— Но не потому, что ты нас любишь, — сказал Поль.

— Да, — сказал Тито, — не потому, что ты нас любишь.

— Не потому, что я вас люблю, — повторила хорватка, — но почему тогда?

Мы все молчали: хорватка молчала, Поль молчал и Тито молчал. И так целых пять минут.

Наконец Поль сказал:

— Представь себе (я знаю, что это не так), но только представь себе на минутку, что ты нас все-таки немножко любишь. Немножко, ну, скажем, на десять процентов от того, что ты чувствовала к тому человеку, который получил тридцать лет. Если б это было так, если б ты любила нас на десять процентов от того, ты бы делала с нами все? Все, что ты делаешь при свете, и все, что ты делаешь в темноте, все, что ты делаешь сидя, все, что ты делаешь стоя, лежа, все, что ты делаешь с открытыми глазами и что ты делаешь, закрывая глаза, все, что ты делаешь с другими? Ты могла бы тогда делать это с нами?

Она сделала вдох. И затем резко выдохнула воздух. Словно во рту у нее был дым, хотя никакого дыма у нее во рту не было. Она посмотрела на воду, на кораблики и вертолеты, на все, на что она всегда смотрела с удовольствием, потому что ей нравилось на это смотреть.

— Может быть, — сказала она, — может быть, я вообще никого не люблю. Это не моя жизнь, и почему я должна кого-то любить? Моя жизнь еще придет. И она будет прекрасной. Она будет полна любовью, до того заполнена любовью, что можно будет бегать вприпрыжку. Даже если очень захочется в туалет, то все равно придется бежать вприпрыжку. Вот какой будет моя следующая жизнь!

И она снова сделала вдох. И вновь резко выдохнула.

— Я как будто плыву под водой. Попробуйте как-нибудь сами.

Она зажала ногами сумку и начала бормотать: “Мужчина, который меня любит, заставляет меня забыть о времени, и о вчерашнем вечере, и о вечере, который еще только настанет. Когда ты с ним, то тебе кажется, что шесть часов никогда не пробьет. Мужчина, который меня любит, ни о чем не просит, потому что знает, что ему просить не о чем. И он ничего не желает, потому что все, что ему нужно, он получает и так. И он ничего не хочет, потому что у него все и так есть. Ведь он меня любит. Единственное, чего он хочет, это чтобы я бегала вприпрыжку. Куда бы мы ни пошли, я всегда должна бежать вприпрыжку. Даже если мы сядем в поезд и поедем, я все равно буду передвигаться вприпрыжку.

Она встала. Пошевелила пальцами ног, но на этот раз ничего про свои пальцы не сказала.

– А теперь я расскажу вам, – сказала она, – как надо действовать коленом. Вам в будущем это может пригодиться. Вы вдвигаете колено тихонько ей между ног. И сразу понимаете, в каком состоянии ваша зазноба. Если она еще не готова, то вы принимаетесь немного давить коленом. При этом рукой надо опереться о стену, и всего за полторы минуты она станет кроткой, как овечка. И начнет томиться. Томиться жаждой. Я могу эту жажду утолить. Я источник. Но я не утоляю жажду, я ее только разжигаю. В этом мой секрет. Я порабощаю. Чем чаще вы меня видите, тем больше впадаете в рабство. Наконец, вы видите меня повсюду, даже когда меня нет. Вы видите меня на стене в своем доме, на асфальте, когда идет дождь, на горячем асфальте на солнце. Вы узнаете меня в других людях, различаете меня в комнатах, в которых я никогда не была. Любой рот, к которому вы будете припадать, будет иметь вкус моего рта, любую щеку, которую погладите, вы будете чувствовать как мою, волосы, которые будете ерошить, будут для вас моими. Но это только в самую первую минуту, ибо потом вы поймете, что это не я. Вы будете узнавать меня в незнакомых людях и находить меня в комнатах, в которых я никогда не была. Вы будете узнавать мой почерк в письмах, которые я никогда не писала, и слышать мой голос в словах, которые я никогда не произносила. Знаете, в чем мой секрет? Я смотрю на них, как на придорожную пыль. И забываю их еще до нашей самой первой встречи.

16

К нам домой пришли служащие департамента гигиены. Они все конфисковали: пластмассовые стаканчики, пластмассовые корытца, вилки, ножи, холодильник, припасы кока-колы

и имбирного эля, тесто, фарш, лук, чеснок, помидоры, куриное мясо, салат, консервные банки, а также миксеры. "За незаконное предпринимательство в области гостинично-ресторанного бизнеса". Рафаэлла говорила, что ей они якобы сказали, что мы еще легко отделались. Но Эвальд Криг кричал: "Мы отомстим, погодите, мы еще отомстим!"

Так или иначе, но мы снова могли пользоваться душем.

После визита представителей департамента гигиены влюбленность Рафаэллы словно испарилась. Словно они попшикали чем-то в воздухе, и последние остатки влюбленности куда-то улетучились. Словно это была не влюбленность, а рой комаров, и всех их разом уничтожил департамент гигиены.

Рафаэлла ходила по дому и возмущалась:

– Это была твоя идея, Эвальд, твоя! Теперь я даже к Саймону не могу вернуться, и куда мне теперь идти?

Эвальд отвечал:

– Но ведь какое удовольствие мы получили!

Он сидел на том же стуле, что и обычно в последнее время, и улыбался. На его лице играла высокомерная ухмылка.

Рафаэлла восклицала:

– И это твое представление об удовольствии, да? Такое у тебя представление об удовольствии?

– Не мое представление, Рафаэлла, а просто представление, – отвечал Эвальд, – просто представление об удовольствии. Если оно тебе не нравится, мне очень жаль!

– Все эти твои разговоры, – кипятилась Рафаэлла, – просто омерзительны. Ты плохо понимаешь людей.

– А я когда-нибудь утверждал обратное? – вопрошал он, и на его лице опять появлялась усмешка.

Рафаэлла бросилась на кухню и вскоре прибежала оттуда с кастрюлькой в руке – той, в которой раньше подогревала для нас молоко. Выходит, эту кастрюльку департамент гигиены не забрал. Рафаэлла подлетела к Эвальду с кастрюлькой в руке и изо всех сил ударила его по ляжке. Ему, наверное, было больно, но он не шелохнулся.

– Знаешь, кто ты? – вскричала Рафаэлла. – Ты эмоциональный террорист!

Он внимательно посмотрел на нее и сказал:

– Ты не должна бить меня кастрюльками по ногам. Мне это не нравится.

– Ах, меня тошнит от твоей надменности! – воскликнула она. – И знаешь почему? Потому что ты – эмоциональный террорист. Потому что ты ничего не чувствуешь, потому что ты ведешь себя так, словно это не твои чувства, а какого-то

случайного знакомого. Ты словно наблюдаешь за своими чувствами со стороны, словно их можно повертеть в руках и потом положить в печку СВЧ, чтобы посмотреть, что с ними будет. Ты все время строишь планы, один грандиозней другого, чтобы иметь хотя бы иллюзию, что ты что-то чувствуешь. И поэтому ничто не должно ни на минуту останавливаться, все должно двигаться вперед. Но в тот день, когда ты что-то почувствуешь на самом деле, ты выпрыгнешь из окна от полной растерянности.

– Похоже, ты и вправду знаешь, – спокойно реагировал Криг, – раз так говоришь.

– Да, я знаю! – воскликнула Рафаэлла. – Тебе кажется, что ты победил жизнь, что теперь ты сам себе режиссер, что ты обошел все ее острые углы. Никто не может тебя расстроить, ведь либо тебя слишком боятся, либо возможное разочарование ты просчитал заранее. Никто не может тебя предать, ты ведь сам всех первый предаешь. Никто не может тебя бросить, ты ведь с людьми не до конца, а только наполовину. Ты думаешь, что ты самый сильный, несокрушимый, как танк, но я говорю тебе честно, что я еще никогда не встречала банкрота большего, чем ты. Пусть у тебя сто или двести тысяч баксов на двадцати пяти твоих тайных счетах. Вот почему деньги для тебя так важны. От полного одиночества тебя отделяют только деньги. И ты это знаешь. Ты ведь до смерти боишься даже малейших эмоций, ты скорее готов умереть, чем что-либо почувствовать.

– Послушай... – начал Эвальд, но она не дала ему вставить слово.

– Единственное, что у тебя хорошо получается, так это навести дурману: дурман влюбленности, дурман всемогущества, дурман дорогих ресторанов, шампанского, дурман анекдотов, дурман энергии, неукротимой энергии, которую невозможно обуздать, потому что в таком состоянии и сама не понимаешь, что с тобой происходит. Это могло бы иметь роковые последствия. Но весь этот дурман ничего не стоит, все это слова, обыкновенное шоу. Когда смотришь его в первый раз, то, я согласна, это очень мило. Когда видишь его во второй раз, ты расстраиваешься. А в третий раз становится тошно. Потому что это самое пустое и фальшивое шоу, которое когда-либо приходилось наблюдать. Дом с привидениями под маской любви – это максимум, что ты можешь предложить.

Криг поднялся со стула.

– Тс-с-с, – сказал он, – "дом с привидениями под маской любви" – надо же такое придумать, может быть, тебе стоит самой начать писать? Почему бы не начать с моей биогра-

фии? Если тебя послушать, то тебе будет о чем рассказать. Если тебе понадобится мастер мистической прозы, то ты всегда можешь мне позвонить. У тебя есть мой номер, а тариф мой ты знаешь.

— Если бы ты знал, как я тебя ненавижу! — выпалила Рафаэлла. — Если бы ты только знал!

— Поверь, — ответил Криг, — я бьюсь изо всех сил, до того я хочу это себе представить. Я стараюсь изо всех сил. Нетрудно ненавидеть того, кто умней тебя и остроумней, к тому же намного моложе, и кто заработал денег больше, чем сможешь это сделать ты до конца своих дней. Я понимаю, я, черт возьми, очень это хорошо понимаю!

— Если бы ты знал, насколько ты жалок, — промолвила Рафаэлла, — если бы ты знал! Но ты этого никогда не поймешь, ведь ты делаешь все, чтобы никогда этого не понять. Шоу должно продолжаться, поэтому тебе постоянно будут нужны те, кто согласен в него верить. Тебе нужны зрители, чтобы ты мог поверить в него сам, и вот почему ты — один из самых жалких типов, кого я когда-либо встречала.

— Я понимаю, — сказал Эвальд, — что я еще многому мог бы у тебя поучиться. "Держать впроголодь" — это еще один пример высоких эмоций. Не сравнить с моими мелкими фальшивыми эмоциями, необходимыми лишь для того, чтобы манипулировать остальными и сравнивать, что произвело впечатление и на кого именно. К счастью, я уже не питаю на этот счет никаких иллюзий. Впечатление самое плачевное. Скоро мне придется записаться к тебе на лекции, чтобы узнать, как изменить ситуацию.

Он достал из внутреннего кармана чековую книжку и выписал чек. Заполнив его, он сказал:

— Я думаю, что десяти тысяч долларов за понесенный ущерб будет достаточно. Я, конечно, негодяй, но не совсем уж законченный.

Рафаэлла схватила чек и порвала его на сотню мелких кусков.

— А теперь убирайся!

— Как хочешь, — сказал Эвальд Криг, — как хочешь. Мое предложение остается в силе. В том числе и насчет биографии. Жаль, что у тебя это не вышло, не получилось и меня в том числе держать впроголодь, но бывает, положим, даже с лучшими такое бывает!

И с этим он покинул наш дом. Рафаэлла распахнула дверь, едва захлопнувшуюся за ним, и прокричалаа:

— Не все можно купить за деньги, Эвальд Криг! Не все покупается за деньги!

17

Она приходила каждый день, но ни с кем не разговаривала. Время от времени мистер Берман ее спрашивал: “Кристина, у тебя есть вопросы? Ты уверена, что у тебя не возникло ни одного вопроса?” На что она отвечала: “Да, я уверена. У меня нет вопросов. Ни одного”.

Однажды она сказала:

– Мне срочно нужно сделать педикюр, вы только посмотрите на мои ногти, какой ужас!

Она глубоко вздохнула.

– Но мне все время так некогда.

И она вытянула вперед руку.

– Красивые у меня ногти?

Мы кивнули.

– Как вы думаете, они настоящие?

Мы снова кивнули, а она засмеялась. Она давно так не смеялась.

– Конечно, не все они настоящие, – сказала она. – Настолько идеальных ногтей ни у кого не бывает. Некоторые, правда, настоящие, но какие, я не скажу.

Вот и все, что она говорила.

Но в пятницу тринадцатого июня, в середине первого урока, она вдруг прошептала:

– Когда урок закончится, идите за мной.

Мы едва дождались окончания урока мистера Бермана, казалось, он длится целую вечность. Наконец нас отпустили, и мы побежали за ней. Мы думали, что снова пойдем на набережную, но на самом деле мы пошли в другую сторону.

Было до того жарко, что некоторые люди даже падали в обморок, как говорили по радио. Пожилым советовали не выходить из дому. А мы, казалось, прошли уже чуть ли не половину города.

Она была очень взволнована. Шла порой, опережая нас на три-четыре шага. Время от времени оборачивалась проверить, не отстали ли мы. То вдруг шла вровень с нами и говорила:

– Представьте себе, что вы превратились в какое-нибудь животное. Каким животным вы хотели бы быть? Сказать, в кого я сама бы хотела превратиться? В ламу, которая плюется и высоко в горах носится по скалам.

– Да, – подытожила она, – вот кем я хотела бы быть!

И она снова опередила нас на четыре шага.

Неожиданно она остановилась. Мы оказались перед крытой парковкой.

— Я тут подумала... — сказала она. — Я согласна делать с вами все. Но только сегодня и только при условии, если вы никому не будете об этом распространяться.

Она сунула дежурному по парковке какую-то бумажку.

— Но если обо мне кто-нибудь спросит, — продолжала она, — то вы должны сказать: "Она была самая красивая. Она дарила бедным резиновые мячики. Она нас спасла". Да-да, вот что вы должны говорить.

Дежурный по парковке сказал, что машину сейчас выведут.

Она кивнула.

— Итак, вот что вы должны рассказывать: "Она нас спасла. Она спасла нас тем, что объяснила, что у каждого есть только одна его собственная жизнь. Она спасла нас тем, что сказала, что хочет превратиться в ламу, она спасла нас, рассказав, как надо действовать коленом. Все, что она рассказала, нас спасло, а также то, о чем она умолчала; она ведь знала, что есть вещи, о которых лучше не говорить, — и этим она нас тоже спасла. Она участвовала в каком-то заговоре. У нее были красивые ногти. Раз в неделю она ходила на педикюр. От нее пахло, как от луга, усеянного цветами, а иногда — как от детеныша дикого зверя, только что народившегося на свет". Если вы пообещаете рассказывать все это обо мне, когда люди обо мне спросят, то я буду сегодня делать с вами все.

Мы сказали, что обещаем.

Но она возразила, что обещать — этого еще недостаточно. Ведь чего только люди, бывает, ни обещают и что забыть про обещание проще простого. "Нет, — сказала она. — Вы должны поклясться, поклясться всем самым святым для вас".

Мы поклялись Рафаэллой и святым Антонием.

В эту минуту служащий парковки объявил, что ее машина подана. Мы забрались внутрь. Тито и хорватка сели впереди, а я сзади.

— Ну-с, — сказала она, — поехали!

Мы въехали в туннель. Она вела машину и пела. Когда мы ее спросили, о чем она поет, она ответила, что это колыбельные, что она обожает колыбельные и знает их только на родном языке не меньше пяти-шести.

— Куда мы едем? — спросил Тито.

— Скоро сами увидите, — ответила она и снова запела.

Она пела до тех самых пор, пока мы не свернули.

— Сегодня, — сказала она, — я буду делать с вами все. Все, что я делала с другими мужчинами. Все, что я делала сидя,

стоя или лежа. Смотрите, какой сегодня прекрасный день! Погода как раз подходящая, чтобы делать с вами все.

Я согласилась не потому, что я вас люблю. Ведь я вас не люблю. Если бы это была моя жизнь, то я бы, возможно, вас немного любила, но эта жизнь не моя. Моя жизнь еще настанет, и она будет мне впору, будет сидеть на мне, как влитая, как свадебное платье, которое сшил специально для меня самый лучший портной. Я согласилась, потому что вы поклялись рассказывать обо мне, если люди станут обо мне спрашивать. Поклялись говорить, какая я была красивая и добрая, рассказывать о моих ногтях и резиновых мячиках.

Я согласилась, потому что в этом мире бесплатно можно добыть только мусор, свиные какашки и грязь. Я согласилась, потому что решила расплатиться с вами за то, что вы будете рассказывать и о чем вы будете молчать. Вы расскажете, что я вас спасла, что все, о чем вы мечтали, было немного похоже на спасение и что у этого маленького спасения были глаза — мои глаза. И был рот — мой рот. И ногти — мои ногти. И резиновый мячик — мой резиновый мячик. И мобильный телефон — мой мобильный телефон.

Мы припарковались на тихой улочке, неподалеку от того места, где железнодорожная трасса Лонг-Айленд-экспресс пересекается с шоссе Гранд-Сентрал.

Мы вошли в подъезд многоквартирного дома. Портье вручил ей ключ и бросил взгляд на нас. Мы почувствовали спиной его взгляд.

— Пойдемте по лестнице, — сказала она. — Тут близко.

В подъезде жара стояла еще хуже, чем на улице. Было темно, но не настолько, чтобы не заметить больших черных тараканов, ползающих по стенам и прячущихся в дыры.

— Глядите, как резвятся насекомые, — весело сказала она.

Квартира была на самом верхнем этаже. Когда мы вошли, она задернула шторы. “Чтобы было не так жарко”, — пояснила она и включила кондиционер.

Мы присели на диван.

— Ну-с, сейчас быстро охладится, — сказала она.

С этими словами она скинула туфли и посмотрела на них с восхищением. Эти ее туфли мы еще никогда не видели.

— Они новые, — пояснила она, — но в них ходить больно, боже мой, как же в них больно ходить!

Она закурила сигарету и стала тихонько напевать колыбельные. Мы молча сидели на диване. Наконец она сказала:

— На свой день рождения я обычно приглашаю несколько моих лучших клиентов. У меня нет друзей. Мои клиенты —

это и есть мои друзья. Друзей интересуют только деньги. А клиенты сами платят деньги. Поэтому мои клиенты — это мои друзья.

Она сняла юбку, которую обычно придерживала во время ходьбы и даже когда стояла. Она все с себя сняла, а мы встали, чтобы к ней прикоснуться, но она строго сказала: “Нет. Тут распоряжаюсь я, а не вы. Руки прочь”.

Мы снова сели. Поль спросил, будет ли она делать с нами все. На что она ответила: “Да, это то, что мы будем делать, но только надо поспешить”.

Тито подошел к окну и отодвинул в сторону занавески. Бог не послал на землю град с градинами по четыре квадратных сантиметра, чтобы нам показалось, что застучали разом сто тысяч барабанов. Бог даже не послал на землю дождя.

— Господи Иисусе, как же медленно комната охлаждается! — вздохнула она. — Надо, чтобы они купили новый кондиционер, а то этот уже не пашет.

Мы смотрели на хорватку — когда она стояла перед кондиционером, мечтая охладиться. Смотрели, как она достает из сумки “Тик-так”, оранжевый “Тик-так”. Мы не решались что-то сказать, даже пошевелиться. Мы разрешали себе только смотреть. Вначале она взяла сама одну штучку, потом высыпала нам в ладони все остальное.

— Вы можете такое себе представить: я — лама и бегаю по горам? — спросила она. — Просто ношусь себе по горам туда-сюда. А если кто подойдет поближе, то я плююсь. Вы представляете себе такое?

Мы сказали, что мы это себе очень хорошо представляем.

— Да-да, — сказала она, — в будущей жизни я буду ламой. Но никто не будет ничего знать обо мне. И мой друг тоже будет ламой.

Она опять подошла к своей сумке.

— Какой вы хотите? — спросила она. — У меня есть красные, зеленые, желтые, розовые, фиолетовые и черные.

Мы сказали, что не хотим никакого, но она заметила, что так нельзя, что мы обязательно должны выбрать себе какой-нибудь презерватив.

Тито выбрал черный, потому что он очень любит черные маслины, а я зеленый, потому что цветом он похож на траву. На сочную траву весной, когда часто идут дожди.

Мы положили на стол черную и зеленую резинки. Остальные она спрятала.

— Знаете, — сказала она, — я предпочитаю работать с разноцветными. Они похожи на радугу. А когда я представляю себе радугу, я думаю о своей будущей жизни. На самом деле я

артистка. Я рисую, не имея кисти, я пишу стихи, не прикасаясь к ручке, я пою, не имея голоса.

Она глубоко вздохнула и прошла туда, где стоял в углу старый маленький кассетный магнитофон. Поставила музыку и снова надела туфли, только лишь туфли. После этого она начала танцевать. Мы не знали, для нас она танцует или для себя самой. Мы до сих пор этого не поняли, но нам кажется, что все же для себя. Потому что на нас она не смотрела. Она смотрела только на себя в зеркало. В удлиненное зеркало, прислоненное к стене, словно кто-то забыл его при переезде. Танцуя, она бормотала себе под нос: "Глядите, мое тело — оно как драгоценность. Сотни глаз жадно смотрели на него и видели в нем драгоценность. Сотни глаз пожирали его, как пожирают глазами драгоценность. Оно дороже, чем самый большой в мире рубин. Оно — мое главное достояние, подарок небес".

Мы сидели не двигаясь на диване, понимая, что больше уже такого никогда не увидим.

Неожиданно она замерла на месте. И посмотрела на нас, упершись в бока руками.

— Раздевайтесь! — приказала она.

Мы послушались. Мы поняли, что сейчас она будет делать с нами все. Мы сняли кроссовки и носки. А также все остальное. Хотели натянуть резинки, но она сказала: "Нет, это сделаю я сама".

Она натянула на Тито черный презерватив, а на меня зеленый.

— Вот, — сказала она.

Тито сказал:

— Бог слепил нас на славу.

Она засмеялась и, проронив на ходу слова "Бог слепил на славу миллионы людей, миллионы", подошла к креслу. Оперлась руками о спинку и осталась в такой позе. Это было кожаное кресло, но кожа была на нем до того старая, что вся потрескалась.

— Ну, идите же, — сказала она.

Мы стали подходить медленно, шаг за шагом. Ноги прилипали к полу. Теперь она будет делать с нами все то, что она делала с другими мужчинами. Мы вступим в тот мир, о котором слышали, как говорят поздним вечером в метро, о котором люди шепчутся после конца уроков у мистера Бермана. После этого все разом переменится.

— Кто будет первым? — спросила она.

Я сказал: "Тито", а Тито сказал: "Поль".

— Я не могу ждать вас вечность, — сказала она. — Идите же!

И тут мы заметили еще одно существо в квартире, и очень большое! По ковру носился таракан, словно он сбился с пути.

— Гляди-ка, таракан! — сказал Тито.

— Ах да, — сказала она, — это из-за жары. Они в жару еще быстрее размножаются. Но они не опасные. Мне кажется, что, если даже проглотишь такого, то не умрешь. Я однажды нашла таракашку у себя в салате, когда ходила в ресторан. Эй, пристраивайтесь сзади.

Тито подошел первый, потому что он среди нас старший. Он встал за ней, когда она все так же держалась за спинку кресла. И вдруг — она пока ничего больше не говорила — Тито схватил ее руками за шею, словно мартышка, которая хочет взобраться на дерево.

— Прекрати, — сказала она, — отпусти, так дело не пойдет!

— Смотри-ка, второй прискакал, — сказал я.

И правда, на ковре второй таракан гонялся за первым. Но Тито этого не видел, и хорватка не видела. Тито положил голову ей на спину — свою потную, липкую голову.

— Слишком жарко для этого, — одернула его она. — Соберись!

А я воскликнул:

— Глядите, третий! Настоящий монстр. Таких гигантов я еще не видел.

Но никто не обращал внимания.

— Давай тихонько сзади, — сказала она. — Я прошу!

Тито перестал изображать мартышку. Он встал спокойно за ней, точно, как она ему наказала. Не оборачиваясь, она схватила его член и сунула себе между ног. И они оба замерли: она, опираясь руками о спинку кресла, а он, держа ее руками за бедра.

Я наблюдал за тараканами. Их становилось все больше.

— У них тут, наверное, где-то гнездо.

— Давай! — руководила она. — Двигай телом.

— Нет, — сказал Тито.

— Давай двигай! — повторила она.

— Нет, — сказал Тито, — уже хватит.

Она стала проявлять нетерпение:

— Двигай, черт побери, двигай!

Тито вначале убрал руки с ее бедер, потом медленно высвободился и сделал несколько шагов назад.

— Но все уже было, — сказал он. — Все было.

— Ах, — сказала она. — Тогда ладно.

Все так же держась за спинку кресла, она потрогала у себя между ног.

– Какой же ты пострел! – сказала она. – А твой брат тоже такой пострел?

– Не знаю, – прошептал Тито, – не знаю.

Я все смотрел на тараканов, как они нарезают круги на ковре.

Тито подошел к окну.

– Поговори с нами, как ты разговариваешь с другими мужчинами, – сказал он. – Поговори с нами точно так же, как ты разговариваешь с другими мужчинами.

– О, – сказала она, – я с другими не особенно болтаю. Я слушаю музыку, я люблю слушать музыку.

И она показала на кассетный магнитофон:

– Вот сейчас играет танго, – сказала она. – Некоторые люди не отличают танго от фламенко, но я отличаю. Меня научили.

После этого она позвала меня:

– О'кей, Поль, вставай за мной сзади, но не хватай меня, как твой брат. Сейчас слишком жарко для этого.

Я оторвал взгляд от тараканов и встал за ней. Я не касался ее, а только сказал:

– Я думал, что он будет гораздо зеленее.

И показал на свой член. Она мельком на него взглянула.

– Да, он лишь слегка зеленоватый. Ярче трудно ожидать. Он, естественно, не зеленый, то есть не густо-зеленый. Такого не бывает. Мне лично зеленый цвет нравится. Когда мужики не могут выбрать, я всегда советую зеленый или розовый.

Затем, не оборачиваясь, она схватила мой член и сунула себе между ног.

– Поль прав, – сказал Тито, – тараканы здесь кишмя кишат.

– Да не обращайте внимания, – сказала она. – Я сегодня вечером попрошу, чтобы завтра пришли и побрызгали. Ну давай, двигай телом!

Я дернулся один разок, а потом замер.

Тито принялся считать тараканов. Как он потом говорил, он насчитал их штук восемнадцать, но всех пересчитать было трудно, потому что они слишком быстро бегают.

– Ты тоже пострел, – сказала она. – Как и твой брат.

– Да, – сказал я, – я тоже пострел.

Я оторвался от нее и встал возле окна. Рядом с Тито.

Мы смотрели на тараканов. Мы их не боялись, в жизни нам пришлось повидать немало тараканов. У себя в спальне мы храним деньги в конверте, пришитом под ковром. Каждый раз, когда мы прячем деньги и пересчитываем их, мы замечаем, сколько у нас под ковром тараканов. Там и дохлых

хватает. Наш шеф нам говорит: “Откройте наконец счет в банке. А то стащат ваши деньги!” Но это слишком опасно. Да и кто согласится открыть нам счет?

Хорватка сидела на стуле. Голая. Все мы трое были совершенно голые. Только она была в туфлях, на Поле была зеленая резинка, а на Тито — черная. Она открыла свою сумку, порылась в ней и достала оттуда ватную палочку и принялась прочищать уши.

— Я всегда так делаю после того, как все закончится, — сказала она, — я прочищаю себе уши. Не то я забуду. Когда я вечером прихожу домой, я уже никакая и об этом не думаю. Но уши я прочищаю каждый день, и поэтому грязи в них почти никакой. Вот, смотрите!

И она покрутила в воздухе ватной палочкой.

— Подойдите сюда, — сказала она, — сейчас сами увидите.

Мы приблизились. Она сунула ватную палочку нам под нос.

— Да, — сказал Тито, — грязи почти нет.

— Вот именно, — радостно подтвердила она, — уши у меня безупречные. Вот у некоторых в ушах грязь. Но я такого не допускаю.

Она отшвырнула ватную палочку в сторону. Схватила сумку и достала из нее резиновый мячик.

— Смотрите, — сказала она. — У меня четыре новых.

Она настаивала, чтобы мы их получше рассмотрели. Мы сказали, что они нам очень нравятся.

— У нас есть еще десять минут, — сказала она, — еще успеем посражаться.

Мы стали возле одной стены, а она — у противоположной.

— Нам еще не пора одеваться? — спросил я.

— Мне и так жарко, — сказала она. — Я рада, что хоть немного остыла. Но вы все же стягивайте презервативы. А то, что это за вид?

— Нет, — сказал Тито. — Мы хотим побыть в них подольше.

Она пожала плечами.

Мы стали перебрасывать мячи. Она сказала, что, по правилам, мяч должен не больше одного раза отскочить от пола.

Мы забыли про тараканов, забыли о жаре, о том, как мы выглядим, забыли о брюзжащем кондиционере, мы были заняты перебрасыванием мячей. До тех пор пока она не сказала: “Хватит!”

Она оделась буквально в считаные секунды.

Мы тоже оделись.

Перед зеркалом она причесывала волосы.

— Кристина, — начал Тито, — сегодня День святого Антония. Если ты не против, мы можем загадать желание.

Она перестала причесываться.

– Я даже не знаю, – сказала она. – Мне́ нечего пожелать.

– Ну какое-нибудь желание у тебя все-таки есть? – сказал Поль. – Какое-нибудь, совсем маленькое? Его нужно записать. Никто не узнает. Записки с желаниями поджигаются.

Она посмотрела на нас.

– Ну ладно, давайте, – согласилась она. – Если это не долго, а то у меня нет времени на всякую ерунду.

– Нам нужен алтарь, – сказал Тито, – перед которым мы могли бы преклониться.

– А мы должны преклониться? – удивилась она.

– Да, – сказал Тито. – Так положено.

Мы осмотрели всю комнату, но не заметили ничего, что могло бы послужить нам алтарем. В комнате ничего не было, кроме старого кожаного кресла, дивана, зеркала, кассетного магнитофона и матраса с пропалинами.

– Нам нужен алтарь, – сказал Тито. – У тебя нет ничего такого в сумке?

– Нет, – сказала она, – у меня нет в сумке алтаря.

Я выглянул в окно. Из него было видно шоссе. Кто-то стучал в дверь.

– Я еще не готова, – крикнула она.

– Поторопитесь, – сказала она нам, – поторопитесь с алтарем.

– Алтарем будет служить кожаное кресло, – решил Тито. – Скорей, у тебя есть ручка?

Хорватка достала из своей сумки еженедельник и вырвала из него три листочка. Тито достал из кармана ручку и вручил ее хорватке.

– Пиши, – сказал он.

В дверь снова постучали.

– Еще не готова, – крикнула она.

Она взяла ручку, задумалась и потом что-то написала. Свернула вчетверо листок и положила перед креслом. Затем Поль написал что-то свое. Потом Тито. Все наши свернутые вчетверо бумажки Тито сложил перед креслом. Мы никому не будем рассказывать, что мы там написали, потому что желания должны храниться в секрете.

Тито сказал:

– Говорят, что святой Антоний – покровитель несбыточных желаний.

Хорватка ничего на это не ответила.

Тито схватил зажигалку.

– Теперь мы должны встать на колени, – сказал он.

Мы встали на колени. Она опустилась последней и задумчиво посмотрела на пол. Тито сказал:

— Тараканы боятся нас даже больше, чем мы их.

Тито прочитал молитву святому Антонию, ей обучили нас монахини еще в школе, поэтому мы знали ее наизусть. Хорватка смотрела на нас молча.

Дочитав до конца молитву, Тито спросил:

— Ты не хочешь прочесть ее теперь на своем языке?

Она помотала головой:

— Нет, вы уже ее за меня прочли.

Тито поднес к бумаге зажигалку. Наши желания загорелись, а мы стояли на коленях перед кожаным креслом и смотрели, как они горят. Они догорели меньше, чем за тридцать секунд.

Тито первым встал с колен.

— Теперь мы должны обняться, — сказал он, — и поцеловаться.

В дверь снова постучали.

Тито обнял вначале хорватку, затем меня. Мы поцеловали ее, а она нас. Наконец все мы обнялись.

— Ну, вот и все, — сказал Тито.

— Да, — сказала она, — вот и все.

Она открыла дверь. На площадке стоял мужчина в тренировочном костюме с невероятно большим и круглым животом. Он что-то сказал ей на непонятном языке. Хорватка прошла мимо. Он посмотрел на нас, но мы тоже прошли, минуя его, в подъезд. Он выругался и плюнул на пол.

Дверь в квартиру она не заперла, и, спускаясь по лестнице, мы слышали, что музыка продолжает играть. Когда мы были уже внизу, она захихикала, но смеялась она так не больше пары секунд.

— Раньше я носила парик, — сказала она, — чтобы казаться старше, вы можете себе это представить?

И она опять негромко хихикнула.

Она предложила отвезти нас на Манхэттен. По дороге она сказала, что можно еще где-нибудь выпить. Она знала один неплохой бар, куда мы могли бы зайти.

Она мало говорила.

Солнце садилось. Она опустила все стекла в машине. Ее волосы развевались по ветру во все стороны.

* * *

Мы вспомнили, как однажды садились в грузовик, уезжая из нашей деревни. У Рафаэллы был на голове платок. Но ниче-

го не помогало. Дорожная пыль забивалась нам в уши и рот, в нос и волосы. Мы выехали ночью, но, когда рассвело, мы еще ехали. И когда снова стемнело, мы всё ехали и ехали. Когда становилось темно, было холодно, как в морозилке, а на солнце жарко, как в печке. Грузовик вез арбузы, большие, зеленые арбузы, и еще старика. Все считали, что старик не доедет. Ему все твердили: “Не надо тебе ехать”. Но он непременно хотел уехать вместе со своей родней.

Когда рассвело во второй раз, он был уже мертв. Вначале этого никто не заметил. Он лежал в той же позе, что и до этого. Но когда его начали трясти, чтобы дать ему попить, он уже окоченел. Мы крикнули шоферу: “Остановись, у нас тут покойник”, но он не остановился, потому что мы и так отставали от графика. Рафаэлла прикрыла нам глаза. Мы сказали, что не надо этого делать, но она все равно прикрыла.

Лишь когда начало смеркаться, шофер остановился. Все мы вышли. Мужики копали втроем — такой земля была твердой. Водитель раздал всем хлеб и воду. Потом показал в сторону поля, поросшего высоким желтоватым быльем. Он сказал, чтобы все шли туда, если кому надо в туалет.

В желтоватых зарослях мы присели на корточки рядом с Рафаэллой. Нам очень хотелось знать, сколько еще ехать, но спрашивать мы не решались, только смотрели перед собой. Вдруг мы услышали крик Рафаэллы. Мы оба подумали, что ее кто-то укусил. Но оказалось, что это один из мужиков прижимает ее голову к земле, а другой уселся сверху и держит ее руки выше локтей. Она кричала пронзительно. Мы так удивились, что не могли сдвинуться с места. И тут мужик, что сидел на ней и держал ее руки, ударил ее по лицу. Она закричала: “Уведите детей, уведите детей!” Второй мужик схватил нас за руки и потащил прочь. Мы пинались и пытались кусаться, но он был сильнее. Мы кричали: “Рафаэлла, Рафаэлла!” Но она только выкрикивала: “Уведите детей, уведите детей!” Больше мы ее не видели. Было слишком темно.

Нас отвели обратно к грузовику и велели ждать. Ждали мы очень долго. Казалось, что целую вечность. Наконец Рафаэлла возвратилась. Из ее носа и рта текла кровь, а один глаз у нее был ярко-синим, словно небо в лунную ночь. Вся одежда на ней была грязная и изорванная. Рафаэлла во второй раз за этот день прикрыла нам глаза. Мы сказали, что не надо этого делать.

Водитель крикнул: “Всем садиться по местам, едем дальше”. Тито стащил с себя свитер, чтобы протереть Рафаэлле

лицо. Но она сказала, что не надо, боялась, что он простудится. Платок она потеряла. Теперь ей нечем было прикрываться от солнца. У нас волосы густые и темные, а у Рафаэллы они не такие. Она умоляла, чтобы мы держали себя в руках, что это ничего, что все обойдется. У Тито был с собой кусок ткани. Мы на него поплевали, потому что питьевой воды было мало. Мы оттерли ей лицо. И тогда она сказала, что нам уже пора спать.

* * *

– Это тут, – сказала Кристина.

Она припарковала машину на незнакомой нам улице.

Мы шли с ней рядом, слегка касаясь друг друга, пока шли.

Бар назывался “Пуффиз”.

18

Кафе было не слишком большое, примерно на шесть столиков. Еще там был бар, музыкальный автомат и мишень для игры в дартс. Какой-то мужик с собакой метал дротики. За барной стойкой стояла женщина с крашеными рыжими волосами. Она отказалась наливать нам спиртное, поэтому мы заказали томатный сок. Хорватка попросила чаю. Она зевала.

– Простите, – сказала она, рассматривая свои ногти, очень длинные и белые.

А мы смотрели на нее.

– Давайте немного помечтаем, – предложила она.

Голос ее звучал устало. Она положила себе в чай три кусочка сахару. А четвертый медленно растворила в ложке.

– Вы когда-нибудь, – спросила она, – сидели в ванне с женщиной – такой же красивой, как я?

– Мы были в ванне с Рафаэллой, – ответил Тито, – но она наша мама.

– Это не совсем то, – сказала она.

– Но ведь Рафаэлла красивая, – сказал Поль. – Она совсем юной нас родила.

– Это неважно, – сказала хорватка. – Вы должны однажды лечь в ванну с такой красивой женщиной, как я. Добавить пенную жидкость из маленького флакончика, сделанного во Франции. Лучшая жидкость для ванн делается во Франции.

– Мы этого не знали, – сказал Тито.

– Да, – сказала она, – так оно и есть. И после этого зажигайте свечи. Так, чтобы друг друга было почти не видно. И

вот вы лежите в ванне. Нигде время не летит так быстро, как в ванне. Вода теплая, пенная жидкость из Франции, и можно представить себе, что лежишь в ванне со своей зазнобой.

– Но мы не хотим лежать в ванне с красивой женщиной вроде тебя, – сказал Тито. – Мы хотим лежать в ванне с тобой.

В бар вошел какой-то тип. И сразу направился к музыкальному автомату. Поравнявшись с ним, он остановился.

– Смотри-ка, – сказал Поль. – Это Эвальд Криг.

Тито вначале даже не мог в это поверить.

– Просто этот тип на него похож, – сказал он.

Но это и в самом деле был он. Он уже нас заметил и направлялся прямиком к нам.

– Поль и Тито, – обратился он к нам, – что вы здесь делаете? Какой сюрприз!

Он протянул нам свою влажную руку. Затем он посмотрел на хорватку и улыбнулся.

– Пенни, – сказал он, – а вот это и вправду сюрприз!

Он наклонился и трижды ее поцеловал. Затем он вытащил из-под другого столика стул и подсел к нам.

– Так вы друг друга знаете? – сказал он. – Как забавно! Как твои дела, Пенни?

– Нормально, – сказала она. – А у тебя?

– Нормально, – ответил он. – Жаловаться не приходится.

Он взял прядь ее волос, подержал в руке и тихонько потер.

– Приятно видеть тебя, Пенни. Я всегда рад тебя видеть.

И он пошел в сторону туалета.

– Он омерзителен, – сказал Тито.

– Он же писатель, – сказал Поль.

– Он такой же, как все остальные, – сказала хорватка и закурила.

– Так ты его знаешь? – спросил Тито.

– Я знаю стольких людей! – сказала она. – Я знаю полсвета. Порой мне кажется, что я знаю целый свет.

Эвальд Криг вернулся из туалета.

– Как дела у Рафаэллы? – спросил он. – Передавайте ей привет. Передайте ей мой сердечный привет.

– Вы по-прежнему пишете? – спросил Тито.

– О да, – сказал Криг. – Я работаю над эссе. “Соблазн как невротическое отклонение”. Речь будет об этом.

– И к чему же все сводится? – спросил Тито.

– К полнейшему одиночеству, – ответил Криг, – оно воет у вас в груди, словно северный ветер. Неуязвимость души –

это как земля в пустыне, на которой больше ничего не растет, в такой земле можно быть разве что погребенным.

Три верхние пуговицы на его рубашке были расстегнуты. Ему было жарко, мы видели, что его рубашка промокла.

— На самом деле, — сказал он негромко, — я не писатель, а так, вроде медбрата или массажиста. Я массирую души. Это, во всяком случае, я могу обещать. А потом я поедаю души, прямо с потрохами, я просто разрываю их на части. Проглочу одну душонку и приступаю к следующей.

Хорватка поднялась и пошла в туалет. Криг посмотрел ей вслед.

— А любовь? — спросил Тито.

Криг почесал себе грудь. Только теперь мы заметили, что его кожа вся в комариных укусах. Какое-то насекомое его нещадно искусало.

— Каждый отвечает на этот вопрос по-своему, — сказал Криг. — Я бы сказал, что любовь — это надежда на то, что есть что-то большее, чем просто желание использовать. Но насколько оправданна эта надежда, я не знаю, да и не хочу знать. Надежда остается надеждой, и возможно, надежда никогда не оправдывается, кто знает?

И он кивнул в сторону туалета.

— Боже мой, — прошептал он, — она не самая красивая, но она самая лучшая. Я просто с ума схожу, когда о ней думаю.

Левая его рука изображала вертолет, который должен вот-вот подняться в воздух.

Из-за барной стойки вышла женщина и подошла к нашему столику.

— Эй ты, — обратилась она к Кригу. — Тебя я больше не обслуживаю.

Он поднялся с места. Сзади к его штанам приклеилась большая розовая жвачка. Он, должно быть, сел на нее, не заметив.

— Ты, наверно, с кем-то меня перепутала, — сказал он.

— Сколько же у тебя двойников? — спросила она.

— Их не слишком много, — сказал он, — должен признаться.

— Ну так вот.

— Что такого я сделал?

— Ты сам прекрасно знаешь.

Хорватка вернулась из туалета.

— Налей мне чего-нибудь выпить, — сказал Криг, — и пусти вентилятор посильней, а то я с ума схожу от жары.

И он опять стал изображать левой рукой вертолет, который с минуты на минуту должен взлететь.

– Я тебя больше не обслуживаю, – повторила барменша.

– Что он такого сделал? – спросил Тито.

– Об этом я лучше промолчу.

– Послушай, – сказал Криг, – я, если захочу, могу купить весь этот бар. Я просто выкуплю его, если у меня возникнет желание, и ты тогда первая отсюда вылетишь. Поняла? Так что принеси мне что-нибудь выпить.

– Я тебя не боюсь, – сказала она. – Я тебя не боюсь.

И с этими словами она вернулась за стойку.

Криг снова уселся. Он пожал плечами.

– Никакого уважения, – прошептал он. – Никакого уважения.

Тыльной стороной руки он погладил хорватку по щеке.

– Пенни, – бормотал он, – Пенни, твое имя я никогда не забуду.

Он встал и прошептал Тито на ухо: "Лучшая, она, без сомнения, лучшая, я с ума схожу, когда о ней думаю".

– Вам пора возвращаться к работе? – поинтересовался Поль.

Криг кивнул.

– Соблазн как невротическое отклонение, – бормотал он, – секс как невротическое отклонение, контакты как невротическое отклонение, писательство как невротическое отклонение. Все это одно к одному, если я прав, если я прав...

Он снова почесал свою грудь. Волдыри на ней, похоже, сильно зудели, мы видели, что некоторые из них он расчесал до крови.

Вдруг он наклонился корпусом вперед.

– У меня семь кредиток, – сказал он, – из которых четыре безлимитные. Стоит мне захотеть, поймите, и я куплю этот бар, даже глазом не моргнув. Если вам понадобятся деньги, обязательно дайте мне знать, я не хочу, чтобы Рафаэлла в чем-то нуждалась, она ни в чем не должна нуждаться.

И с этими словами он пошел к выходу, но на полпути остановился и вернулся к нам. Он пристально посмотрел на хорватку.

– Ты лучшая, – сказал он. – Пенни, ты самая лучшая.

– Я знаю, – промолвила она и, посмотрев ему прямо в глаза, добавила: – Ну, хватит, – сказала она. – Теперь уходи.

Он взглянул на нас.

– Я негодяй, – произнес он. – Некоторые даже считают, что я страшный негодяй. Говорю это без гордости, но и без ложной скромности.

Мы смотрели на него в упор, стараясь вложить в свой взгляд все презрение, которое мы испытывали к нему в душе,

смотрели до тех пор, пока у нас не начали слезиться глаза. Только мы сомневаемся, что он это заметил.

Его рука скользнула в карман брюк и вытащила оттуда кредитки.

— Вы знаете, что это? — хриплым голосом спросил он. — Огнестрельные пулеметы. Из них я расстреливаю одиночество наповал. Тра-та-та-та-та! Могу порекомендовать каждому.

И он пошел к двери. Но возле двери остановился.

— Да включи же ты наконец вентилятор посильней! — крикнул он. — Ты что, хочешь, чтобы мы все тут сдохли?

И он снова стал изображать руками вертолет, который должен подняться в воздух.

— Он омерзителен, — сказал Тито.

— Он больной, — сказал Поль.

— Он точно такой же, как и все остальные, — повторила хорватка. — Но у него смешные кудряшки.

После этого она встала и сказала:

— Мне надо на север. Вы можете проводить меня до метро.

— А как же твоя машина? — спросил Тито.

— Да ладно, я оставлю ее здесь.

На улице было уже темно, но воздух до сих пор так и не остыл.

Мы пошли в сторону метро “Франклин-стрит”.

Хорватка, как всегда, придерживала свою юбочку.

— Не упустили ли мы еще чего-нибудь из того, что вы должны знать? — спросила она.

Мы замялись.

— Ладно, — сказала она. — Никогда не забывайте про волосы. Тритесь башкой об их живот и ноги. Как это делают кошки. А потом, перед тем как взять в рот, отбросьте волосы назад и посмотрите им прямо в глаза. Смотрите на них так, словно хотите их загипнотизировать. Словно увидели перед собой пылающий терновый куст. Вот так надо делать. Уж мне-то не знать? Я ведь лучшая.

И она нырнула в бакалейную лавку. А мы — следом за ней.

— Надо же, ты знаешь этого гада Эвальда Крига, — промолвил Тито.

Она пожала плечами и подошла к прилавку.

— Обожаю “Оранжину”, — объявила она. — У вас она есть?

Продавец кивнул.

— Три, — сказала она.

Он протянул ей три бутылочки. Где-то на заднем плане звучало: “Ун-дос-трэс, Мария”. Мы узнали мелодию, это была одна из любимых песен Рафаэллы.

– Я плачу, – сказала она. – Сегодня я угощаю.

Выйдя на улицу, мы открыли бутылочки и чокнулись апельсиновым напитком.

– За жизнь! – сказала она.

– За жизнь! – подхватили мы.

– За будущую жизнь! – сказала она.

– За будущую жизнь! – подхватили мы.

– За ту жизнь, что подойдет нам, как платье, скроенное для нас лучшим портным. Давайте выпьем за эту жизнь!

– За эту жизнь! – сказали мы.

– Ну вот, теперь съедим немного "Тик-така", и я поеду.

Она достала из сумки коробочку драже и распределила то, что в ней еще оставалось, на троих.

Когда мы подошли к станции метро, мы спросили:

– Можно мы проводим тебя вниз?

– Нет, – ответила она, – не нужно.

Она закрыла сумочку.

– Никто не умеет трахаться так, как я, – сказала она. – Никто.

И побежала вниз по ступенькам.

А мы остались на улице, стояли и пили "Оранжину" из бутылочек, пока не допили все до конца.

19

Рафаэлла сидела за кухонным столом. Целый день, как она сказала, она провела в поисках работы, обходила разные бары и кофейни, но оказалась никому не нужна. В данный момент никому.

Рафаэлла курила сигарету.

– Мы должны отсюда уехать, – сказала она. – Мы должны вернуться домой. У нас здесь нет будущего.

– У нас нигде нет будущего, – сказал Тито.

– А ты не могла бы попросить помочь тебе кого-нибудь из твоих поклонников? – спросил Поль.

Она покачала головой.

– Нет, – сказала она. – Это невозможно.

Мы еще немного постояли на кухне. Мы не сказали ей, что встретили Эвальда Крига, не сказали, что он просил нас передать ей привет, мы также не сказали, что он предлагал нам деньги. Мы бы скорее умерли, чем согласились принять деньги от Эвальда Крига.

Наконец мы пошли спать.

– Мы уже несколько дней ничего не писали в тетради, – сказал Тито.

Мы достали тетрадь, но рассказать можно было столько всего, что мы не знали, с чего начать. В итоге мы записали следующее: “После того как все закончится, она прочищает себе уши ватной палочкой, иначе она об этом забудет. Раньше она носила парик, чтобы выглядеть старше”. Мы прочли вечернюю молитву, за Рафаэллу, за хорватку, за нас, за будущее, за жизнь, которая придется нам впору, как свадебное платье, скроенное точно по мерке.

— Она делала с нами все, — произнес Тито.

Поль кивнул.

— Она делала с нами все.

Мы вступили в мир, где люди говорят друг другу: “Делай со мной все”, а в ответ раздается: “Хорошо, я буду делать все с тобой”.

20

Наша хорватка стала мировой знаменитостью. О ней написали на первых полосах всех газет. На первой полосе “Нью-Йорк пост”, а в “Дейли ньюс” даже с ее фотографией. На первой полосе “Таймс” ее фото нет, но все равно о ней пишут на первой полосе.

На всех снимках вид у нее вызывающий и высокомерный. Глаза ей слепит вспышка. Она все в той же блузке, что была на ней в тот раз, когда мы пили “Оранжину”.

В “Нью-Йорк пост” у нее на груди выведено крупным шрифтом число 42. Столько ножевых ударов она нанесла. Похоже, она все продолжала колоть ножом, когда человек был уже давно мертв.

В полиции поразились ее силе. Она даже попыталась отрезать ему кисти. Но у нее не получилось. Кисти остались на месте, правда, немного болтались. Мы знаем все это из газет. Целый день мы только и делали, что читали газеты.

Все это произошло в Центральном парке. Совсем неподалеку от пруда, там, где у них прокат лодок. По словам полиции, нет никаких доказательств, что этот человек на нее нападал и что они вообще были знакомы.

Ее очень легко вычислили. Она просто брела по улице. Щиколотка с одной стороны у нее была в крови. Она даже не стерла кровь.

Мы абсолютно ничего не понимаем.

Известны еще некоторые факты.

Она встретила этого человека вечером в парке. Они вместе выпили пива и пошли гулять. И во время прогулки она со-

рок два раза ударила его ножом, а потом попыталась отрезать ему кисти. Он на нее не нападал. Так утверждает полиция. До этого они ни разу не встречались.

О ней снова написали на первой полосе. На этот раз хорватка была на фото с опущенной головой. Она признала свою вину. Прокурор предложил вынести ей смертный приговор.

Возле здания школы на улице толпились телевизионщики и журналисты. Мы уже знали, что будем говорить. Что она пахла лугом, усеянным цветами, а иногда — как только что народившийся детеныш дикого животного. Что в будущей жизни она хотела стать ламой, бегать по горам и плеваться, сколько захочет. Нас никто не захотел слушать.

Поль крикнул: "Она была такая красивая, что некоторые просто падали в обморок".

Мистер Берман объявил, что он заболел. Нам прислали на замену другого учителя.

Мы хотим написать ей письмо, но не знаем, что писать. Поэтому мы о ней молимся. Вечером перед сном мы просим нашего отца, который, скорей всего, совсем неподалеку от Бога, не мог бы он замолвить перед Богом словечко за хорватку и попросить его дать ей побольше сил. И еще Рафаэлле, конечно, и нам с Тито. И тому человеку, которого мы не знаем, но которого она сорок два раза ударила ножом.

Она укусила адвоката за руку. Она сказала, что ей не нужен адвокат.

О ней снова написали на первых полосах. На этот раз крупным шрифтом было набрано слово СУМАСШЕДШАЯ у нее на животе. Ее охраняют 24 часа в сутки. Это называется "Превентивные меры на случай попытки суицида".

На улице возле школы по-прежнему толпятся фотографы и журналисты. После урока мы всегда идем к тому месту на набережной, где мы сидели с ней, и продумываем для нее письмо. В этом письме мы запишем все то, что она просила нас говорить о ней, если кто-то о ней спросит. Что она была такая красивая, что люди на улице падали в обморок при виде ее. Что она всегда ходила в красных туфлях, потому что они приносили ей удачу. И еще, что она дарила бедным резиновые мячики. Что она очень любила "Оранжину". Что у каждого человека есть, по крайней мере, одна жизнь, созданная специально для него.

Все это мы заносим на бумагу, чтобы она знала, что мы выполняем свое обещание и рассказываем о ней.

21

Сегодня нас допрашивала полиция. Рафаэлла об этом ничего не должна знать.

С нами были очень любезны. Нас привезли на машине. Спросили, что мы будем пить. Сказали, что им и так все ясно, но одну вещь они хотят знать.

Они хотели знать, где мы находились в тот вечер.

Мы ответили, что в тот вечер мы заходили в "Пуффиз".

Они спросили, где мы были до этого.

Мы ответили, что были в квартире неподалеку от того места, где железнодорожная ветка Лонг-Айленд-экспресс пересекается с шоссе Гранд-Сентрал. И что в квартире было много тараканов.

Они спросили, был ли у нас там секс.

Мы ответили, что да.

Они спросили, платили ли мы за это.

Мы ответили, что да.

Они спросили нас, сколько.

Мы сказали, что мы расплачивались не деньгами.

Они спросили, что тогда чем.

Мы сказали, что обещали рассказывать о ней, если кто-то о ней спросит.

Они нам не поверили.

"Скажите лучше честно, что вы ей заплатили", — сказали они.

"Мы ей заплатили", — сказали мы.

"И что же вы обещали о ней рассказывать?" — спросил один человек, который до этого ничего не говорил, а просто молча сидел рядом.

"Мы обещали рассказывать о ней, — сказали мы, — что она была такая красивая, что люди на улице падали в обморок, когда она проходила мимо. Что в будущей жизни она хочет стать ламой. Что самое счастливое время в ее жизни было, когда она торговала футболками". И тут мы замолчали, потому что расплакались. Мы не хотели плакать, но слезы накатили сами. Мы плакали в присутствии посторонних мужчин. Эти люди сказали, что ничего страшного в этом нет, и дали нам бумажные платки. Мы все никак не могли успокоиться. И тогда нас отпустили домой.

В вечернем выпуске газеты говорилось, что она не знала того мужчину, которого заколола. Это был маклер тридцати восьми лет. Он познакомился с ней в тот вечер в Центральном парке, и они вместе пили пиво. Потом они решили немного пройтись. О дальнейшем известно только одно: она

его заколола. Неизвестно, произошла ли между ними ссора. Точно лишь известно, что он на нее не нападал.

Прокурор заявил, что человек, совершивший такое тяжкое преступление, проиграл свое право на жизнь. Наверное, то же самое случилось и с нашим отцом. Потому его и колотили нещадно эвкалиптовой дубинкой по голове. Рано или поздно все проигрывают свое право на жизнь. Но почему одни проигрывают его так рано, а другие так поздно? И что нужно сделать, чтобы его проиграть?

Фото Кристины появилось в "Ньюсдэй", ее старое фото, а под ним подпись: "Лицо дьяволицы?"

На вопрос о ее происхождении прокурор сказал, что нельзя принимать преступников за жертв и что общество, которое перестанет отличать жертв от преступников, потеряет свое право на существование. Что есть преступления настолько чудовищные, что никаких оправданий уже быть не может.

Ее адвокат сложил с себя полномочия. Кристина заявила, что не хочет садиться в тюрьму, что она предпочитает смертный приговор.

Прокурор сказал, что он не намерен считаться с желаниями подозреваемой, но серьезно склоняется в пользу смертного приговора.

Мы все это вырезаем из газет и засовываем под ковер, туда, где лежат наши деньги.

Рафаэлла говорит мало. Она хочет, чтобы мы переехали в какой-нибудь город на западном побережье[1].

Хорватка еще раз подтвердила, что настроена на смертный приговор и что она находится в твердом уме и ясной памяти. Ее новый адвокат пытается доказать, что это не так.

Если вас приговаривают к смерти, то вам вводят иглой такую штуку, от которой легкие взрываются, как воздушные шары. Но вначале вводится снотворное.

В Техасе один человек хотел наесться грязи во время своего последнего ужина, но ему отказали. Другой захотел бутылку водки, но ему тоже отказали. Самое распространенное меню — это блинчики с малиновым джемом или что-то в этом роде. Хорватка, как нам кажется, попросит "Тик-так" и, кроме того, "Оранжину".

В Техасе одного мужчину спросили, не хочет ли он что-либо сказать. Он ответил: "Ну, если б я был Шекспир, я бы

1. Тихоокеанское побережье США.

высказался по-другому, но я не Шекспир, и поэтому я говорю что...” И он начал говорить и говорил полчаса. Иглы для инъекции уже торчали у него из руки, но он все говорил и говорил не переставая. А все сидели и ждали его казни. Через полчаса палач офигел. И тогда он взял и открыл шлюзы: яд засочился мужику в вену, и на середине фразы он помер.

Если б мы были Шекспиром, мы бы сказали по-другому. Мы сказали бы это стихами и в рифму, чтобы можно было повторять, когда мы поедем на автобусе или в метро или просто нам нечего будет делать. Мы сказали бы это красивей, со всякими подробностями. Мы бы хотели, чтобы наши слова были бы такими же красивыми, какой была она, и чтобы люди падали в обморок. Но, к сожалению, мы не Шекспир. Поэтому мы говорим следующее:

“Бывает, что мы ей пишем и начинаем плакать, как тогда в полицейском участке, и все никак не можем успокоиться. Это при том, что мы совсем не хотим плакать, потому что боимся разбудить Рафаэллу. Но порой так бывает. Мы никак не можем успокоиться и не плакать, если забираемся под кровать и пишем письмо для Кристины. Наша тетрадь промокает, но мы не можем остановиться. Потому что мы ничего не понимаем. Потому что мы просто ничего не понимаем.

Мы бы хотели выйти на улицу под дождь, чтобы дождь все смыл.

Мы переедем на западный берег — так решила Рафаэлла. Мы сможем добраться туда на попутном грузовике.

22

Мы не знаем, что будет дальше. И если будет, то когда. Но когда ее легкие взорвутся, как воздушные шары, она не будет одна. На самом деле, она, конечно, останется одна. Одна-одинешенька, но не совсем. Присутствующие при казни сидят за стеклянной перегородкой.

Мы не хотим сидеть за стеклянной перегородкой. Мы вылезем из-под кровати, выберемся из того места, где мы все это записали, и пойдем на набережную. Пойдем на то место, где она сидела и смотрела на яхты и вертолеты, и еще на противоположную сторону.

Мы будем пить “Оранжину” из бутылочек.

Мы не будем плакать. Не будем бормотать, что мы ничего не понимаем.

Мы будем целый вечер пить “Оранжину” из бутылочек.

Мы будем говорить друг другу, что у каждого человека есть, по крайней мере, одна жизнь, которая ему подходит,

как свадебное платье, скроенное лучшим портным. Мы будем напоминать друг другу, что ей очень нравились ее красные туфли и что она была так красива, что люди, которые на нее смотрели, падали в обморок.

Мы не будем напоминать друг другу о том, что она первая и единственная, кого мы полюбили, и что мы увидим ее в комнатах, в которых она никогда не была, узнаем ее лицо в лицах чужих людей. Этого мы не будем друг другу говорить, потому что это она нас говорить не просила. Мы будем говорить друг другу только то, о чем она нас просила.

Поэтому мы будем сидеть у реки, пить "Оранжину" и есть "Тик-так". И если кто-то нас спросит: "Как такой красивый и добрый человек, как она, мог совершить подобное преступление?" — мы скажем, что мы этого и сами не знаем. Что мы думали об этом каждую секунду, пока не спали, до тех пор пока у нас голова не начала раскалываться, но мы так до сих пор ничего и не придумали.

Мы скажем честно, что ничего не поняли. Что наша вера запрещает убивать людей, но тем не менее мы не просим сохранить ей жизнь, хотя бы потому, что она сама не просила сохранить ей жизнь. Она мечтала, как лама, носиться по горам.

Мы скажем, что хотим только одного: чтобы она была не одна, когда ее легкие разорвутся, как воздушные шары. Что мы будем сидеть у реки с бутылочками "Оранжины" и у нас будут с собой настоящие воздушные шары. Что в какой-то момент сотни шаров всех цветов поднимутся в воздух. Всех цветов: красные, зеленые, желтые, фиолетовые и черные. И потом эти шары вдруг все разом взорвутся, словно один большой фейерверк. Люди станут спрашивать: "В честь чего это фейерверк, разве сегодня Четвертое июля?[1]" А мы скажем: "Нет, сегодня не четвертое июля, сегодня та ночь, когда легкие Кристины разорвутся на куски, словно воздушные шары".

И тогда кто-нибудь спросит нас: "А вы не скучаете по ней, раз вы так ее любили?" А мы скажем: "Нет, мы по ней не скучаем. Мы не можем скучать по ней, потому что она — в нас, она стала частью нас самих. Когда мы говорим, говорит и она. Когда мы смотрим, смотрит и она, когда мы слушаем, слушает и она. Пока мы живы, жива и она. Мы живем ее жизнью. У каждого лишь одна жизнь, созданная специально для него, как подогнанное точно по размеру свадебное платье.

1. 4 июля — День независимости США.

Мы скажем друг другу: “Она была талисманом кегельбана. Ее грудки стоили трех ‘мерсов’ с открытым верхом”. Она была красива, даже не то слово. Но мы не Шекспир.

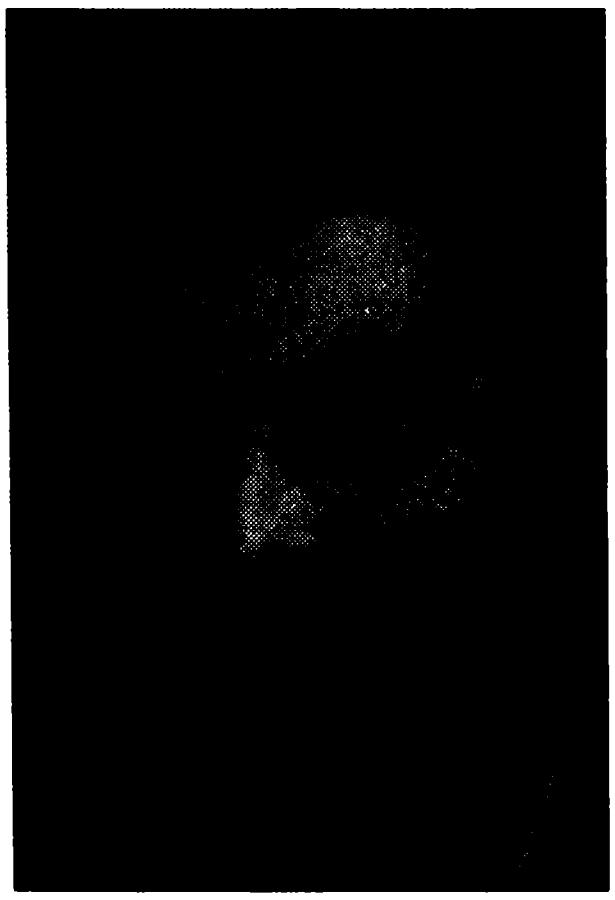
Порой мы лежим под кроватью с карманным фонариком и можем только плакать. Потому что мы считаем, что слезы говорят гораздо больше и имеют гораздо больше смысла по сравнению со всем, что мы могли бы написать. Но она не слышит, что мы плачем. И если бы она даже и услышала, ей было бы все равно, а может быть, ей бы даже показались отвратительными наши слезы.

Поэтому мы пишем ей письмо.

Мы будем сидеть возле воды и повторять: “Прежде чем взять в рот, ты должна посмотреть им в глаза, словно ты хочешь их загипнотизировать, словно ты увидела горящий терновый куст. Кристина была лучшая”.

И потом мы снова будем пить “Оранжину” и есть “Тик-так”. Пока нас не начнет мутить и не настанет утро.

Кадер Абдола



Ворон

Повесть

Перевод Надежды Возненко

1. *Магазин*

ДОРОГОЙ читатель!

Я — поставщик кофе и живу на канале Лаурирграхт в доме 37. Я никогда не хотел продавать кофе, но так уж распорядилась жизнь.

Я родом из страны, которая раньше называлась Персией, — страны древних царей, золота, ковров-самолетов, писаных красавиц и Заратустры.

У себя на родине я мечтал стать писателем, но в Нидерландах одним пером на хлеб с маслом не заработаешь. Поэтому я занялся продажей кофе. Если я не уезжаю к клиентам, то продаю кофе в своем маленьком магазинчике, над которым находится моя квартира.

По вечерам после работы я пишу. Моей жене это не по душе, потому что тогда я всю ночь провожу в комнате на чердаке.

Признаюсь, именно я написал книгу, которую Вы сейчас держите в руках, однако мое имя вымышленное. Таким образом я пытаюсь не смешивать поставщика кофе и писателя.

© Kader Abdolah, 2011
© Надежда Возненко. Перевод, 2013

Я сам выбрал это имя, и потому у меня не получается отделять в своих произведениях правду от вымысла.

Иногда, когда я описываю тот или иной случай, я сомневаюсь, произошел ли он на самом деле, но, к моему удивлению, моя версия получается более правдоподобной, чем реальные события.

Возможно, причина кроется в том, что я покинул родину, спасаясь от преследования. Тот, кому путь домой заказан, начинает постоянно фантазировать.

Опираясь на эту истину, я начал писать эту книгу.

Я хочу поведать Вам, что произошло со мной и как я оказался в доме 37 на канале Лаурирграхт.

А пока я вынужден с Вами ненадолго проститься: мне нужно на кофейную биржу. Вскоре я приглашу Вас приступить к чтению.

2. П*ортрет*

У меня был необыкновенный отец, он был плотником.

Он едва умел читать, но в его рабочей сумке всегда была одна и та же книга.

Вообще-то, мой отец был художником, но никто в округе не знал этого слова. Вечерами он рисовал простым карандашом на больших листах бумаги. В основном портреты известных исторических личностей, великих поэтов, писателей и царей. Эти портреты он вешал в нашем доме. Моя мать, мои сестры и я были единственными, кто видел, как он рисовал, но мы никогда не говорили об этом. Мы также не обсуждали двери, шкафы и окна, которые он делал в мастерской. Он просто был нашим отцом, который плотничал и рисовал.

Однажды вечером один его рисунок поразил меня. Он нарисовал портрет шаха, и казалось, будто тот разговаривает. Мне так понравился этот рисунок, что я взял его с собой в школу, чтобы показать учителю рисования. Месяцем позже этот портрет был напечатан в небольшой местной газете рядом с фотографией моего отца.

Это стало вершиной его карьеры в качестве художника.

Мой дорогой отец запретил мне навещать его в мастерской: “Я не хочу, чтобы ты полюбил запах дерева и стал плотником”.

Я не столько хотел попасть к отцу, сколько к старому ткачу, который работал в соседней мастерской. У ткача был маленький радиоприемник. Я присаживался рядом. Пока он ткал, я подавал ему разноцветную шерсть и слушал радио.

В нашем краю у всех мужчин были обычные профессии: плотник, бакалейщик, каменщик, пекарь, ткач и парикмахер. Мой отец говорил: “Может, все здесь и занимаются физическим трудом, но отец твоего деда был великим поэтом. Ты тоже должен попытаться стать таким”.

Он повесил черно-белый портрет прадедушки над моей кроватью и тихо напевал нам его стихи вместо колыбельных.

Мой отец сделал так, что дух моего прадеда, словно лампада в нише, освещал наш старый дом.

Позднее, лет в пятнадцать, я захотел стать таким же персидским литератором, как и тот человек, портрет которого висел над моей кроватью. Но чем старше я становился и чем больше читал, тем меньше оставалось во мне желания, потому что я начал серьезно сомневаться в том, что смогу создать нечто, достойное чтения.

Меня зовет жена, я должен остановиться. Конец истории я дорасскажу завтра вечером, после того как закрою магазин.

3. В*ообра*же*ние*

Наш город был маленьким, но у нас была большая библиотека, где хранились сотни произведений великих персидских авторов. Ряды старинных книг с коричневыми, черными и темно-зелеными обложками; Хафиз Ширази, Саади, Руми, Омар Хайям, Аттар, Фирдоуси и многие другие прославленные имена, которые повлияли на персидский язык и литературу.

Без этих классиков я чувствую себя рыбой, лишенной знакомого пруда.

Иногда на бирже я ловлю себя на том, что декламирую персидские стихи, словно в трансе. И тогда голландские поставщики кофе, толкая друг друга в бок, говорят: “Смотри, иранец опять читает свой Коран”.

Один мой дядя жил в Тегеране, в то время он был молод и работал в киноиндустрии. Никто из нашего городка ни разу не был в кино, но дядя Джалель работал в кинотеатре, который открыл какой-то американец.

Однажды вечером Джалель застал меня в городской библиотеке.

– Не двигайся, стой, как стоишь, между шкафами, – сказал он и сделал несколько снимков. – Расскажи, о чем ты задумался?

Я обнял и поцеловал его. По дороге домой я поделился с ним тем грузом, что лежал у меня на сердце:

— Когда я смотрю на все эти книги, я теряю уверенность в себе. Великие классики уже обо всем написали и не оставили никакого пространства для меня. Что бы я ни создал, я всегда буду оставаться в их тени.

Дядя Джалель умел наслаждаться жизнью, он сказал мне:

— Ох парень, тебе не обязательно становиться писателем; в жизни есть много других вещей.

— Я не хочу ничего другого, — ответил я.

— Тогда я кое-чему тебя научу, — тихо сказал он. — Послушай, я прочитал почти всех персидских классиков. Все великие мастера прошлого уверяют, что Бог, создавая человека, оставил в нем некую часть себя. Он дал человеку одно из своих самых сильных качеств — силу воображения. Это — тайна, и доступна она только людям с чистым сердцем. Итак, молодой человек, вообрази себе что-нибудь и осуществи это. Бог сделал то же самое. Он представил себе человека и создал человека. Он представил себе солнце и создал солнце. В этом и заключается секрет.

— Что же мне вообразить? — спросил я.

— Представь, что ты открыл первый экземпляр своей первой книги и от радости прижимаешь его к лицу, вдыхаешь запах страниц. Понимаешь, о чем я?

— Да, то есть нет, не совсем.

— Например, пророк Мухаммед. Он был неграмотен, но он представил себе великую книгу. Он сам не мог ее написать, но, останавливая людей на улице, рассказывал о ней, он рассказывал о своей книге. Так он создал великую книгу, не написав своей рукой ни единого слова. Это сделали за него другие.

Я засмеялся:

— Дядя, о чем вы говорите?

— Это помогает и в любви, только не рассказывай об этом своему отцу. Я люблю красивых женщин и могу заполучить любую, какую пожелаю.

— Дядя, не следует говорить о таких вещах.

— Слушай, — сказал он серьезно, — ты должен придумать, как и где ты хочешь с ними встретиться. Все должно сначала произойти здесь. — Он постучал пальцем по моей голове.

Когда мы почти пришли домой, он прошептал:

— Не забудь: в твоей голове.

Лейла была самой красивой девушкой на нашей улице. Я думал о ней постоянно.

Наша местность славилась сочным лилово-красным виноградом, который женщины собирали осенью. Дома они делали из него сироп и всевозможные напитки.

В городе наступило время сбора лилово-красного винограда, а я был влюблен в Лейлу. Она принимала мои ухаживания, но побыть вместе нам почти никогда не удавалось. Выходя на улицу, женщины надевали чадру и не показывали себя чужим мужчинам. Мы часто встречались у входа в мечеть, рядом с моим домом. Оттуда мы шли друг за дружкой через длинный темный коридор в молельный зал. Лейла шла в нескольких метрах впереди меня, и я старался не терять ее из виду.

Однажды, когда в коридоре никого не было, она дала мне яблоко. Я не знал, как мне поступить, и понюхал его. Лейла улыбнулась и вошла в молельный зал.

По четвергам у нас на родине принято посещать кладбища. Прибрав на могилах, люди раскладывают коврики и садятся пить чай с финиками рядом с усопшими. Вечер четверга был любимым временем молодежи. Тогда можно было незаметно встретиться в толпе.

Однажды вечером Лейла и я покинули могилы своих родственников, она пошла впереди, а я последовал за ней. Наши руки случайно соприкоснулись. Я не знал, куда она хочет пойти, может, у нее не было особой цели. Мы, довольные, бродили по кладбищу, пока не дошли до маленького храма Святого Салеха, куда могли войти только женщины. Лейла сняла перед входом обувь, вошла внутрь и исчезла за занавеской. Я слегка сдвинул ее в сторону. Лейла стояла и делала вид, будто не догадывается, что я тайком за ней наблюдаю. Она положила свою черную чадру на пол и развязала платок. Тогда я впервые увидел ее волосы, ее золотую цепочку, ее серьги и ее темно-зеленую рубашку.

Мне захотелось взять ее за руку, когда она вышла на улицу. Но из уважения к похороненному там святому я не стал этого делать.

Я последовал совету дяди Джалеля и представил, как Лейла помыла ступни, подобрала подол юбки и вступила в большой чан с виноградом.

Теперь я должен был действовать.

Негоже красться по крышам, словно вор, но тайна, которую открыл мне дядя, поборола родительское воспитание. Я поставил на кон честь моего отца и пробрался по лестнице на крышу мечети.

В тени дерева, рядом с собранным виноградом стоял большой чан. Я лежал на крыше и выжидал. На веранде ненадолго появилась мать Лейлы. Я продолжал ждать. Во двор вы-

шла ее старшая сестра и бросила в чан виноград. Ворон приземлился рядом и начал клевать ягоды.

— Проваливай, — раздался девичий голос, и в птицу полетел тапок.

Это была Лейла! Неужели моя фантазия превратится в реальность? Я задержал дыхание. Она спустилась по ступеням веранды и направилась к чану. Помыв ступни, она обеими руками подобрала подол юбки и вступила, будто танцовщица, в чан.

В тот же момент на крыше мечети появился муэдзин и начал читать азан, призывая всех к молитве. Он провозгласил начало священного месяца Рамадан. В это свято чтимое время ангелы спускаются к земле, чтобы наблюдать за людьми, а Бог на седьмом небе садится у окна, чтобы полюбоваться на свое творение.

Бог следил за мной, он видел Лейлу. Я закрыл глаза.

Одна восточная мудрость гласит: когда Бог закрывает перед тобой одну дверь, он где-то открывает для тебя другую.

Это был месяц поста, и муэдзины будили людей рано, чтобы те успели поесть до восхода солнца.

Тогда запах еды наполнял весь дом, чай был готов, мой отец декламировал священные строфы, было слышно, как гремят на кухне кастрюли, и петухи кукарекают на крышах.

В середине Рамадана у нашего муэдзина умерла мама, и ему пришлось уехать в свою деревню. Привратник мечети искал кого-то, кто мог бы подменить муэдзина. Я предложил свою кандидатуру.

— Прекрасно, ты пойдешь на крышу и окажешься ближе к Богу. Он увидит тебя и вознаградит.

Всю ночь я не смыкал глаз от волнения. Я боялся, что просплю и что солнце уже взойдет высоко над городом, когда я проснусь.

Когда момент настал, я взобрался по лестнице, повернулся в сторону спальни Лейлы и прокричал:

Hajje alllal salat
Hajje allal salat
Hajje ala ghair al-mal.
Просыпайтесь,
Люди, вставайте
На молитву
Для славных дел,
Для счастья,
Аллах велик.

Как только я прокричал “Hajje allal salat”, в комнате Лейлы зажегся свет, и ее тень упала на штору. Отодвинув в сторону занавеску, она — сонная и в пижаме — осталась стоять у окна. Недолго. Она не смотрела на меня, потому что это было запрещено во время Рамадана, Бог за ней наблюдал. Поэтому она вновь забралась в постель и выставила из-под одеяла свои великолепные ноги.

— Зачем ты так громко кричишь, мой мальчик, ты напугаешь ангелов, — заметил папа на вторую ночь.

Утренний ритуал повторялся вновь и вновь, пока однажды, когда до конца Рамадана оставалось всего несколько ночей, свет в комнате Лейлы больше не зажегся. Как бы я громко ни кричал, занавеска в ее комнате не двигалась.

Лейла больше не показывалась. Ни на нашей улице, ни в мечети.

В то время меня всецело занимала тема Бога. Я все больше сомневался в его существовании. И вот когда я почти утратил надежду когда-нибудь вновь увидеть Лейлу, я бросил ему вызов. Я написал в своем дневнике: “Бог! Если ты существуешь, тебе известно, как я скучаю по Лейле. У меня одно простое желание. Я хочу увидеть Лейлу. Сегодня воскресенье, без десяти час пополудни. Ровно в час я пройду мимо дома Лейлы. Бог, пусть в час дня она подойдет к двери. Если она подойдет, ты существуешь. Если она не покажется, то тебя нет”.

Я переоделся, надел свои новые башмаки, причесался и пошел к дому Лейлы. До часу дня оставалось три минуты, две минуты, одна минута, пробил час дня, прошла еще минута, две, три, четыре, пять, шесть, семь. Лейла не вышла.

Бог исчез из моей жизни. Если я хотел заполучить Лейлу, я должен был полагаться только на собственные силы. Я постучал в дверь ее дома, ответа не последовало. Я постучал сильнее и услышал шаги. Дверь открыл отец Лейлы. Он сердито посмотрел на меня и спросил:

— Что тебе надо?

— Лейлу! — ответил я.

Я думал, он меня ударит. Но он этого не сделал. Захлопнул дверь перед моим носом. Я вернулся домой. И написал рассказ “Муэдзин”.

Я хотел, чтобы моя печаль, моя история, так же как рисунок моего отца, оказалась на страницах местной газеты. Через две недели мой рассказ напечатали — он занимал всего четыре страницы в районной газетенке, она была небольшого формата и публиковала официальные объявления городской администрации.

За издание этой газеты отвечал старик, у него были очки и седые длинные усы. Он сидел в маленьком кабинете за старой печатной машинкой "Олимпия". Я поприветствовал его и чуть неловко замер перед его письменным столом.

— Что я могу для тебя сделать, молодой человек?

— У меня рассказ.

Я вытащил его из внутреннего кармана куртки.

— Рассказ таким ранним утром, в этом должна быть острая необходимость, — заметил он.

Он начал читать. Прочтя последнюю строчку, он снял очки и сказал:

— Я сорок лет сижу здесь и выполняю эту скучную работу, публикую некрологи, объявления об аренде, решения судов о наследстве, не говоря уже о поздравлениях этого пройдохи — бургомистра — по поводу повышения зарплат. И вот передо мной лежит рассказ. Однако, молодой человек, мои читатели не привыкли к подобному. Если я не ошибаюсь, ты — сын плотника, художника. Ты не думаешь, что поставишь отца в неловкое положение?

— Вам же не обязательно ставить под этим рассказом мое имя.

— Это правда, у тебя есть псевдоним? — спросил он.

— Нет, то есть да, вы можете поставить под рассказом имя Ашна.

— Неплохо. Я посмотрю, что смогу для тебя сделать, но ничего не обещаю.

Слово "ашна" означало известный.

Неделю спустя в нашей газете под псевдонимом появился рассказ "Муэдзин". Так был опубликован мой первый рассказ на персидском языке.

4. *Несерьезные книги*

В Амстердаме мрачный серый день и идет дождь. Я закрыл дверь магазина, из-за этого запотели окна.

В последнее время я часто ездил в командировки и потому не мог писать. А когда я не пишу, то неважно себя чувствую.

Как я уже говорил, я пытаюсь разделять работу и творчество. Это не всегда удается, и, когда в магазине мало посетителей, я все же берусь за перо. Как, например, сегодня. К полудню я больше не мог терпеть. Я положил тетрадь на прилавок, раскрыл ее и начал писать.

Прокаркал старый ворон, свивший гнездо на нашем доме, и я открыл окно в своей комнате. Птица облетела вокруг дома, еще раз прокаркала, взмыла вверх, приземлилась на минарет мечети и продолжала вести себя беспокойно.

Что-то вспугнуло голубей, обитавших в мечети, они взлетели и приземлились на ее купол. Наша и соседские кошки быстро вскарабкались на деревья, чтобы оттуда забраться на крышу.

Я закрыл окно и поспешил присоединиться к остальным зрителям.

По улице шли несколько незнакомцев, таких мы раньше не видели. Они были высокими, на них были кепки и солнцезащитные очки.

Это были американцы.

Позднее я узнал, что в тот вечер, когда я появился на свет, ЦРУ совершило у меня на родине государственный переворот.

Америка сместила нашего демократически избранного премьер-министра и помогла вновь прийти к власти ранее бежавшему из страны шаху.

С этого дня американцы вместе с шахом делали все, чтобы насадить в моей стране американские порядки.

Американские бизнесмены и крупные международные компании вкладывали деньги во многие города, но в нашем незначительном для экономики городе они не спешили рисковать.

Спустя годы, когда страна стала достаточно сильной, они все же решили построить у нас несколько крупных машиностроительных заводов.

И вот мимо мечети шли американские инженеры, приехавшие исследовать наш город. Им предстояло несколько лет прожить в новом микрорайоне за пределами города. Это было великолепное место, на постройке которого трудились лучшие каменщики, кузнецы и электрики Тегерана. Американцы искали хорошего плотника для различных несложных дел.

Однажды перед нашим домом остановился джип. Я в это время торчал на улице. Впереди сидел американец в солнцезащитных очках, он что-то сказал, и его водитель хотел мне это перевести, но моего школьного уровня английского хватило, чтобы его понять:

– Мы ищем плотника по имени Ага Акбар. Он дома?

Вскоре отец взял сумку с инструментами и отправился вместе с ними.

Я не знаю, как она к нему попала, но однажды вечером я нашел американскую книгу с порванной обложкой среди отцов-

ских принадлежностей для рисования. Я пролистал ее, прочел несколько предложений и забрал к себе в комнату.

Старый ворон летал над домом и каркал. Он заметил, что я спрятал книгу за поясом брюк.

Он сел на ветку дерева напротив моей комнаты, чтобы видеть, что я делаю.

Я забрался в кровать со словарем и американской книгой в руках. Это было невероятно.

— Если американцы могут писать книги на подобные темы, то я тоже смогу, — прокричал я на следующее утро ворону.

Он чуть не упал с ветки от неожиданности, взлетел высоко, каркнул и сообщил эту новость миру.

5. *Исфахан*

У моего отца в сумке с инструментами всегда была книга — маленький Коран. Когда ему нечего было делать, он присаживался, брал ее в руки и начинал нараспев читать. У меня, как и у моего отца, тоже всегда с собой важная книга, которую я читаю, когда в командировках мне нечем заняться. Ее автор — так же как и я — продавец кофе. Помимо этой книги я, как правило, беру с собой еще одну — какое-нибудь классическое произведение нидерландской литературы.

У Нидерландов почти нет классиков, но я, тем не менее, употребляю это слово. Я читаю эти книги с карандашом в руках, подчеркиваю те слова, которые не понимаю, и ищу в словаре их значение.

Время от времени мне в этих книгах встречаются пассажи, которые как будто написал я сам. Я выписываю эти отрывки в свою тетрадь. Когда мне скучно в магазине, я переписываю их по несколько раз, так я упражняюсь, стараясь улучшить свой нидерландский.

Сегодня я уже семнадцать раз переписал первую строфу поэмы “Май” Хермана Гортера. Поэт описывает девушку по имени Май, “одну из двенадцати сестер”, лодка которой пристает к морскому берегу.

Меня душила зависть, оттого что не я, а Херман Гортер написал это стихотворение:

Новую песню сложила весна:
Звонкою трелью пусть льется она,
Трелью, что летом встречает закат,
Город старинный ей будет рад —

В доме темно, но снаружи пока
Сумерки лишь начались, облака
Солнечный блик опалил, и в окно
Мне помахал из-за домов.
Начал на дудке мальчишка играть,
Сочные ноты стал ветер срывать,
Словно спелые вишни в саду,
Где он гуляет, встречая весну...

Природа, которую описывает Гортер, — это природа Исфахана!

А девушка Май — это девушка из Исфахана, о которой я вскоре вам расскажу.

Я включил это стихотворение в повествование потому, что слова другого писателя, попадая в твое произведение, в той или иной степени становятся твоими.

Херман Гортер сделал то же самое. То, что он представил нам как оригинальное голландское стихотворение, на самом деле является древним персидским текстом — это одно из персидских стихотворений о весне, которые я читал в юности. Гортер использует почти тот же сюжет, те же слова и выбирает ту же направленность, но, что удивительно, голландская версия получилась более сильной, убедительной и напряженной. Персидский читатель во мне видит, как девушка Май исчезает на таинственных улицах Исфахана.

Словно дитя, чью жизнь бог оборвал,
Словно цветок, который увял,
Так лежит скошенный мак в полях.
Она лежала в закатных лучах,
Солнце ее в последний раз обожгло
И вместе с ней в небытие ушло.

К сожалению, Херман Гортер так и не смог полюбоваться Исфаханом. В отличие от меня. И любой, кто отправится в Исфахан, несомненно встретит там Май, оставит там свое сердце и станет поэтом.

Я должен ненадолго прерваться. В магазин зашел мой постоянный клиент из Афганистана. Сегодня вечером моя жена вместе с подружками пойдет по магазинам. Тогда у меня будет время рассказать вам, каким ветром меня занесло в Исфахан и как он на меня повлиял.

Когда несколько лет спустя я собирался поступать в Тегеранский университет, чтобы изучать персидскую литературу, ме-

ня все отговаривали: “Это не профессия, только те, у кого обе руки левые, идут на литературу”.

Поэтому я стал изучать точные науки.

Однако технические специальности таили в себе наибольшую опасность. Родители, затаив дыхание, наблюдали за своими детьми, если те выбирали это направление. Говорили, что ребенок поступает в университет невинной овечкой, а через несколько лет выходит оттуда львом. Студенты этого направления были самыми сообразительными молодыми людьми в стране. Позднее именно они будут занимать ключевые посты в государстве. Однако важнее было то, что эти студенты полагали, будто народ нуждается в них. Они полагали, что их призвание — думать об Иране, и знали, что если в будущем в стране начнутся перемены, то они будут теми, кто даст им старт. Поэтому эти студенты довольно быстро становились политическими активистами. Интересы страны были важнее учебы.

Едва поступив в университет, я познакомился со студентом последнего курса отделения индустриального проектирования. Он пригласил меня в кафе, которое находилось за пределами университета.

Год спустя я уже был активным участником подпольной газеты левого толка, выступавшей против шаха, а значит, и против американцев.

В то время Советский Союз еще был очень могущественной страной, и у Ирана с ним была общая граница протяженностью более двух тысяч километров.

Вместо американских и европейских книг я начал читать русские.

Таких писателей, как Оноре де Бальзак, Виктор Гюго, Эрнест Хемингуэй, Эмиль Золя, Альбер Камю, Марк Твен и Даниель Дефо сменили такие русские авторы, как Белла Ахмадулина, Анна Ахматова, Чингиз Айтматов, Федор Достоевский, Николай Гоголь, Антон Чехов, а особое место среди них занимал Михаил Шолохов и его шедевр “Тихий Дон”, а также Максим Горький и его роман “Мать”.

Чтобы стать знаменитым писателем, я должен был стать голосом народа, точно таким, каким был Михаил Шолохов, или Максим Горький.

Дядя Джалель был тем, кто стал причиной нового поворота в моей жизни. Во время одного нашего разговора он сказал:

— Поезжай в Исфахан, прежде чем всерьез взяться за перо.

Я спросил его зачем.

— Ты сам поймешь.

Дядя Джалель всегда оказывался прав. Я отправился в Исфахан.

Всем стоит хоть раз побывать в Исфахане. Приехав туда, ты говоришь себе: “Это мой город. Я хочу здесь остаться”.

Что-то странное в воздухе этого города, здесь отсутствует связь времен. Такое чувство, будто когда-то давно ты забыл здесь часть самого себя.

С ума можно сойти от его таинственной красоты, от синих мечетей, от старых площадей, от реки Заянде, которая была свидетелем многих исторических событий и которая завораживающе красиво несет свои воды через город, от старого моста Си-о-Се Поль, который, будто старинное каменное стихотворение, соединяет две части города друг с другом.

Дядя Джалель, который понял, что я почти утонул в русском интеллектуальном наследии, хотел, чтобы я вернулся к своим культурным истокам. Исфахан сразу вызывает любовь и пробуждает желание поведать об этой красоте. Но нельзя сказать синей мечети: “О, как ты прекрасна!”

Нужно найти женщину, девушку из Исфахана, чтобы сказать ей: “О, как ты прекрасна! Твоя красота убивает меня”.

Одинокий, потерянный, я стоял в синей мечети и вдруг заметил девушку. Ее таинственное лицо было скрыто под черной чадрой. На плече у нее висела школьная сумка.

Она сразу мне понравилась. Взгляд ее карих глаз позволил мне следовать за ней, мы проходили улицу за улицей, переулок за переулком. Она оглянулась только один раз.

Мы подошли к дому с большими воротами, он показался мне замком.

Как принцесса из старинных сказок она вошла в замок, еще раз оглянулась на пороге и исчезла.

Я подумал, что на этом все закончится и мне следует возвращаться, но в этот момент на верхнем этаже отодвинулась занавеска. Окно открылось. Девушка сняла чадру и выглянула наружу, при этом я увидел ее длинные тяжелые локоны. Она послала мне улыбку.

Отец девушки был приверженцем строгих традиций, он продавал ковры на исфаханском базаре. Мы поддерживали связь четыре года, но так никогда и не смогли спокойно поговорить. Она была молода, а я был чужаком.

Я жил в Тегеране, в семистах пятидесяти километрах от нее. Дорога на автобусе до Исфахана занимала целый день.

Для меня это было время борьбы, наша любовь была под запретом, но я регулярно писал ей, мои письма порой достигали двадцати пяти страниц. Я писал для нее книгу, хоть и не мог посылать ей тексты по почте. Она боялась, что ее отец узнает об этом. Поэтому я доставлял ей письма лично.

Обычно я хранил их до тех пор, пока больше не мог терпеть, и тогда я садился в ночной автобус, который прибывал в Исфахан в семь часов утра. Со станции я шел пешком до ее дома. Я ждал ее на перекрестке под старым деревом до без четверти восемь — в это время она выходила из дому, чтобы идти в школу.

Каждый день она бросала взгляд на это старое дерево, чтобы узнать не стоит ли там ее поклонник.

Она прошла мимо меня, ее улыбка была скрыта чадрой. Я последовал за ней, стараясь, чтобы мои шаги были едва слышны. В пустом переулке, где она могла сказать мне "Салам", я отдал ей свои письма, тексты и рассказы. После этого я проводил ее в школу.

Позавтракав на базаре, я купил кое-какие безделушки для нее и пошел к синей мечети. Там я лег на землю и рассматривал магические мозаики, пока не уснул.

Когда муэдзин на мечети начал кричать "Hajje allal salat", я понял, что ее занятия закончились и что я снова ее увижу.

В пустом переулке я быстро вложил ей в руки подарки, после чего она продолжила путь домой.

Она отблагодарила меня тем, что показалась в окне. Она отбросила свои волосы назад и продемонстрировала мне сережки и бусы, которые я ей купил. Занавеска опустилась, нет, вот опять отодвинулась. Она быстро помахала мне и скрылась из виду. Я поспешил назад, чтобы успеть на автобус в Тегеран.

Так продолжалось четыре года. Я писал ей, я писал для нее, я писал целые стопки рассказов для нее — моего единственного читателя.

В моей стране произошла революция, и левое движение стремилось стать частью новой власти. Были захвачены казармы, похищено оружие, тысячи людей выходили на митинги, американские банки были сожжены, шах бежал, генералы последовали его примеру, агенты ЦРУ исчезли. Миллионы людей пришли в аэропорт, чтобы приветствовать духовного лидера аятоллу Хомейни. Для любви не оставалось места. Но я все также продолжал ездить в Исфахан.

Последний раз, когда я там был, школы были закрыты из-за забастовок. Чтобы ее увидеть, мне пришлось бы пойти к ней домой, но нельзя было просто так постучать в дверь дома только для того, чтобы увидеть дочь. Сделай я это, мне пришлось бы официально просить ее руки, а я еще был к этому не готов. Мне еще было далеко до супруга и зятя. Поэтому я вернулся в Тегеран.

Позднее, когда исламское духовенство наконец пришло к власти, а наше левое движение осталось не у дел, я вновь сел на ночной автобус. Я хорошо все взвесил. Теперь я был молодым взрослым мужчиной, а она из девочки превратилась в молодую женщину. Помимо этого, произошла исламская революция, встречаться с ней мимоходом на улице стало неприлично. Садовник, знавший о нашей тайне, отворил мне дверь и специально оставил ее приоткрытой. Он возвратился в сад. Там стояла женщина, ее лицо было скрыто под темной чадрой. Я узнал ее, но она показалась мне незнакомкой. Она действительно превратилась в молодую даму, и, похоже, стала женой другого. Она не улыбнулась мне и не побежала наверх. Ее лицо оставалось закрытым.

Она казалась памятником минувшему.

Она сделала свое дело, благодаря ей я начал писать. Теперь я должен был самостоятельно двигаться дальше.

6. *Курдистан*

Исфахан — магический город, а Курдистан — таинственный край. Нужно пройти по холмам, селам и дорогам Курдистана, чтобы понять, почему курды так гордятся им и своими традициями. Магия Исфахана — в сочетании искусства, архитектуры и религии. Таинственность Курдистана — в его природе, простоте жизни и открытости курдов. Не стоит туда отправляться в попытке забыть дорогого человека, потому что вороны будут постоянно напоминать тебе о нем. Об этом знал курдский поэт Баба:

Вороны, каркая, летают над нашим домом,
Подавая знак, что ты стоишь у окна.
Голуби раз за разом летят к твоему дому,
Принося тебе мои письма.
Любимая, оставайся стоять у окна,
Однажды я прилечу вместе с сотнями птиц
И заберу тебя к себе домой.

Пока власть в Иране менялась, курды воспользовались нестабильной ситуацией, чтобы заявить о независимости.

В ответ революционная гвардия новой власти вошла в Курдистан, и разгорелась война между вооруженными курдами и исламским религиозным режимом.

Вернувшись в Тегеран, я взял рюкзак и тайно отправился через горы в Курдистан. Будучи журналистом подпольной га-

зеты, я решил отправиться на передовую, чтобы больше не думать о Исфахане.

Государственным газетам было запрещено писать об этой войне. Поэтому никто не знал, что на самом деле происходит в Курдистане. Курдистан — это край с большим количеством тайн и сюрпризов. Я разговаривал с курдами и писал об их жизни, их мечтах. Я записывал песни о Курдистане, которые мужчины пели, повесив ружья на плечи. И я заходил в их дома. В деревне Бардараш я зашел в мастерскую старого кузнеца. Казалось, что, входя в эту кузницу, попадаешь в Средневековье. Там было темно. Не горело ни одной лампы. В сиянии, исходившем от полыхавшего огня, виднелись неясные контуры изделий. Гвозди, подковы и лемехи плуга. Кузнец ковал серп. Он сунул его в пламя, и оно разгорелось с новой силой. Достав серп из огня, кузнец положил его на наковальню и начал постукивать по нему молотком. Я спросил его:

— Вы работаете здесь один?

— Нет, нас двое, — ответил мужчина.

Когда он опустил серп в жар печи, пламя вновь стало ярким. Я осмотрелся, но никого не увидел. Было темно, огонь разгорался, и серп в печи раскалился добела. Каким образом разгорался огонь? Где был тот второй человек? Мое внимание привлекла дыра в стене. Мне показалось, что я слышу, как работают кузнечные мехи. Я посмотрел в дыру. Там никого не было, но я услышал вздох ребенка.

— Кто там?

Мне никто не ответил.

— Есть там кто-нибудь? — крикнул я.

Тихий девичий голосок ответил:

— Да, я, Захра.

Я вздрогнул от неожиданности и проговорил:

— Можно мне тебя увидеть?

Из темноты, из-за средневековых кузнечных мехов сверкнули испуганные глаза. Глаза Захры, внучки кузнеца.

Шесть месяцев спустя я закончил рукопись, которая состояла из подобных историй.

Я послал ее в различные издательства Тегерана, но в то время никто не решался ее опубликовать. Отчаявшись, я отправился в самое крупное издательство. Редактор, пролистав мою рукопись, сказал:

— Возвращайся через час.

Я отправился в кафе, заказал что-то перекусить и несколько стаканчиков чаю, чтобы скоротать время.

– Это серьезная хроника, литературный манифест. Я бы очень хотел это издать, но, к сожалению, не могу, – сказал редактор, когда я вернулся в его кабинет.

Это был мой последний шанс, я стоял на улице, не зная, куда податься.

Было многолюдно, и мне это не нравилось. Я свернул в тихий переулок. Кто-то окликнул меня:

– Подожди!

Я обернулся и увидел молодого мужчину, я узнал его, это был вахтер издательства. Я надеялся, что редактор послал его за мной, потому что передумал. Он схватил меня за руку и зашептал:

– Если хочешь, я издам твою книгу нелегально. Я не могу тебе заплатить, и, после того как ты отдашь мне рукопись, мы больше никогда не увидимся. Ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Договорились?

Это было время революции и войны, время, когда твоя возлюбленная в одночасье могла стать женой другого. Мне нужно было быстро принять решение.

– Договорились.

Я вручил ему рукопись, мы обменялись рукопожатием, нам больше не суждено было встретиться.

– Подожди минутку! – крикнул он. – Мне нужно имя, имя писателя. Я же не могу напечатать твое имя на обложке. У тебя есть псевдоним?

Второй раз в моей жизни мне задали этот вопрос. В этот раз мне также не пришлось долго думать:

– Рэфик Фоад!

С Рэфиком Фоадом, доктором, которого впоследствии казнили, я познакомился еще студентом. Позднее он стал известен и уважаем в Курдистане. У него не было своей практики, и он ездил по холмам и долам на старом джипе от пациента к пациенту.

Во время моей поездки в Курдистан я на неделю остановился у него. Он жил у родителей в большом старом доме. Было здорово вновь увидеть его спустя столько лет, к тому же я мог сопровождать его во время визитов к больным.

Когда я решил продолжить путь, он вывел коня из стойла, вручил мне ружье и сказал: “Езжай на этом проверенном скакуне по моему Курдистану и пиши о нашей боли”.

Вскоре его арестовали. Вернувшись в Тегеран, я узнал, что его казнили.

Вахтер сдержал свое слово. Моя первая книга на персидском языке была опубликована и продавалась на улицах. На обложке красовалось имя Рэфик Фоад.

Я купил один экземпляр, быстро вдохнул запах его страниц и спрятал за поясом брюк. Мое сердце бешено колотилось от счастья.

7. *Американцы*

Я был свидетелем разных направлений американской политики, но до сих пор так и не смог понять американцев. На протяжении двадцати пяти лет они использовали шаха, чтобы, словно полицейские, следить за Персидским заливом, но чего они добились? Тоталитарного теократического режима.

В 2001-м американцы вошли в Афганистан, затем они со своими танками вторглись в Ирак. Но чего они достигли этим?

Из-за американской политики миллионы людей стали беженцами, и многие из них нашли пристанище в Европе.

Некоторое время назад ко мне в магазин заходил один турок, мой клиент. Он торгует недвижимостью, и у него под мышкой были зажаты большие свертки со строительными чертежами.

— Вы занимаетесь новым зданием? — спросил я, снедаемый любопытством.

— Мы строим мечеть. Количество мусульман в Амстердаме увеличилось, и потребовался более просторный молельный зал.

Позднее я пошел посмотреть на то место, где собирались возвести самую большую мечеть в Европе. Там как раз забивали сваи. Мой турецкий знакомый увидел меня и предложил мне сигарету.

— Это здание будет дорого стоить, потребуется несколько миллионов, чтобы его построить. Откуда возьмутся все эти деньги? — спросил я его.

— Это мечеть, Аллах позаботится об этом, — сказал он с улыбкой.

Я покачал головой.

— Невероятно, мавры, то есть марокканские берберы, несколько веков пребывали в печали, ожидая исполнения своей мечты. Они построили Мескиту в Кордове, несомненно самую красивую мечеть в мире, но им не удалось завоевать оставшуюся часть Европы. Они были повержены. Теперь, десять веков спустя, сотни свай забиваются в центре Амстердама, чтобы осуществить мечту тех марокканских берберов.

Турок громко рассмеялся, поиграл со своими четками, привезенными из Мекки, и подмигнул мне.

— Как говорят голландцы, мечты обманчивы, не так ли?

Я никому не рассказывал о своей книге, но не смог противостоять желанию поделиться этим с дядей Джалелем. Он в то время уже работал на улице Лалезар в киностудии, где снимали документальные фильмы. Улица Лалезар в то время была чем-то вроде Голливуда в миниатюре.

Завидев меня, он вышел из-за монтажного стола, и мы обнялись:

— Наш бунтарь принес какие-то важные новости, раз зашел ко мне без предупреждения. Рассказывай!

Я протянул ему книгу. Он сразу понял, что написал ее я. Он погладил обложку, раскрыл книгу, пролистал ее, прочел несколько абзацев, посмотрел мне в глаза, поцеловал меня в лоб и сказал:

— Я слышал о ней. Я ждал появления твоей книги, но это не она.

— Почему нет? — спросил я, разочарованный.

— Забудь Маркса, Ленина, Че Гевару, Кастро и остальных. Напиши собственную историю, ты ярко и драматично описал жизнь, но это не искусство. Как писатель ты не присутствуешь в книге. Повествование ведешь не ты, а Че Гевара.

Я был почти сломлен тем, что дядя Джалель раскритиковал меня, и все же я чувствовал себя счастливым, когда вышел на улицу и пошел по направлению к площади Тупхане.

В то время Тегеран бурлил от новостей. Мне поручили написать статью для нашей газеты, и я искал подходящий сюжет.

У американского посольства постоянно проходили митинги. В тот день народу собралось больше, чем обычно. Ежедневно там можно было увидеть флаги и транспаранты, что само по себе не являлось интересным новостным поводом.

Я увидел группу студентов на противоположной стороне улицы. С ними был молодой имам в черной чалме. Где же я его видел раньше? Я не знал, что они задумали, но странная тишина, окружавшая этих людей, молодой имам и непривычно безропотное повиновение ему студентов заинтриговали меня. Они остановились на тротуаре напротив посольства. Казалось, будто они смотрят на митингующих или любуются высокими воротами, железной оградой и большим американским флагом.

Ворота посольства были закрыты, а вокруг здания патрулировали вооруженные бойцы из Корпуса Стражей Исламской революции.

Этот молодой имам! Я несколько раз видел его по телевизору рядом с аятоллой Хомейни.

Имам прокричал: “Аллаху акбар! Аллаху акбар!” — и кинулся на большие ворота посольства. Студенты последовали за

ним. Группа перелезла через металлическую решетку и спрыгнула в сад.

Я почуял запах новостей и тоже перелез через решетку.

Под крики "Аллаху акбар! Аллаху акбар!" имам побежал к большому зданию, стоявшему посередине сада. Американцы не рассчитывали на такую молниеносную акцию. Группа протаранила дверь здания и ворвалась внутрь. Американцы искали спасения на верхних этажах, за ними по пятам гнались имам со студентами. Американцы вбежали в зал для собраний и закрыли дверь изнутри. С помощью длинного стола студенты высадили дверь зала. Имам вытащил пистолет и прокричал по-английски: "Все на землю, руки на затылок".

Женщины вопили, но, так же как и мужчины, легли на пол и сделали то, что им приказали.

Я вдруг осознал, что присутствую в историческом месте и являюсь свидетелем исторического момента. Эта акция могла положить начало войне и повлечь серьезные последствия для многих людей.

Я понял, что, находясь там, поставил под угрозу собственную жизнь. Имам без колебания пристрелил бы меня, увидев меня за дверью.

Я еще мог незаметно выбраться оттуда и уйти, но как журналист не мог себе этого позволить.

Спустя некоторое время все американцы с завязанными глазами и со связанными за спиной руками были выведены из зала.

Имам шел впереди. Каждый студент вел заложника, чтобы тот не упал с лестницы.

Вдруг имам посмотрел на меня.

— Кто ты? — крикнул он.

Я попытался убежать, но три студента побежали за мной, и я, оступившись у двери, упал. Меня пнули в живот и подняли за волосы. Имам несколько раз дал мне кулаком в лицо и, схватив за шиворот, потащил к воротам посольства. Неожиданно он ударил меня пистолетом по затылку и толкнул к Стражам Исламской революции.

Из-за сильного удара у меня потемнело в глазах и подкосились ноги, а моя книга, которая была заткнута у меня за поясом, выпала на землю.

— Он один из левых сволочей, арестуйте его! — крикнул имам.

У меня не было шанса что-либо сказать, солдаты били меня, куда попало. Я думал, что мне пришел конец, пока одна девушка не растолкала бойцов. Она встала между ними и мной и прокричала:

– Хватит, вы его убьете! Смотрите! Они выходят.

Американцев длинной вереницей выводили на улицу, где их уже ждали несколько военных джипов.

Моя книга все еще лежала на земле. Некоторые американцы с завязанными глазами наступали на нее, другие проходили мимо.

– Ты со мной? – спросила девушка, помогая мне встать.

Мы незаметно смешались с толпой.

Тысячи людей, собравшихся перед посольством, скандировали: “Аллаху акбар! Аллаху акбар!”

Американцев увезли.

Имам исчез.

Студенты тоже.

Моя книга тоже исчезла.

Но девушка осталась. Она была красавицей и жила в Тегеране.

Женщина, с которой я живу на канале Лаурирграхт в доме 37, – это та самая девушка, спасшая меня у посольства. У нас есть дочь, она изучает нидерландскую литературу в Амстердаме.

8. В*ойна*

В моей душе нет места для ненависти и вражды. Единственное чувство, которое я не способен побороть, – это зависть. Я желаю каждому большой дом, дорогую машину, полные карманы денег и золота. Но я умираю от зависти, когда, например, читаю стихотворение “Скорбь” Геррита Ахтерберга:

Скорбь, я не дам
Звезде – светить,
Глазам – смотреть и видеть,
Вселенной – в равновесье быть,
Танату – счет
всем предъявлять,
Что нас с ней разлучил.

Антология его стихов “Проезжая последний город” лежит в ящике под моим прилавком. Его стихотворения недлинные, я могу читать их между делом у себя в магазине.

Хотя я не питаю ненависти, но есть глубоко укоренившиеся чувства, которые присутствуют сызмальства и обусловлены родным языком, литературой и обычаями.

У нас, персов, испокон веков были проблемы с арабами. Мне стыдно об этом писать, но это исторический факт. Лично мне нравится арабский язык, арабская литература, арабские женщины и свежие арабские финики. Я даже знаю наизусть многие суры Корана. Но с тех пор как магометане четырнадцать веков назад вторглись на территорию Персидской империи, сожгли наши дворцы, бросили наши сочинения в реки, объявили вне закона наш язык, упразднили дарованную нам Заратустрой религию и уничтожили наши древние храмы огня, чтобы заменить их на мечети, персы испытывают ненависть к арабам.

Здесь, в Амстердаме, среди моих постоянных клиентов есть три арабки – сунитки родом из Ирака. Они носят хиджаб, это красивые женщины с красивыми, большими, карими глазами. Каждая из них – будто новое воплощение Шахерезады из "Тысячи и одной ночи".

Я понимаю арабский язык и немного на нем говорю. Когда они входят, я встаю со стула и приветствую их по-арабски: "Ahlan wa sahlan marhaba!" Тогда они мне улыбаются, хотя обычно не дарят улыбок посторонним мужчинам, но они знают, что в моем магазине они желанные гости и могут не опасаться приставаний. Для них я взвешиваю лучший, свежайший кофе.

У себя на родине они были неграмотными. Здесь, в Амстердаме, они ходят на языковые курсы. По большому счету, это районный культурный центр, где добровольцы обучают иммигранток нидерландскому языку и арифметике.

Они не ходят в кафе или в кино. И даже в библиотеку, потому что еще недостаточно хорошо владеют нидерландским языком. По-моему, мой магазин – это единственное публичное место, куда они заходят, чтобы перекинуться с кем-нибудь парой слов.

Они мне не представились, поэтому я не знаю, как их зовут. Вчера они снова заходили.

– Как прошел урок? – спросил я.

– Сложно, – сказала одна из них.

– Что вы сегодня изучали?

– Счет.

Они показали мне свои записи. Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. У них, не умевших читать, был совершенно иной взгляд на мир.

В своих тетрадях они тренировались писать числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, но у них явно были сложности с 6 и 9. Они их путали. Поэтому им пришлось написать целую страницу шестерок и страницу девяток. Но они так забавно загибали хво-

стики у этих цифр — то вверх, то вниз, то влево, то вправо, — что те напоминали криптографию.

— Невероятно, — сказал я.

Они посмотрели друг на друга с улыбкой.

— Мы стесняемся своего почерка, — сказала та, у которой были самые красивые глаза, — но с тех пор как мы занимаемся числами, мы их видим повсюду: на дверях, на машинах, на нашей одежде и на нашей обуви.

— Это фантастика, — сказал я.

— Амстердам стал красивее, с тех пор как мы научились различать цифры, — сказала она.

Вошел клиент. Женщины быстро собрали тетради и ушли.

— Wedaen! До свидания! — крикнул я.

— Wedaen! — ответили они хором.

Ирак и Иран — это соседние страны. Иракцы — арабы, а иранцы — персы, у каждого из этих народов свой язык. На протяжении тринадцати веков персы и арабы воевали друг с другом. Затишье продлилось девяносто лет, в течение которого у нас было негласное перемирие, но Америка вновь пробудила старую вражду арабов и персов во время правления Саддама Хусейна. Американцы хотели отомстить за революцию и продолжительную акцию с захватом заложников в Тегеране. Они обеспечили поддержку Саддаму, и тот напал на Иран.

Каждую ночь иракские военные самолеты, пролетая над нашими городами, сбрасывали бомбы на дома, лишая людей сна.

Каждую ночь гибли и получали ранения сотни людей.

Мои воспоминания об этом ясны как день. Я отправился домой, чтобы навестить свою родню. Моя младшая сестра была на сносях. Мы все вместе сидели на ковре во дворе и ели. Из ниоткуда с оглушающим шумом появился истребитель, времени убежать не было. Моя мать прыгнула вперед и накрыла собой живот моей сестры, а мой отец накрыл собой мою мать.

Война продлилась восемь лет, обе стороны потеряли в общей сложности миллион человек.

Как иракцы, так и иранцы массово покидали свою страну.

Иранские власти опасались, что левая оппозиция, воспользовавшись ситуацией, при поддержке Советского Союза захватит власть. Было решено полностью избавиться от левой оппозиции. Тысячи людей были арестованы, сотни казнены без суда и следствия.

Я оказался в безвыходном положении. Мне нужно было что-то предпринять.

Герой Виллема Фредерика Херманса Карел Р. в своем военном дневнике пишет:

Я достал из шкафа пистолет с таким спокойствием, будто никогда не собирался его использовать.

Мне придется его всегда носить с собой? Но где? В боковом кармане? Но тогда одно мое бедро станет подозрительно широким, а пистолет будет болтаться во время ходьбы.

Во внутреннем кармане пиджака? Тяжелый предмет постоянно на моей груди? А разве это не будет заметно?

Может быть, лучше в заднем кармане брюк, или нет: лучшим местом все же остается боковой карман плаща.

Нет, пиджак – его я не снимаю".

Главный герой книги Херманса покидает свою страну, засунув пистолет во внутренний карман пиджака.

Я не хотел уезжать, я хотел остаться и писать книги.

9. *Кабинет Ленина*

На прошлой неделе я не мог писать, так как ездил по делам в Германию. В перерывах между встречами в различных фирмах я читаю ту книгу, которую всегда беру с собой. Эту привычку я перенял у отца.

Одна персидская пословица гласит: "Не пытайся продать икру тому, кто живет на Каспийском море". Каспийское море – это место, где ее добывают.

Иммигрантам в Нидерландах довольно сложно зарабатывать на хлеб коммерцией. И уж тем более, если они хотят заниматься продажей кофе. Этот бизнес непрост во всем.

Торговая палата ставит целый ряд условий. Банки не желают давать ни цента. Крупные фирмы, занимающиеся продажей кофе, просто принуждают тебя открыть фастфуд с ближневосточной кухней.

Не бывать этому.

Мои усопшие родные в гробу бы перевернулись и легли бы спиной к Нидерландам, если бы узнали, что их потомок, когда-то мечтавший стать писателем, с длинным ножом стоит за прилавком забегаловки, продающей шаурму.

Я не стал выходить на нидерландский рынок, а в основном поставляю кофе в Германию и Бельгию. Поэтому я часто

в разъездах. Когда я уезжаю, мои жена и дочь по очереди следят за магазином.

Тот, кто покинул родной кров и очаг, больше никогда не будет прежним.

Многих из нас переезд наделил новым характером.

Приезжая в Германию, я часто встречаю старых товарищей. Когда-то они, с ружьями на спине, скитались по горам, пытаясь завоевать города. Теперь они все — водители такси. То, что в лице таксистов Германия получила так много квалифицированной, высокообразованной рабочей силы, — это хорошо, но мне больно, когда я это вижу.

В конце дня, после того как я посетил всех своих немецких клиентов, я отправляюсь на вокзал. Там я всегда встречаю земляков. Их сразу можно заметить среди других таксистов.

В ожидании пассажиров они сидят за рулем и читают газету или книгу на персидском языке. Они узнают меня по логотипу на моем фургончике: ПОСТАВЩИК КОФЕ РЭФИК ФОАД АМСТЕРДАМ.

Они сразу выходят из такси. Мы пожимаем друг другу руки, обнимаемся, и они покупают пачки кофе, которые я специально привез для них.

Мы разговариваем, обмениваемся последними новостями о родине. Разговоры обычно длятся недолго, потому что, как только прибывает поезд и пассажиры выходят наружу, мои товарищи бегут к своим машинам, чтобы проехать немного вперед, когда очередь из такси продвигается. Мне хочется поговорить на серьезные темы, но вести с ними такие беседы невозможно. Ни в Германии, ни в Бельгии, ни в Нидерландах.

Еще один мой товарищ живет в Кёльне, он поэт. На родине он отвечал в нашей подпольной газете за страницу, посвященную искусству. В Кёльне он несколько лет проработал в маленьком ночном магазинчике, принадлежавшем одному турку. На самом деле, это был киоск, где мог поместиться только один человек, при этом, когда появлялись клиенты, он должен был стоять согнувшись за прилавком, разговаривая с ними через окошко в стеклянной стене.

Когда посетителей не было, он работал над своими стихами.

Приезжая в Кёльн, я навещал его. Наши разговоры через окошко постоянно прерывали клиенты.

Работа в этом киоске отнимала у него жизнь. Он ушел от турка и открыл свою овощную лавку.

– Почему именно овощную лавку? — спросил я его.

– Это проще всего, капитал не нужен. Ставишь несколько ящиков фруктов и зелени в лавке, и готово. Открываюсь в

одиннадцать утра, закрываюсь в шесть. Тогда весь вечер я могу заниматься своими делами.

Вчера в Кёльне я разговаривал с ним. Оказалось, что свободное предпринимательство — это не такое простое дело:

— Ты никогда не боялся огурца? Ты никогда не осознавал, что груши могут тебя убить? Я сижу здесь, в магазине, и смотрю на огурцы, на груши, на шпинат в коробке, это ужасно, они все гниют. Эти испорченные баклажаны угрожают моему существованию.

Конечно, не каждый стал таксистом или продавцом овощей. Многие получили высшее образование и нашли хорошую работу. В первую очередь, женщины воспользовались новой ситуацией, чтобы добиться достойного положения. И все-таки создается впечатление, будто первое поколение беженцев оставило позади свои мечты, чтобы обеспечить своим детям лучшие шансы в жизни. Они, будто спортсмены, передающие эстафетную палочку следующей группе бегунов.

В Нидерландах я наблюдаю целую волну иммигрантских детей, получающих высшее образование. Они в десять раз усерднее своих нидерландских однокурсников, потому что они осознают свое положение. Сейчас такие компании, как “Heineken”, “Shell”, “Philips” и “KLM” стремятся заполучить самых умных студентов-иммигрантов. Я очень хочу участвовать в этом новом течении, распахнуть свои двери этим изменениям.

Чудесно снова быть дома, я рад вновь оказаться на чердаке и писать: о себе, о моих земляках и других странах.

Когда я бежал из Ирана, все мое прошлое превратилось в восьмизначное число. Это был код, который сообщила мне моя подпольная партия на случай крайней необходимости. Мой связной сказал мне тогда:

— Если придется бежать из страны, попробуй через Афганистан. Или отправляйся в горы и переходи границу с СССР. Если не удастся, попробуй через Пакистан или Турцию. В любом случае, тебе будет нужно обратиться в русское посольство. Там ты спросишь посла и назовешь ему тайный код. Тогда посол все устроит в соответствии с правилами международной солидарности пролетариата. Ты получишь паспорт и отправишься в Москву, об остальном там уже позаботятся.

Этот код, будто магическое число, отпечатался в моем мозгу. Иногда я начинал сомневаться, правильно ли я его запомнил. Поэтому я записал его цифры в нескольких местах в обратном порядке, в том числе и на внутренней стороне каблука моего левого ботинка.

Попытки пересечь границу с СССР на севере часто заканчивались неудачно. Посторонних замечали за десятки километров до границы и арестовывали.

Я подумал, что Афганистан будет наилучшим вариантом. Глубокой ночью я отправился к восточной границе, однако бегство подчиняется только своей собственной логике. Даже если продумаешь несколько вариантов, лишь дорога укажет, куда тебе идти.

Мне помогла старинная мудрость: “Выбери путь, и он поведет тебя”.

Я выбрал путь в Афганистан и оказался в Турции.

Турция — красивая страна, а турки — необычайно хорошие люди. Я люблю их. Но не турецкую полицию — она ужасна, именно она в свое время превратила Турцию в ад для моих соотечественников.

Бог не мог помочь путнику в турецких приграничных районах, в отличие от пачки “Marlboro”. Она должна была быть красной и длинной. Она действовала словно магическое заклинание. Не взять в дорогу доллары было не так страшно, как не иметь при себе “Marlboro”. Тому, у кого в карманах при обыске не находили сигарет, могло не поздоровиться.

Худой и оголодавший, я наконец добрался до Стамбула.

Хотя я понимал, что не являюсь единственным беженцем, но все-таки не ожидал увидеть, как тысячи моих соотечественников бродяжничают на улицах Анкары и Стамбула.

Я был наивен, не мог представить, что могу стать одним из них, и не хотел иметь с ними ничего общего. Я был на пути в Москву, где собирался продолжить борьбу. И у меня еще было достаточно денег, чтобы прожить некоторое время в Стамбуле в ожидании русского паспорта.

Я поселился в приличном отеле. Ранним утром следующего дня я, начистив ботинки, отправился в советское посольство. На его воротах не было охраны, за происходящим на улице следили видеокамеры.

Я позвонил в дверь и долго ждал, пока мне ответят.

– Что надо? — спросили меня по-английски.

Это был не тот вопрос, который я ожидал услышать. Я представлял себе, что распахнется дверь и я прошепчу секретарю на входе: “Мне нужно поговорить лично с послом”.

– Что надо? — повторил голос.

– Я не могу говорить об этом здесь, мне нужно лично поговорить с послом, — прошептал я в дырочки старого бронзового коммунистическго домофона. Ответа не последовало.

– С послом, и только, — прошептал я.

На балконе появился русский дипломат, он был в костюме. Окинув меня взглядом, он отвернулся. Опять пришлось ждать целую вечность. Русский военный спустился по лестнице и подошел ко мне. Он взялся двумя руками за прутья решетки, просунул лицо между ними и сказал по-английски с сильным русским акцентом:

– Кто ты? И что ты хочешь?

Я сразу почувствовал в нем товарища и прошептал:

– Международная солидарность пролетариата. Я только что из Ирана, у меня есть тайный код. И согласно договору я должен встретиться с послом с глазу на глаз.

Он отошел, но спустя пять минут вернулся, чтобы открыть маленькую дверь в воротах. Я чувствовал, что это особенный момент в моей жизни: я у русских товарищей из Советского Союза, здесь безопасно.

Меня отвели в комнату с коричневыми деревянными скамейками в коммунистическом стиле, и я присел. Я впервые увидел портреты великих коммунистических вождей, чьи книги я читал, будто священные тексты. Ленин, Сталин и Леонид Брежнев. Там также висел большой плакат, на котором были изображены тысячи демонстрантов с алыми флагами на Красной площади в Москве. Я был так растроган, что у меня навернулись слезы на глазах.

Мне не пришлось долго ждать посла. У него было лицо Ленина и черты Сталина. Мы пожали друг другу руки, и он проводил меня в свой кабинет. Это был незабываемый момент, будто я входил в кабинет самого Ленина. Все прошедшие годы я читал об этих вождях, я так часто рассматривал фотографию кабинета Ленина, что точно знал, какие предметы стояли на его рабочем столе. И теперь я находился в этой комнате, и все было так, как на фотографии, за исключением портретов.

Посол усадил меня на коричневый кожаный диван.

– Говорите, – сказал он.

Мне потребовались ручка и бумага, чтобы сообщить ему секретный код. Он дал мне блокнот с эмблемой серпа и молота. Переполненный эмоциями я доверился восьмизначному числу. Для пущей уверенности я снял левый ботинок и проверил цифры. Это был последний раз, когда я сомневался в коде. Число обрело плоть: 95736240. Вообще-то, его легко было запомнить:

$$9 - 5 = 4$$
$$7 - 3 = 4$$
$$6 - 2 = 4$$
$$4 - 0 = 4$$

Затем я должен был умножить это число на два и записать в обратном порядке: 2 x 95736240 получалось: 084274191.

Все сошлось.

Посол положил листок во внутренний карман пиджака, предложил мне стакан русского чая, задал несколько общих вопросов об Иране и сказал:

– Возвращайтесь на следующей неделе.

Оказавшись на улице, я пошел, нет, взлетел и начал парить в голубом небе.

10. *Скитания*

В одном своем письме Луи Куперус сетовал:

Куда мне податься!

Как я мог все это знать!

Я – поэт, мечтатель, художник, искатель, трубадур, что я знаю об этой теме!

Я ничего не знаю о ней.

Но я постоянно о ней думаю: во мне не осталось ничего другого: война, только Война и бегство от нее.

О, вот бы никогда больше не думать: наслаждаться изяществом книги, картины, античной скульптуры, погодой, игрой света в облаках, запахом цветка, полетом птиц.

Как было бы чудесно, быстро – душой, всего лишь мыслью, чувством – воспарить, прочь от этой земли, в лазурную летнюю ночь.

Целую неделю я парил в лазурном небе над Стамбулом, все предвещало, что я получу русский паспорт и через Болгарию отправлюсь в Москву.

Я уже представлял, как вновь поступлю в университет в Москве. На родине я хотел стать писателем, теперь же я хотел попытать судьбу в Москве. Я бы мог писать по-русски и стать русским писателем иранского происхождения.

Может, Луи Куперус и не мог радоваться игре света в облаках, запаху цветов и полету птиц, пока был вынужден жить в Германии во время войны. А я мог; всю неделю я приходил на Галатский мост, ложился на теплые камни и смотрел на облака и птиц, которые стаями то садились на воду, то вновь взлетали.

Я посетил все мечети в городе и, словно помешанный, разговаривал с воронами, обитавшими в этих мечетях: “Ворон! Еще пара дней, и я буду в Москве!”

Однажды вечером, услышав, как сотни воронов каркают в кронах деревьев на площади Таксим, я прокричал на персидском: “Эй, турецкие вороны, мне передать от вас привет московским?”

Они взлетели, шумно хлопая крыльями.

Турки смотрели на меня с удивлением: “Что прокричал этот человек?”

Это была длинная неделя ожидания и короткая неделя счастья.

Утром следующего понедельника я вернулся в русское посольство, чтобы забрать паспорт, который мне должна была обеспечить международная солидарность пролетариата.

Я позвонил в домофон и знакомый голос спросил:

— Чего тебе?

Я прошептал:

— У меня встреча с послом.

— Посла нет, — ответил голос.

Я подождал немного, еще раз нажал на кнопку, но никто не ответил. Я вновь позвонил, но аппарат молчал.

Я встал у ворот. Ровно в пять часов вечера на улицу вышел военный. Он даже не посмотрел в мою сторону.

— Товарищ, — сказал я робко, — может, вы знаете, когда посол вернется в посольство?

— Нет, не знаю, — сказал он и попрощался со мной.

После этого в течение шести месяцев я каждое утро приходил к посольству, звонил в домофон и спрашивал:

— А посол уже на месте?

— Нет, — отвечали мне.

Я спрашивал себя: может, я сообщил неправильный код или, может, моя партия дала мне неправильный код.

Но не в этом было дело. Посла действительно не было в посольстве, а его сотрудники не имели ни малейшего представления, о чем идет речь.

В Москве произошло важное событие, Советский Союз был на грани распада, но остальной мир еще не знал этого. Вероятно, я был первым, кто стучался в ворота погибшей империи незадолго до того, как принципы международной пролетарской солидарности перестали действовать. Огромный коммунистический корабль потонул, и вперед выдвинули Горбачева, чтобы он попытался спасти то, что еще осталось. Все в Москве занимались своими делами, каждый пытался обезопасить свое существование. Тайные коды? О чем вы? Работа советских посольств по всему миру была приостановлена, а все послы отозваны в Москву.

На самом деле пройдет еще несколько лет, прежде чем Советский Союз распадется, но в моем сознании это произошло именно тогда.

Я продержался в Стамбуле шесть месяцев, до тех пор пока жить там стало совершенно невозможно.

В первый день своего пребывания я, еще полный надежд на будущее, поселился в красивой гостиничной комнате с двуспальной кроватью. Это было излишне, но из номера открывался прекрасный вид на Босфор. Я мог себе позволить прожить там неделю. Осознав, что срок моего пребывания в Стамбуле затягивается, я переехал на третий этаж в комнату поменьше. Спустя несколько недель я перебрался в еще более маленький номер на четвертом этаже. И в конце концов — в самую крохотную комнатку в отеле на пятом этаже.

У меня еще было немного денег, но кто знал, сколько мне еще предстоит пробыть в Турции? Я должен был оставить что-то про запас: на взятки полицейским на тот случай, если вдруг попаду к ним в руки. Я скромно питался, ел только хлеб и иногда позволял себе тарелку супа. Приближался день, когда мне придется или залезть в свои денежные запасы, или покинуть отель. Я предложил хозяину гостиницы свои часы. В обмен на них, он позволил мне еще три дня ночевать в другой комнате.

Это была не комната, а чулан. Обувь нужно было снимать перед дверью, за которой сразу стояла постель. Шагу ступить было негде. В чулане не было света. Казалось, будто лежишь в могиле.

"Ах, — думал я, — может, на следующей неделе я уже окажусь в Москве, в гостиничном номере на Красной площади, из окна которого буду смотреть на древние золотые купола".

В чулане воняло, но я не жаловался. Однажды ночью я услышал писк. Под кроватью кишели десятки крыс. В панике я тут же покинул отель.

Оказалось, что чулан был туалетом. Хозяин просто положил на дыру в полу доски и поставил на них сверху кровать.

11. *Кошмары*

Меня преследовали ужасные кошмары. Мне снилось, что я иду по узкой стамбульской улочке, по одной из тех, что выходят к железнодорожным путям.

Был поздний вечер, небо было черным, фонари не горели. Но все пространство пронизывал, будто туман, слабый,

рассеянный сумеречный свет – свет загробного мира, где нет ни дня, ни ночи.

Свесившись из окон, за моими движениями безмолвно следили люди.

Вдруг я услышал шаги. Они были очень похожи на стук колес бегущего по рельсам поезда. Их звук разросся до невыносимого гула. Передо мной оказались мои родители. Я заметил, что они не отбрасывают тени.

– Мальчик, это ты? – прошептала мама. – Я не могу подать тебе руки, как видишь.

– Почему вы так торопитесь?

Отец указал на один из нарисованных им портретов у себя под мышкой.

– Что это?

– Портрет твоего прадеда.

– Почему он у тебя с собой?

Он нагнулся ко мне, хотя был меньше ростом, чем я, поднял руки к моему лицу, чтобы я мог видеть его жесты и сказал:

– Это... слишком опасно.

Он передал рисунок матери и с помощью складного ножа приподнял крышку колодца. В колодце была железная лестница, по которой он начал спускаться. Мать последовала за ним.

Этот фрагмент я позаимствовал из новеллы “В тумане царства теней” Виллема Фредерика Херманса. Это военный дневник, в котором Херманс от имени студента Карела Р. описывает мысли и переживания жителя оккупированного Амстердама.

Когда я читал это произведение, я переписал этот пассаж в свою тетрадь.

Потому что однажды мне приснился такой же кошмар.

В Стамбуле меня преследовали страшные сны. Я бросил на произвол судьбы жену и дочь, больше не мог вернуться на родину, и мне некуда было податься. Тот, кто хотел вместе со своими товарищами принести свободу своему народу, стал скитальцем.

Бродя по стамбульским улочкам, я избегал той, где находилось посольство. Я стал одним из бесчисленных беженцев и положился на волю судьбы.

Найти крышу над головой было не просто. Турки думали, что все иранские беженцы были богачами, что у них у всех в Иране по нефтяной скважине. Поэтому когда кто-то из моих соотечественников снимал жилье, цена была в три раза выше, чем обычно. На каждом углу дежурили полицейские, поджидая добычу. Завидев их, все разбегались по переулкам. Ес-

ли полицейские подозревали, что у кого-то из беженцев есть деньги, то его задерживали.

"Паспорт!" — был их первый вопрос, потому что они знали, что почти все беженцы находятся в Турции нелегально. Если документы оказывались в порядке, они выясняли, где ты живешь, и, заполучив адрес, больше не давали тебе прохода. Они могли прийти и посреди ночи требовать денег. Если ты не платил, они сразу забирали тебя в участок. Нужно было всегда иметь наготове десятидолларовую купюру, иначе они обыскивали твои вещи до тех пор, пока не находили деньги.

Все свои сбережения я хранил в воротнике куртки и постоянно опасался, что однажды полицейские их все-таки обнаружат.

Чтобы не сойти с ума, я часами бродил по городу. Я всегда сдерживал слезы. Но в один прекрасный день, выйдя на берег Босфора и увидев проплывающий мимо большой грузовой корабль, я разрыдался.

Однажды я увидел сотни моих соотечественников перед главным полицейским участком. Это было странное зрелище, потому что обычно все старались держаться подальше от этого места. Беженцы подали много жалоб в ООН на турецкую полицию. И вот делегация ООН прибыла в участок, чтобы указать полицейским на их неподобающее поведение.

Я поискал в толпе знакомые лица, но никого не приметил. Один юноша прокричал что-то в сторону полицейского участка. Он был сломлен и зол — это было видно по его поведению и по поднятому вверх сжатому кулаку. Другие тоже выкрикивали проклятия. Меня поразило, что мои земляки массово начали скандировать по-турецки:

"Türk polisi fasist!"

"Yardim! Yardim! Yardim! Помощь! Помощь! Помощь!"

Полицейские, почувствовав опасность, начали бить людей дубинками, арестовывать всех, кто им попадался, людей тащили по земле в полицейский участок.

Тот юноша, который первым начал кричать, достал бутылку из внутреннего кармана и вылил ее содержимое себе на голову и одежду. Я не догадался, что это был бензин. Достав из кармана зажигалку, он поджег себя. Когда я осознал, что он сделал, было уже слишком поздно, языки пламени пробирались по его телу вверх. Я бросил рюкзак на землю, стащил с себя куртку и кинулся к нему. От боли его, словно марионетку, бросало из стороны в сторону, из-за чего у меня

не получалось его схватить. Все были шокированы, и полицейские тоже. Одному моему земляку все же удалось прыгнуть на него и повалить на землю. Я набросил на голову юноши свою куртку, чтобы потушить пламя. Женщины вопили, мужчины начали еще громче скандировать лозунги, представители ООН выбежали наружу. Эмоции накалялись.

Прибыли "скорая помощь" с включенной сиреной и группа конных вооруженных полицейских. Последние въехали в толпу демонстрантов, которые начали разбегаться, чтобы не попасть в руки полиции. Я подобрал с земли куртку, бросился в длинный переулок и побежал. Свернув в конце направо, я ударился лбом обо что-то твердое и упал на землю.

Я не знаю, как долго там пролежал, но мне кто-то помог подняться, и я увидел, что это был иранец.

— Что с тобой случилось? — спросил он.

Я не мог вспомнить.

— Твое лицо и руки обожжены, и одежда тоже обгорела.

Я еще не был в состоянии говорить.

— У тебя здесь есть семья? Жена? Дети?

Мне жгло глаза, а по щекам текли слезы. Его вопрос тронул меня за живое и заставил прийти в себя. Ком в горле мешал ответить.

— Где ты ночуешь? — спросил он.

Я спал в дешевом общежитии за пределами города, где нельзя было появляться раньше десяти вечера и оставаться после шести утра. Ночи я проводил в одном помещении с турецкими сезонными рабочими. Спал я на полу и платил за это по три доллара за ночь.

Мужчина отвел меня в кафе, где я поведал ему часть своей истории.

Он был хирургом по образованию и когда-то служил в армии. Он намекнул, что был активным участником того же подпольного движения, что и я.

— Ты выглядишь нездоровым, — сказал он обеспокоенно. — Пойдем со мной. Там тебе будет лучше.

— Где ты живешь? — спросил я.

— Одна пожилая пара сдала мне дом, им он слишком дорого обходится. Они — иранские армяне, собираются уехать в Америку, но их документы еще не готовы. В этом доме, помимо меня, живут еще трое. Нелегально. Мы можем заходить только после того, как стемнеет. Утром, если нет никаких дел, мы можем оставаться внутри. Они милые люди. Женщина готовит. Мы платим по семь долларов с человека в день и можем есть вместе с ними. Один из постояльцев уехал. Ты можешь занять его место.

Это было странное предложение, а я вообще-то никому не мог доверять, но терять уже было нечего. Я больше не мог выносить одиночество.

Эту покосившуюся развалюху едва ли можно было назвать домом. Но это было неважно, лишь бы там было место, где я мог присесть.

В очень темном коридоре мне в нос ударил знакомый аромат иранской кухни. Я почувствовал запах свежего хлеба и услышал шепот на персидском языке. Это были по-матерински нежные слова:

– Проходи, сынок. Ах, что произошло с твоим лицом?

Я не хотел огорчать ее новостями об инциденте, произошедшем перед полицейским участком, поэтому просто поприветствовал ее:

– Салам, какой у вас милый дом.

Комната была обставлена просто, было тепло и уютно и пахло домом.

Чай был уже готов, что-то болтал маленький телевизор, а из динамика красного магнитофона раздавалась песня на персидском языке. Трое мужчин, сидя на полу, читали и играли в шахматы, увидев меня, они поднялись. Я не знаю почему, но в этот момент я рухнул на пол.

Мужчины помогли мне встать, отвели в ванную, засунули меня в большой медный чан, в такой, какой используется в хаммаме, и начали обливать теплой водой. Они помыли меня, будто я был их братом, дали мне чистую одежду и позволили занять место рядом с печкой, где пожилая женщина поставила передо мной круглый поднос с мисочкой супа и куском теплого хлеба.

– Хорошо, что твоя семья не видит тебя в таком состоянии. У тебя есть жена и дети?

Я поведал ей о своей семье и о том, как я здесь оказался.

– Твоя жена знает, что ты сейчас в Турции?

– Я послал ей открытку с надписью “Привет из Стамбула”. Не знаю, получила ли она ее.

Целую неделю я не покидал дом и получал вкуснейшие горячие супы из заботливых рук иранки. Я пил чай, смотрел телевизор, читал старые газеты, играл в шахматы, проигрывал, проигрывал каждый раз. До тех пор пока не начал выигрывать и не обыграл всех в той уютной комнате.

Однажды ночью я тайком выбрался на улицу, чтобы прогуляться и подумать о том, что мне делать дальше. В одном переулке меня остановил полицейский. Он прижал меня к фонарному столбу и произнес:

– Я знаю, где ты живешь. Гони деньги или я тебя арестую.

Я всунул ему в руку купюру. В свете фонаря он увидел, что это была десятидолларовая бумажка. Он сильно ударил меня кулаком в плечо и сказал:

– Это за твою сестру, давай еще!

У меня в карманах было немного мелочи. Остальное – в воротнике моей куртки. Если бы он об этом узнал, я бы и того лишился.

– У меня больше нет ничего, – попытался я его убедить.

Он ударил меня еще раз и, схватив за шиворот, потащил к полицейской машине, которая стояла на улице под деревьями. Мне никто не смог бы помочь, если бы меня арестовали.

– Подожди, – проговорил я и вытащил две последние банкноты.

– У тебя неделя. Не уедешь, вернусь. Ты понял?

– Понял.

Я достаточно скитался, ждать было бессмысленно, и я решил выкинуть Москву из головы. Неделя отдыха и хорошего питания придала мне сил и помогла принять решение.

Мне нужно было, чтобы меня, как это уже произошло с тысячами других беженцев, нелегально вывезли из страны.

Для этого мне требовались деньги. Родственник пожилой пары, у которой я жил, помог мне связаться с женой, и она переслала мне несколько тысяч долларов через одну иранскую фирму, находившуюся в Стамбуле.

Все нелегальные беженцы искали контрабандистов, которые могли бы переправить их через границу. Из сотен человек, занимавшихся этим делом, ни один не заслуживал доверия, но выбора не было.

Закон джунглей гласит, что выживает сильнейший. Если ты платил высокую цену, то тебя отправляли в лучшие места в мире.

За десять тысяч долларов контрабандисты могли в течение недели доставить тебя в Нью-Йорк.

За девять тысяч долларов можно было через три дня попасть в Лондон.

За восемь тысяч – оказаться через три дня в Париже.

Берлин стоил семь тысяч, Стокгольм – пять, Осло – четыре, а Копенгаген – три.

У кого была всего пара тысяч долларов, тот мог рассчитывать только на Нидерланды.

В Нидерланды никто не хотел. Никто точно не знал, где находится эта страна. Слово “Нидерланды” звучало подозрительно, туда ехать отговаривали: “Не стоит этого делать, это

пустая трата денег. Язык очень сложный и страна малюсенькая. Забудь это место, там каждый день идет дождь и постоянно дует ветер".

После того как я расплатился с долгами, у меня осталось ровно две тысячи семьсот пятьдесят долларов. На эти деньги я также собирался купить костюм, рубашку и пару ботинок. Несколько сотен долларов мне нужно было приберечь на случай крайней необходимости. Контрабандисты, занимавшиеся отправкой людей, любили круглые числа, для них у меня оставалось как раз две тысячи долларов.

У них не было офиса, и они всегда пользовались псевдонимами, их звали, например, Атильджан, Айаз, Саффет, Йахйа. Их деятельность покрывали полицейские.

Было одно кафе, где можно было найти контрабандистов. Потенциальный клиент должен был сесть за столик, стоявший на улице под деревом. В кафе сидели люди, которые за тобой наблюдали, если ты выбирал тот столик. Если ты внушал доверие, они подсылали к тебе одного из помощников, который садился рядом и предлагал закурить. Таким образом завязывался разговор.

– Сколько у тебя денег?

– Две тысячи долларов.

Помощник сплюнул в сторону дерева и отошел. Я не стоил их усилий. Я посидел еще пятнадцать минут.

Молодой человек, мой ровесник, по острому взгляду которого было понятно, что он не является помощником, сел рядом со мной и сказал на смеси турецкого и английского:

– С двумя тысячами долларов ты никуда не попадешь.

Он тоже предложил мне сигарету.

– Это все, что у меня есть.

Он посмотрел мне прямо в глаза, испытывая меня взглядом, и сразу понял, что я не вру.

– Поехали со мной, – сказал он.

Мы петляли по улочкам на его мотоцикле, он хотел убедиться, что за нами никто не следует. Он остановился у убогой забегаловки на окраине города и заказал еду для нас обоих.

– У тебя есть дети? – спросил он дружелюбно.

– Да, дочка.

– У меня тоже есть, и тоже дочка, – улыбнулся он.

У него было приятное лицо, темные вьющиеся волосы, карие глаза.

– Где твои жена и дочь?

– Дома, в Иране.

– Разумно, такие поездки не для них.

Когда мы поели, он протянул мне лист бумаги и сказал:

— Запиши адрес, где ты живешь. С завтрашнего дня ты вечерами не выходишь из дома. Деньги держи наготове. Никакого багажа. Рот на замке.

Я написал адрес, он засунул бумажку в карман, расплатился и уехал. Я пошел пешком домой.

Пятнадцать вечеров и пятнадцать длинных ночей я тщетно ждал его. Может, я предложил ему недостаточно денег? Или он мне все-таки не доверял? Обстановка была все еще небезопасной?

У него не было передо мной никаких обязательств. Возможно, он встретил более подходящих клиентов. К счастью, у меня еще были мои деньги. Я знал многих, кто заплатил контрабандисту вперед и так его больше никогда и не увидел. Были и такие, которые отдавали по десять тысяч долларов, думая, что летят в Америку, а потом их самолет приземлялся в другом турецком городе. В глубине души я верил, что мой контрабандист меня не подведет.

Я оказался прав. На шестнадцатую ночь он за мной приехал. Мужчины, с которыми я делил крышу над головой, и хозяева дома пожелали мне удачи. Я обнял каждого и поцеловал женщину. Выйдя на улицу, я пошел вслед за контрабандистом к мотоциклу, который был припаркован под деревом, и сел сзади. Он ехал за город, туда, где начинались поля. В пустынном месте он остановился и потребовал отдать ему деньги.

Что мне оставалось делать?

Я вытащил конверт из-за пазухи.

В свете фары мотоцикла он пересчитал купюры. Две тысячи долларов. Он засунул конверт во внутренний карман куртки. Теперь он мог бы уехать и бросить меня одного. Он этого не сделал. Мы еще пятнадцать минут ехали по извилистой дороге. Впереди я увидел очертания большого грузовика.

Контрабандист остановился у машины. Шофер вылез из кабины, чтобы открыть дверь прицепа. Он хлопнул меня по плечу и сказал по-деловому: “Iyi sanslar, удачи!”

Я залез внутрь и начал пробираться между грузовыми поддонами, чтобы сесть подальше от выхода. Мой провожатый уехал. Красный огонек его мотоцикла медленно удалялся в ночи, пока не исчез. Грузовик тронулся, прошло некоторое время, прежде чем я услышал голоса других попутчиков, прятавшихся среди поддонов с грузом. Вместе со мной ехало еще шесть или семь мужчин. Никто не знал, что уготовила им жизнь.

12. *Порядок в хаосе*

Я только что был в гостях у одного сирийского друга по имени Салех бин Ахамд, он писатель, примерно моего возраста. Живет один. Целый день он сидит дома и пишет рассказы на арабском языке. Мы познакомились, когда он однажды зашел в мой магазин. После короткого разговора на ломаном нидерландском он ушел.

Постепенно он стал задерживаться у меня все дольше, при этом продолжал говорить, даже если заходил клиент.

Потом он начал ходить по городу со складным стульчиком. Иногда он ставил его перед моим магазином и часами молча сидел и курил.

Мне это не нравилось, но прогнать его я не мог. Даже в том случае, если бы из-за него потерял всех клиентов.

Писатель Салех бин Ахамд оказался вне своего родного языка. Иногда он отсутствовал месяцами, чтобы однажды вновь передо мной появиться. Так недавно он опять неожиданно очутился у меня на пороге. Было раннее утро. У него на спине веревочкой был привязан оранжевый надувной молоток с текстом ВПЕРЕД, ГОЛЛАНДИЯ, ВПЕРЕД!

Я сдул молоток, свернул его и отвел растерянного Салеха домой.

На следующий день я услышал крики, доносившиеся с противоположного берега канала. Там стояла “скорая помощь”. Из-за собравшейся толпы мне не было видно, что произошло. Но я разглядел в руках у полицейского оранжевый надувной молоток. Я побежал туда, но не успел я перебежать, как “скорая помощь” уже уехала.

В писателе Салехе бин Ахамде я вижу себя. Он — моя боль. Он написал горы рукописей на арабском. Когда я пишу у себя на чердаке, я часто думаю о нем.

Сегодня его выписали из психиатрической лечебницы. Я пошел навестить его.

— Мне уже лучше, — сказал Салех. Мне очень хотелось в это верить.

Салех бин Ахамд будит во мне воспоминания о том, как я жил в Стамбуле.

Голландцы часто ездят в Турцию в отпуск. Рассказывают, что там рай и восхищаются таинственными стамбульскими мечетями.

Десятки раз я рассеянно бродил по тем переулкам, мимо исторических мест и молельных домов.

Недавно я прочел книгу одного турецкого писателя о Стамбуле. Это было невероятно. Только прочитав эту книгу, я по-настоящему смог увидеть этот город.

Этот турецкий автор пришел к следующему выводу: “Чтобы получить удовольствие от пребывания в Стамбуле и насладиться виноградниками, деревьями и руинами, нужно прежде всего быть им чужим”.

Долгое время я был чужестранцем в Стамбуле и не видел ни его виноградников, ни деревьев.

И потому я боюсь, что Салех бин Ахамд все еще не видит амстердамских каналов, лодок, церквей и площади Дам.

Я оставил Стамбул позади, забравшись в восемнадцатиколесный грузовик.

Сидя в прицепе, я не имел ни малейшего представления о том, каким маршрутом мы едем. Сейчас я сам часто езжу по Германии и почти уверен, что грузовик по пути в Нидерланды проезжал Дюссельдорф. Должно быть, водителей было двое, потому что за все время дороги у нас было всего три коротких остановки.

Мы сидели за грузовыми поддонами на полу, места прилечь не было. Мы не могли друг друга видеть и должны были вести себя спокойно, так как кислорода было недостаточно. В щель под дверью прицепа проникало мало воздуха, из-за чего мы все время пребывали в полусонном состоянии. Время от времени я слышал, как кто-то говорил, невнятно и вяло.

— Гдеее мыыы, дуууумаееешь?

— Неее знаааа....

Я пытался не заснуть, опасаясь, что задохнусь во сне. Через час сидения на корточках у меня ужасно затекли ноги. Мне во что бы то ни стало нужно было их вытянуть, но для этого не хватало места. Я больше не мог это выносить, мои колени буквально разрывало от боли. Я уперся руками в пол, чтобы снять напряжение. В этом положении я тоже долго не высидел. Я поменял позу и положил голову на пол. Стало получше, но так оказалось сложнее дышать. Преодолевая усталость я пополз между груженых поддонов к двери. У щели я несколько раз глубоко вдохнул. Свежий воздух прогнал боль в ногах и шее.

— Подползите к двери. Иначе вы умрете, — прошептал я по-английски другим.

Поначалу реакции не последовало, но потом я услышал, как они зашевелились.

У меня не получалось разглядеть их в темноте и, несколько раз тихо похлопав ладонью по полу, я сказал:

— Подбирайтесь к щели под дверью и глубоко вдохните.

Когда они почувствовали себя лучше, завязался разговор. Нас было семеро: афганец, иранец, армянин из Сирии, иракец, турецкий курд и два болгарина.

Чтобы убить время, мы коротко, вымученно переговаривались. Английский знали не все.

В нашем воображении мы видели себя вновь гуляющими по Еревану, Дамаску, Курдистану, Исфахану и Багдаду.

Когда фура замедляла ход, мы заползали назад за поддоны с грузом.

По пути дверь в прицепе открывалась трижды. Шоферы молча меняли полное ведро с нечистотами на пустое. Мы не испытывали недостатка в воде и хлебе.

В последний раз, когда дверь разблокировали, внутрь хлынуло море воздуха и водитель начал нас подгонять:

– Acele, çabuk... поторапливайтесь!

Мы не могли встать, потому что слишком долго сидели, не меняя позы. Мы на карачках поползли к двери и встали на ноги, подтянувшись и ухватившись руками за груз на поддонах.

– Acele! Bu sekilde... быстро! В ту сторону! – прокричал шофер.

Согнав нас в темноту, он вновь завел грузовик.

Я понятия не имел, куда делись остальные и где они оказались. Сам я пошел по длинной дороге, которая пролегала вдоль ферм и канав. Я не мог ни на что ориентироваться, потому что здесь не было ни гор, ни холмов, пока вдали не показалась церковная колокольня.

В деревне, в которую я пришел ранним утром, вероятно, еще никогда не было чужаков. Люди смотрели на меня с удивлением. Наверное, я выглядел растерянным. Когда я подошел к колокольне, рядом со мной остановилась полицейская машина. Я поднял руки вверх и крикнул: “Убежище!”

Это слово прошептал нам на ухо один из водителей грузовика.

В полицейском участке меня допросили. Полицейский записал основные события и взял отпечатки пальцев. После этого он доставил меня в центр для беженцев, в бывшую казарму, где не встретишь обычных граждан.

Я оказался в мире, о существовании которого никогда не знал. Несколько сотен мужчин, с бородой и без, они курили и говорили на всевозможных языках; мусульманки в цветастых, длинных юбках; русские женщины в мини; болгарки на последних сроках беременности; монгольские дети на вело-

сипедах; военные беженцы из Сомали; китайские младенцы на руках у юных, маленьких матерей; иранские поэты; боснийские актеры и актрисы; турецкие армяне; повстанцы из Рабочей партии Курдистана; афганские красавицы; преступники; бывшие диверсанты; бывалые генералы; наркоторговцы; проститутки; шпионы; воры; обманщики; мученики; голландские кошки и собаки: здесь все жили вперемешку.

Высоко на дереве сидел ворон, который внимательно следил за всем и каждым.

Меня определили в маленькую комнату, где, кроме меня, спали еще пятеро мужчин на двухъярусных железных кроватях.

Я только прилег и положил руки за голову, как территория вдруг наполнилась воем сирен полицейских машин. Все выбежали наружу. Молодого серба зарезали в душевой. Всех мужчин поставили лицом к стене и сказали держать руки на затылке. Я стоял между боснийцем и иракцем.

Царил хаос. Пока полиция искала преступника, группа беженцев, изнуренных долгосрочной голодовкой, лежала на матрасах в телевизионном зале. Эти мужчины вместе со своими семьями вот уже на протяжении восьми лет жили в лагере, но суд все еще не вынес решения об их статусе.

Люди больше не могли выносить неопределенность и хаос. Они искали контрабандистов, перевозивших людей в Канаду или Америку. День и ночь перед единственной телефонной будкой в лагере стояла длинная очередь. Они звонили родным.

– Продай наш дом, пришли денег.

– Продай нашу машину, пришли денег.

– Пойди к отцу, попроси денег.

– Продай золотые украшения, пришли денег.

Дважды я собирался позвонить жене и сказать: “Зайди к моему отцу и попроси денег”.

Я знал, что он был готов продать дом, чтобы помочь мне, но как только я дозванивался, то клал трубку: я не мог так с ним поступить.

Когда я в третий раз поднял трубку, собираясь набрать номер, по стеклу будки постучали. Группа добровольцев пыталась внести порядок в царивший хаос, организовав уроки нидерландского языка.

Кто-то из них – это была женщина – позвала меня через стекло:

– Там урок нидерландского! Ты пойдешь?

Я положил трубку и решил пойти с ней.

Ворон, каркая, пролетел над лагерем.

13. *Фарс о корове*

Много лет минуло с того моего первого урока, и я за это время прочитал почти все серьезные нидерландские книги, которые мне следовало прочитать.

Иногда, когда мне хочется задержаться на том или ином тексте, я пытаюсь перевести его на персидский. У меня нет читателей, понимающих этот язык, я делаю это для себя.

Недавно я перевел “Фарс о корове” амстердамского драматурга Гербранда Адрианса Бредеро — жемчужину литературы Золотого века.

Это забавная история о коварном, наглом мошеннике и глупом крестьянине. Мошенник украл корову у крестьянина, после чего исхитрился продать скотину ее законному владельцу:

Мне, милый друг и господин,
Сюжет украсить нет причин.
Коль не по вкусу эта пьеса,
Перо мое тому виной,
И в лучшие стихи порой
Изъян, бывает, закрадется.

Не мудро поступает тот,
Кто слабости не признает.
Я написать шедевр старался,
Но, если он совсем плохой,
Прости меня, читатель мой,
Коль фарс мой не удался.

Разумеется, я не мог самостоятельно перевести текст, написанный на амстердамском диалекте семнадцатого века. Мне помог в этом Харри. Он — фотограф и сделал серию портретов амстердамских продавцов и магазинов. По его мнению, историю города лучше всего можно продемонстрировать, показав изменения, произошедшие с его магазинами.

— За прошедшие десять лет многие иммигранты открыли новые магазины. Я уверен, что являюсь свидетелем поворотного момента в истории города. Я только что запечатлел целый ряд ночных магазинов, ресторанов восточной кухни, афганских бакалейных лавок, марокканских пекарен, иранских кафе с кальянами, а еще турецкий хлеб, пахлаву, большие арбузы и много всякой всячины.

Фотографии он продает муниципалитету и редакциям газет.

— Твой магазин отличается от других. Он расположен в особом, историческом, амстердамском здании. И твоя вывеска завершает картину, — говорит Харри.

Он сделал отличную фотографию, на которой я стою перед магазином: “Поставщик кофе Рэфик Фоад”.

Фотографию напечатали в “Амстердамской газете”.

Мы с Харри иногда ходим в бар за углом. Он научил меня пить холодный старый джин. У меня дома в холодильнике всегда стоит бутылка этого напитка. В баре мы с ним каждый раз читали новый отрывок из “Фарса о корове”. Нас связал нидерландский язык.

Периодически он заходит ко мне и спрашивает:

— У тебя еще есть вопросы, Фоад?

Тогда я открываю тетрадь и даю ему прочесть фрагменты моих рассказов. Это отрывки, которые плохо получаются. Харри правит их. Я компенсирую ему потраченное время своим кофе.

Я не знаю из-за кого и почему, но однажды один охранник лагеря беженцев велел мне собрать вещи и следовать за ним. Я решил, что меня хотят выслать из страны. Вместе с двумя другими мужчинами я покорно сел в служебную машину. Охранник ехал по прямой дороге, которая шла параллельно с поросшей зеленью дамбой. Через полчаса он остановился у маленького, одиноко стоявшего дома. Мне вместе с двумя другими мужчинами разрешили пока там пожить. Лагерю нужны были наши кровати для новых беженцев.

Казалось, что неопределенное время мне придется делить жилье с незнакомыми людьми, но спустя неделю они исчезли и больше не вернулись. Я бы не удивился, узнав, что их нелегально переправили в Америку.

Оставшись там в одиночестве, я должен был сделать так, чтобы эти дамбы, дожди, коровы и знание языка помогли мне организовать приезд жены и дочери.

В доме было три маленьких спальни с металлическими кроватями и белыми простынями. В гостиной был коричневый, круглый журнальный столик, купленный на барахолке, и телевизор. Черная кофеварка одиноко стояла в пустой кухне.

Мне нужно было соблюдать осторожность, чтобы дом меня не убил.

Я часто выходил наружу, земля, на котором он стоял, была недавно осушена и пахла рыбой и водорослями. Жить там было необычно. Раньше все, что меня окружало, было старым. Горы, реки, виноградники, ворон с нашего дома, ме-

четь, ковры. Мужчины были седовласы, а женщины носили паранджу. Здесь все было новым и молодым. Даже ворон на фонарном столбе был молод. Я жил в полдере и черпал в этом вдохновение.

В первый месяц мне хватало моего окружения, но потом дела пошли плохо. На родине я боролся, сначала — с шахом, затем — с властью исламского духовенства. Попав в Турцию, я боролся с турецкими полицейскими. В этом полдере было пугающе спокойно. Никто мне не угрожал. Я терял душевное равновесие.

Каждый день я до поздней ночи писал на персидском. Теперь у меня было много свободного времени, покой, безопасность, и все же у меня не получалось написать ничего стоящего. Я чувствовал себя больным, мне становилось душно, когда я начинал писать по-персидски. Я чувствовал себя умирающим писателем и видел, как пески полдера все глубже затягивают меня.

Ты пишешь для того, чтобы поделиться с кем-то, иначе твои собственные слова начинают тебя душить. У меня не было читателя, кроме того, мой драгоценный персидский язык был во власти духовенства. Он стал ядовитым и угнетал меня.

Досада застряла комом в горле, этот ком стал твердым как камень, из-за чего я едва мог дышать.

Только оказавшись в этом доме, я осознал, что мир меняется. Лагерь беженцев был явным симптомом этого, а я, того не зная, стал частью этих перемен.

Какой смысл писать на родном языке, если никто не читает того, что я пишу? Я должен был начать заново и рассказывать иные истории. Истории о тех, кто покинул родной дом и языковую среду, истории о тех, кто прибыл сюда, и о тех, кто стал свидетелем их переезда.

Не время было поддаваться усталости и задыхаться с досады.

Я гулял, наслаждаясь покоем, царившим в полдере, и размышлял.

В начале прошлого века многие восточные писатели ездили в Европу. Некоторые жили по несколько лет в Париже, в числе их иранский писатель Садег Хедаят. Он выучил французский язык и познакомился с современной французской литературой. Вернувшись на родину, он написал свой первый роман на персидском языке.

Хедаят не был единственным, это стало модно на Среднем Востоке. Писатели учили язык тех стран, куда они приез-

жали, и по возвращении на родину привносили серьезные изменения в родную культуру.

Например, Мошир Алдолла. Он перевел на персидский язык Французский гражданский кодекс. Этот перевод позднее лег в основу первой иранской конституции.

Эти интеллектуалы учили французский язык, но еще не случалось, чтобы кто-то писал на языке той страны, в которой он был гостем.

Однажды я увидел по телевизору правительницу, на ее голове была корона. Она сидела на королевском троне и читала длинный текст. Я догадался, что это королева Нидерландов, и продолжал смотреть. Я ни слова не понял из ее речи. Это была вереница звуков. Я подумал: писать на языке этой королевы будет волшебно.

Инстинктивно я потянулся к ручке. Страницу за страницей я писал в тетради сумбурные тексты. К моему удивлению, закончив, я почувствовал себя хорошо. Камень в моем горле исчез.

Я написал двадцать три страницы на нидерландском языке. Там было много настоящих слов, но только я один понимал связь между ними.

Предложения были ломанными, с кучей грамматических ошибок. Я знал, что́ я имею в виду, но другой человек не смог бы в этом разобраться.

Как мне казалось, я написал текст на языке королевы Нидерландов. Чтобы сделать его понятным для других, мне требовался больший запас слов.

Так что я сел на велосипед и отправился в районную библиотеку за книгой.

14. Б*ольшая нидерландская кровать*

На берегу пруда было жарко и безмолвно. Казалось, что солнце, красное и изнуренное своей ежедневной работой, ненадолго задержалось отдохнуть на дальнем крае дюн, после чего исчезло. Гладь воды почти целиком отразила его раскаленный лик. Листья бука, свисавшие над прудом, воспользовались штилем, чтобы еще раз внимательно рассмотреть себя в отражении. Одинокая цапля, стоявшая на одной ноге между широких листьев кувшинок, позабыла, что вышла на охоту за лягушками и, погруженная в свои мысли, пристально смотрела поверх клюва.

Это цитата из одной нидерландской книги, имеющей большое значение для нидерландской литературы. Книга ле-

жала на столе в столовой лагеря беженцев, где Миранда писала дипломную работу.

Миранда проходила там стажировку. Изучала иммигрантскую проблематику. Несколько раз она беседовала со мной на эту тему.

– Присаживайся, – предложила она.

Я взял книгу и пролистал ее:

– Хорошая книга?

– Очень хорошая, написана прекрасным языком, собственно говоря, романтическим.

Я не мог ее прочесть, но запомнил название и имя писателя: "Маленький Йоханнес" Фредерика ван Эдена.

Именно эту книгу я взял в районной библиотеке. К сожалению, она все еще была слишком сложна для меня.

Я отставал от нидерландских писателей моего возраста на тридцать три года. Я должен был писать, не боясь ошибок. Именно благодаря этим сотням, тысячам ошибок мне предстояло выучить язык.

Пока что мне не обязательно было понимать Фредерика ван Эдена, мне нужно было выучить слова, которые он использовал, и придумать, где будет разворачиваться действие моей первой истории на нидерландском языке.

Вот она, читатель.

Один нидерландский бизнесмен открыл магазин в большом складе старой фермы, где раньше хранился урожай картошки.

Ферма располагалась на дороге, по которой на велосипедах или пешком беженцы небольшими группами ежедневно отправлялись в город.

Бизнесмен продавал подержанные вещи: кровати, шкафы, лампы, велосипеды, пылесосы, стиральные машины, вилки, ножи, стулья, радиоприемники, телевизоры и прочую домашнюю утварь.

Это были предметы, которые четверть века назад были очень современными, но теперь вызывали у владельцев желание от них избавиться.

Большинство беженцев были из тех стран, где шла война, таких как Афганистан, Ирак, Сербия, Хорватия и Эфиопия, и они с удовольствием копались в его магазине. Для них вся эта утварь была довольно модной.

Семьи, ожидавшие вида на жительство, откладывали деньги, которые они получали на карманные расходы, одалживали у других беженцев, залезали в свои кубышки, где хранились средства на черный день, и покупали вещи для дома своей мечты. Зачастую им приходилось долго ждать получения жилья, и торговец придумал

решение. Тот, кто совершал крупную покупку, временно мог оставить ее в кладовой, где раньше хранился урожай лука. Так хитроумный коммерсант зарабатывал золотые горы на иностранцах.

Одной из его постоянных клиенток была маленькая, одинокая сомалийка. После трех лет, проведенных в лагере, она получила квартирку в городе, на пятом этаже в старом многоквартирном доме.

Вместе с несколькими мужчинами из лагеря мы решили помочь ей с переездом.

Мы носили ее мебель, зеркала и стулья наверх. С кроватью справиться не получалось. Она застряла на четвертом этаже между перилами и стеной.

Это была двуспальная кровать для двух высоких голландцев. В ней могли спокойно уместиться четыре афганца, иракца, сомалийца или эфиопа. Кровать была оснащена радиоприемником "Philips" с четырьмя колонками по бокам. Кроме того, у нее имелся рычаг, за который можно было поднимать и опускать матрас во время просмотра телевизора.

Необычные звуки на лестнице привлекли внимание голландских соседей. Они любовались кроватью. Один из них прибежал к нам на помощь с ящиком инструментов. Он разобрал кровать, и мы занесли ее по частям наверх. К сожалению, все усилия были потрачены впустую, потому что спальня сомалийки была слишком мала для этой кровати. Пришлось собрать кровать в гостиной. Мы поставили ее у окна, будто кушетку в сомалийском саду. Мы все присели на нее в ожидании чая, который нам предложила хозяйка. Хитроумный приемник, к сожалению, оказался сломан, поэтому нам пришлось ждать без музыки.

— Откуда у тебя этот антиквариат? — спросил голландский сосед.

— Это не антиквариат, я заплатила за нее семьсот гульденов, — ответила сомалийка.

— Семьсот гульденов за это? Тебе лучше было отправиться в "ИКЕА". За сто пятьдесят гульденов ты бы купила подходящую кровать и радиоприемник в придачу.

Голландский сосед хотел как лучше, но он не понимал: та кровать, на которой он сидел, была той самой кроватью, на которой сомалийка на протяжении долгих лет спала в своих мечтах.

Я написал рассказ, полный ошибок, на тему взаимоотношений иммигрантов с голландцами.

На следующий день я пригласил Миранду к себе домой. День выдался неожиданно солнечным. Я поставил ей стул в саду и в качестве угощения предложил свежие финики с чаем.

– Как славно, – сказала Миранда, пока она, попивая чай и надкусив финик, нежилась с закрытыми глазами на солнце.

Я точно не понял, что ей понравилось: солнце, чай или финики.

Она подобрала подол юбки, оголив ноги чуть выше колен, пока я читал ей вслух свой текст.

Она слушала и исправляла меня: слово за словом, предложение за предложением.

К концу дня ее ноги немного покраснели от солнца. Она открыла глаза и сказала:

– Ты написал интересную статью, да к тому же еще и на голландском языке.

Обнадеженный ее комментарием, я сел вечером на велосипед и отправился в городскую газету. На третьем этаже, где находилась редакция, горел свет.

Как я мог объяснить на своем ломаном нидерландском всем этим охранникам, секретарям и стажерам, зачем мне нужно в редакцию?

Тогда я поднял с земли камешек и бросил его в окно. Реакции не последовало. Я бросил еще один. Какой-то мужчина обернулся, но тут же возвратился к работе. После третьего камешка он все же посмотрел на улицу. Я помахал своим текстом. Он открыл окно.

– Что случилось? – прокричал мужчина.

– У меня есть текст.

– Что ты сказал?

– Рассказ, – крикнул я.

Он дал мне жестом понять, что сейчас выйдет.

В свете уличного фонаря он прочитал мою историю.

– Я подумаю, что с этим делать, – сказал он и записал мое имя и адрес.

На следующий день мое произведение было напечатано в газете.

Мой первый рассказ на нидерландском языке был опубликован.

Под моим собственным именем.

15. “*Busselinck & Waterman*”

Здесь на нашей улице, на канале Лаурирграхт, стоит большое здание: это кофейная компания “Busselinck & Waterman”. Она уже на протяжении четырехсот лет торгует кофе, и, хо-

тя я не представляю угрозы для этой фирмы, она отравляет мне жизнь.

На кофейной бирже сотрудники "Busselinck & Waterman" ведут себя почти грубо. Они делают вид, будто я не существую.

Один из них был одержим восточными женщинами. Каждый раз при нашей встрече он отпускал безвкусные шуточки.

"А душ мусульманки в чадре принимают?"

"Милые дамочки с одеялом на голове".

"Везунчик. Тебя сейчас дома на столе еда ждет, а мне все время приходится надевать передник и готовить для жены".

Несмотря на то что в ответ я всегда лишь вяло улыбался, он все продолжал шутить. До прошлой недели. Это был последний раз, когда он попытался "схохмить".

На бирже он вошел в лифт, в котором уже находился я.

– Ты, должно быть, уезжал?

– Да, в Германию, – ответил я.

– Когда твоя жена стоит за прилавком, выручка увеличивается. Кофе, который она продает, вкуснее, – сказал он с ухмылкой.

Возможно, он сказал это без злого умысла, но для меня это стало последней каплей. Кровь прилила к моему лицу. Я потерял самообладание и, подбоченившись одной рукой, и угрожающе выставив вверх указательный палец другой, прокричал:

– Саул, Саул, Саул, я грущу, как Давид я сбегу, но дворянином стану, но тебе не прощу, что ты, тиран, мне дал беду, беду, беду, беду!

Он не знал, как быстрее ему выбраться из лифта.

В общем-то, не произошло ничего особенного, я всего лишь, слегка изменив и переставив слова, продекламировал отрывок "Вильхельмуса" – гимна Нидерландов, – тот куплет, в котором Вильгельм Оранский, находившийся в изгнании, сетовал на судьбу:

Как Давид <...> спасся
От Саула-тирана:
Так и я от Саула сбежал
И дворяне со мною:
Но Бог, но Бог
От беды избавить смог
И Царство <...>
В Израиле пребольшое.

По нидерландским меркам я, пожалуй, успешный коммерсант, иначе ни один банк не дал бы мне кредит, благода-

ря которому я смог приобрести это маленькое здание. И все-таки с самого начала я знал, что в качестве поставщика кофе я не нужен Нидерландам. Это всего лишь промежуточный шаг.

Компания по продаже кофе "Busselinck & Waterman" недавно устроила большой праздник по случаю четырехсотлетнего юбилея со дня основания. Были приглашены все амстердамские поставщики кофе, кроме меня.

Я видел, как мои расфуфыренные конкуренты вместе со своими супругами идут на праздник. Я разинул рот от удивления, когда мимо моего магазина прошла королева. На ней была потрясающая оранжевая шляпа, она бросила беглый взгляд на витрину моего магазина и проследовала дальше, в сторону "Busselinck & Waterman".

В моем магазине лежит стопка рукописей, но мне не удалось издать ни одного романа в Нидерландах. Поэтому я все еще занимаюсь продажей кофе.

Некоторые из произведений имеют такое же большое значение, как "Макс Хавелар". Я перечитал этот шедевр Мультатули, потому что искал в нем упоминание о каком-нибудь вороне.

Мне наплевать, как ко мне относятся работники "Busselinck & Waterman".

Я жду того дня, когда тот самый неприятный сотрудник положит на стол своего начальника мою только что опубликованную книгу.

– Что это? – спросит тот.

– Дебютный роман того иранца! Что в доме 37 на канале Лаурирграхт.

16. *Принсенграхт, 263*

Мой отец никогда не плакал. Когда ему было грустно, он шел в храм безымянного святого. Там он преклонял колени, тихонько стукал камешком по надгробию, говорил со святым и, почувствовав себя лучше, отправлялся домой.

В Амстердаме нет могилы такого святого, поэтому вместо этого я прихожу к дому 263 на канале Принсенграхт, к музею Анны Франк. Я представляю, как смотрю из чердачного окна на каштан, на дерево, о котором Анна Франк в своем дневнике написала:

Наше каштановое дерево все в цвету, снизу доверху, на нем полно листьев, и оно гораздо красивее, чем в прошлом году.

Когда мне грустно, я присаживаюсь неподалеку от этого дома, под старым деревом.

В кроне этого дерева много лет назад птицы свили гнездо, в котором сейчас живет старый ворон. Вороны могут жить до ста лет. По-моему, я единственный, кто знает о его существовании. А он знает меня, и где я работаю. Когда темнеет, он выбирается из гнезда, прыгает на ветку и смотрит, закрылся ли я. Тогда он перелетает канал и приземляется рядом с магазином. Он клюет кусочки старого хлеба, которые я там оставляю, и пьет из мисочки, специально предназначенной для него. Наевшись и напившись, он улетает назад на дерево.

Этот ворон — свидетель, он видел, что произошло за прошедший век в Амстердаме: немецкая оккупация, преследование евреев и появление турок и марокканцев, приехавших в страну в качестве гастарбайтеров.

Анна Франк вдохновляет меня. В невыносимо тяжелое время она решила стать писательницей. Ей не суждено было увидеть, каким успехом пользовалась ее книга, но ее воображение победило насилие.

Сегодня воскресенье, и день выдался солнечным, я вижу, как люди сидят в своих садах под тенью деревьев.

У моего здания нет внутреннего дворика, так же как и балкона. Я больше не мог оставаться на чердаке и отправился в парк Вондела.

Там многолюдно, но меня это не беспокоит. Я прекрасно умею абстрагироваться и концентрироваться на том, что пишу.

Поработав несколько часов, я отправляюсь к Денису, в его кафе на площади, чтобы выкурить с ним сигаретку.

Дениса я знаю со времен моего пребывания в центре приема беженцев. Он был лидером одной подпольной группировки, объединявшей курдских повстанцев, которая боролась в Турции за независимость курдов. Мы с ним старые друзья, братья, наши жены и дочери тоже хорошо ладят друг с другом. Как только Денис меня видит, он вытирает руки тряпкой и выходит наружу с пачкой табаку, чтобы выкурить со мной самокрутку.

Когда я впервые посетил эту площадь, все магазины на ней еще принадлежали голландцам: пивной бар, старая табачная

лавка, несколько сувенирных магазинов, торговавших делфтским фарфором, магазин фототоваров, аптека, маленький, симпатичный книжный магазин и несколько магазинов одежды. Сейчас вы не поверите своим глазам. Бывшие беженцы перекупили все магазины и кафе у голландцев. Если добавить немного воображения, то можно сказать, что из-за дыма от кебабов, которые жарят повара в ресторанчиках ближневосточной кухни, едва можно различить деревья на площади. Я знаю здесь всех владельцев, они покупают у меня кофе.

Денис начал с того, что открыл в районе Амстердам-Оост забегаловку, где продавал шаурму. Он остался владельцем того места, но недавно открыл еще одно на этой площади, и оно пользуется успехом.

– У твоей закусочной отличное расположение здесь на площади, – сказал я ему однажды.

– Да, но я хочу открыть большой, шикарный фастфуд в старом здании, в центре, в красивом месте на канале Херенграхт и продавать там шаурму. А потом еще один, на площади Лейдсеплейн, рядом с театром.

Мы от души посмеялись и продолжали курить.

У Дениса есть дочь по имени Алине, она родилась здесь и учится в Амстердамской академии моды. Курдские женщины по определению красивы, но Алине – амстердамско-курдская девушка, то есть красивая вдвойне.

Она – опора Дениса, она занимается его банковскими делами, заполнением налоговых деклараций и прочими административными вещами.

Если быть честным, все дочери иммигрантов особенные. Они независимы и являются надежной опорой отцов в их делах.

На прошлой неделе Алине предстояло получить диплом и провести свой первый модный показ. Денис позвонил мне:

– Ты с нами пойдешь?

Наши женщины отправились туда раньше. Я надел свою парадную одежду и отправился на площадь за Денисом. Он несколько раз тщательно вымыл руки с мылом, надел новый костюм, повязал галстук и сел в машину.

– От тебя сильно пахнет мясом, – сказал я, когда мы уже отъехали на приличное расстояние.

– Правда?

– Бараниной.

Я остановился у ночного магазина. Денис купил флакон дезодоранта, прыснул немного на свою одежду и голову, провел рукой по волосам и опять сел в машину. Я приоткрыл ок-

на, чтобы проветрить. Мы ехали в академию, словно важные амстердамские господа.

У некоторых девушек иные мечты. Как, например, у Нилу.

На площади также находится афганский магазинчик, в котором можно купить разные продукты с Ближнего и Среднего Востока. Магазин называется “Джамаль”, это семейный бизнес. Отец, мать и жена Джамаля всегда стоят за прилавком магазина.

Его дочь Нилу после школы частенько сидит за кассой. Ей лет четырнадцать.

— Здравствуй, Нилу, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? — спрашиваю я ее, когда вижу.

— Доктором, — отвечает она с улыбкой, желая порадовать своего отца.

На первый взгляд Нилу кажется гадким утенком. Однажды она призналась мне, что хочет стать нидерландской королевой красоты.

Это наш с Нилу секрет, я сохраню его, пока она не станет самой красивой девушкой Нидерландов.

Когда придет время, ворон разнесет эту новость по миру.

17. К*офе*

Хотя я торгую кофейными зернами, сам я кофе пью редко. Я — перс, а персы предпочитают чай. Мы выращиваем самые вкусные сорта чая в мире. Чайный куст мы называем чайной веткой. На самом деле, это деревце, которое не достигает и трех метров в высоту. Листья у него зеленые и сочные. У нас их бережно собирают девушки. Они очищают листик за листиком и выкладывают их на специальную доску сушиться под ласковыми лучами солнца. После того как листья высохли, их отправляют на рынок. Это персидский чай. При заварке его запахом наполняется весь дом, двор и переулок. Все знают, что ты пьешь чай. А также, что ты не один. Чай надо пить с другом, с родными или с любимой. Ты пьешь горький чай, если у тебя умер отец. И если ты стал поставщиком кофе.

Чай — это часть личности любого перса. Стаканчики с чаем присутствуют во всех наших книгах. Почти никогда в наших произведениях не встречается слово “кофе”.

В подсобном помещении у меня стоит самовар. Маленький, золотой, я его купил на блошином рынке на площади Музеумплейн. Он весь день горячий.

Своим первым знакомством с кофе я обязан бабушке по линии отца. Все истории, которые она рассказывала внукам, были об экзотических странах.

В одной из них речь шла о кофе, это было нечто нам неизвестное. Моя бабушка говорила, что первую чашку кофе она выпила в караван-сарае в соседнем с нами Ираке, где она останавливалась по пути в священный город Кербала.

Вместе с двумя старшими сестрами мы целую неделю ехали на верблюдах по пустыне, пока однажды вечером не прибыли в караван-сарай, где мы могли несколько дней отдохнуть. Обессиленные, мы раскатали ковер у стены, сели и вытянули затекшие ноги. Один эфиоп с угольной печкой в руках и корзиной на спине спросил нас, не хотим ли мы выпить кофе. Да, конечно, согласились мы. Эфиоп поджарил зерна кофе, тут же помолол их, приготовил напиток в маленькой кастрюльке и разлил в три чашечки.

Раньше нам еще не доводилось пробовать этот напиток. Покоренные его запахом, цветом и необычным горьковатым вкусом в сочетании со сладостью рафинада у нас во рту, мы насладились первым в нашей жизни кофе и заказали еще по чашечке. Но мы поступили глупо, не подозревая об этом. Мы пили крепкий кофе на голодный желудок, не зная, что это — восстанавливающий силы напиток. Мы, уставшие и хорошо воспитанные, обычно такие спокойные, начали громко разговаривать. Хихикать. Из-за кофе мы поставили в неловкое положение наших мужчин. В Кербале нам пришлось молиться святому имаму Хусейну, чтобы он простил нам наше дурацкое поведение.

История о моем знакомстве с кофе не настолько поэтична, как история моей бабушки.

В тот период, когда я прилагал все усилия, чтобы при помощи ООН переправить в Нидерланды жену и дочь, я получил письмо от муниципалитета, что их переезд невозможен, потому что у меня не было ни вида на жительство, ни работы.

Я не мог ничего сделать, чтобы ускорить получение вида на жительство. Но я мог найти работу.

С помощью Миранды я послал в муниципальные и другие государственные учреждения письма с просьбой о приеме на работу, но меня никто не приглашал на собеседование.

В то время я денно и нощно занимался нидерландским языком.

Я написал новый рассказ. Миранда прочитала его, исправила и отдала мне.

– Хорошо, твой нидерландский становится все лучше.

— Там было много ошибок?

— Да, конечно, — ответила она с улыбкой, — но я их все исправила. Некоторые вещи ты описываешь иначе, чем это делают другие писатели, я не знаю, исправить ли мне их или оставить. Я думаю, что это твой стиль и это на самом деле украшает историю. Подожди-ка.

Она вытащила из рюкзака газетную вырезку:

— Это адрес большой кофейной компании. Им требуется сотрудник в отдел производства. Думаю, у тебя есть шанс.

Это была американо-нидерландская фабрика. Я не ожидал, что они примут меня на работу, но я им все же подошел.

Я работал посменно, ходил вдоль конвейера, контролировал качество кофейных зерен, собирал образцы, тестировал их в лаборатории и заполнял формуляры.

Я был рад этому месту и получал ровно на десять процентов больше минимальной заработной платы.

Руководитель отдела был мной доволен, однако работа была смертельно скучной. Ходить вдоль конвейера и внимательно наблюдать за тем, что там происходит, не доставляло мне особого удовольствия. Мои мысли разбегались во все стороны.

Приходя домой, я сразу же садился писать рассказы. Я посылал тексты Миранде по почте. Она дотошно проверяла их и приносила назад.

Я жаловался ей на то, что время на работе тянется ужасно медленно, и на то, что я, должно быть, тысячу раз за день успеваю посмотреть на большие настенные часы. Однажды вечером я сказал ей:

— Дай мне почитать стихи, Миранда, избавь меня от страданий!

С этого момента она каждый раз приносила мне по несколько новых нидерландских стихотворений.

Я записывал их на маленькой бумажке, умещавшейся в моей ладони. Проходя мимо конвейера, мимо больших печей, в которых обжаривались кофейные зерна, и мимо перемалывающих машин, я, опьяненный ароматом кофе, читал нараспев эти стихи.

Одно стихотворение Гвидо Гезелле заставило меня позабыть о больших настенных часах:

> Все те часы у Вас
> провел я с наслажденьем,
> и ни один из них во мне
> не вызвал сожаленья.

Все лучшие цветы для Вас
собрал в стихотворенья,
и как пчела, при Вас, при Вас,
их мед пил с восхищеньем;
мне час не мил, коль он без Вас.

18. *Дорога*

Прежде чем моя жена и дочь смогли приехать, прошло еще несколько лет. Чтобы обеспечить безопасность жены и дочери в Иране, мы перед моим отъездом для виду оформили развод. Теперь это стало препятствием. Я должен был доказать, что мы не разведены, иначе она не смогла бы приехать.

Я часто спрашивал себя, каково это — уволиться и полностью посвятить себя творчеству. Эту мысль я, как правило, быстро отгонял от себя. Без работы у меня не было бы шансов привезти жену и дочь в Нидерланды.

Я писал, в основном, карандашом, чтобы иметь возможность стирать резинкой ошибки. Компьютеры еще были не так широко распространены, но Миранда купила себе компьютер, чтобы писать диплом. Мои рассказы перекочевали с бумаги на компьютер.

Я не очень хорошо умел готовить, но в благодарность я несколько раз готовил для нее блюда иранской кухни, которые мы ели сидя за компьютером, пока она просматривала мои тексты. Иногда я задерживался у нее, мы выпивали и разговаривали о всякой всячине.

По совету Миранды, я начал посещать лекции по нидерландскому языку и литературе, чтобы получить более глубокие знания.

Я прилежно учился, несмотря на то что был изнурен работой. Я предъявлял к себе такие высокие требования, что это привело к моральному и физическому истощению. Я регулярно засыпал как на работе, так и за партой. А когда ложился в постель, то всю ночь, не смыкая глаз, размышлял о своей несчастной жизни.

Теперь, когда у меня была постоянная работа, я зарабатывал достаточно, чтобы содержать семью. Я продолжал забрасывать ООН письмами и обивать порог муниципалитета с одним и тем же вопросом: когда же я смогу заключить в объятия жену и дочь?

Сотрудники муниципалитета не давали мне никаких гарантий. И все же они не остались равнодушными к моей си-

туации и, без моего ведома, помогали мне. Вместе с адвокатом центра по приему беженцев они помогли оформить мне вид на жительство. Это произошло благодаря моим первым рассказам. Или, может быть, благодаря Миранде. Она скопировала мои тексты и отослала их моему адвокату. "Раньше в моих снах мчались поезда. Они были причиной многих кошмаров. Теперь в моих снах появились самолеты. Они приземляются, потом взлетают. На них ко мне летят пассажиры. Доставив их, пустые самолеты улетают назад".

Я до сих пор отчетливо помню те чувства, которые испытал, читая письмо о том, что мне наконец дали постоянный вид на жительство.

Моя дочь подросла, и моя жена также изменилась, она уже не была той девушкой, которая спасла меня у американского посольства.

Сначала было невероятно здорово. Мы жили в доме, расположенном у дамбы. Но постепенно я начал замечать, что сложные годы, проведенные в Иране, и мой побег стали для жены очень тяжелым испытанием.

Когда мы жили в Иране, моя политическая деятельность и ее последствия превратили ее жизнь в ад. Она хотела покоя, она хотела семью, но я не мог ей этого дать. Мы медленно отдалялись друг от друга. Мое бегство из страны изменило ситуацию. Теперь, воссоединившись здесь, мы думали, что оставили прошлое позади. Но именно сейчас, в покое полдера, нас настигло это прошлое. Помимо этого, пережитые скитания полностью изменили меня.

Я делал все, чтобы им было приятно находиться дома, но это было непростой задачей. В свое время между нами пролегла трещина, и за период разлуки она лишь увеличилась. Мне хотелось побыть одному, посвятить себя творчеству, иметь собственный круг общения, но после их приезда это стало невозможно. Я должен был работать, при этом еще учиться, и к тому же находить время, чтобы писать. Я стал раздражительным, начал остро реагировать на любую критику со стороны жены и ссориться по пустякам.

Таким она меня раньше не видела. Она заподозрила, что я встречаюсь с другой женщиной. Она спросила меня об этом, но я все отрицал.

Я не мог уйти от жены и ребенка, да и не хотел этого. Я должен был вновь научиться поддерживать равновесие в семье, чтобы иметь возможность заниматься творчеством, и чувствовал, что время утекает сквозь пальцы.

Однажды вечером я шел со станции домой, и несколько раз меня окликнула Миранда. Она ехала позади на велосипеде, но я настолько был погружен в собственные мысли, что не слышал и не видел ее. Все еще сидя на велосипеде, она положила руку мне на плечо:

– Ты о чем задумался?

Я вздрогнул от неожиданности.

– Тебя подвезти?

Да, я хотел сесть на багажник ее велосипеда, но не сделал этого. Это место, позади нее, не было предназначено для меня.

– Я хочу смотреть, как ты будешь ехать на велосипеде, пока дождь не смоет твой силуэт, – сказал я.

Миранда поехала дальше, махнула мне и исчезла за пеленой дождя.

19. *Старые товарищи*

Вчера ко мне заходили Морад, Фарида и Самад, мы собирались пойти на площадь Дам на митинг против иранского режима.

Всех троих я знал еще с тех пор, как был студентом в Тегеране. Их тогда арестовали, и они не смогли закончить образование. Они бежали из страны на несколько лет раньше меня и, так же как я, случайно оказались в Нидерландах.

Морад получил диплом в Неймегене, теперь он руководит проектами Нидерландских железных дорог. Самад закончил Роттердамский университет имени Эразма и стал кардиохирургом, он пользуется всеобщим уважением и является одним из ведущих специалистов в своей области.

– Ты – иранский лекарь, восстанавливающий разбитые голландские сердца, – шутим мы над ним.

Фарида стала терапевтом, у нее частный врачебный кабинет в Гааге. Я знал ее, когда она еще была студенткой первого курса Тегеранского университета, ее черные волосы восхитительными волнами спадали на плечи.

– Ты стала блондинкой, Фарида, где твои темные локоны, – подтруниваю я над ней.

– Оставила дома у отца, – отвечает она.

Она всегда с энтузиазмом отзывается о своих пациентах:

– Мои больные представляют сто тридцать пять различных культур, и все они говорят по-голландски. Это удивительно, каждый день я узнаю что-то новое. Я многому учусь благодаря этому.

Я испытываю чувство гордости за моих старых товарищей, они знают, что я пишу, и порой я немного рассказываю им об этом. Я не религиозен и не суеверен, но все же боюсь, что мои книги могут растаять в воздухе, если я буду их с кем-нибудь обсуждать.

Я оставил свой дом и могилы родных, не для того чтобы до конца жизни продавать кофе в доме 37 на канале Лаурирграхт.

Я уже рассказывал, что у меня в магазине лежит стопка рукописей и что мне до сих пор не удалось их издать?

Уже на протяжении многих лет я рассылаю их по различным издательствам, но каждый раз получаю один и тот же ответ: “Вы написали интересное произведение, но оно нам не подходит”.

Я терпелив, мое время еще придет.

Свои рукописи я храню здесь же, в кладовой, в шкафу между тюками с кофе, и терпеливо жду, так же как ждут мои слова и предложения. Я терпеливо жду, так же как старый персидский шах, который в начале прошлого века посетил Амстердам и написал об этом в дневнике. Я позаимствовал воспоминания этого шаха для одного своего произведения.

Он пишет:

Амстердам — красивый город, там чистые улицы, дома нагромождены друг на друга, словно коробки из-под печенья, кажется, будто город построен детьми. Король Нидерландов болен, у него есть маленькая дочь. Когда он умрет, она станет его наследницей. Если бы такое было возможно у нас, то нашим преемником была бы названа наша дочь Тадж Олсултан.

Мы ехали в каретах по городу. На улицах вдоль проезжей части стояло очень много людей, которые пришли посмотреть на нас. Мы видели много красивых женщин, по-моему, в этой стране нет некрасивых женщин.

Люди еще ни разу не видели перса, уж не говоря о персидском шахе. Они толкались, пытаясь протиснуться поближе к проезжей части, махали нам, а некоторые дамы даже посылали нам воздушные поцелуи. Мы испытывали из-за этого чувство неловкости, но нам было приятно.

Мы остановились в замечательной гостинице на берегу канала, она была очень чистой, и мы там хорошо выспались. Эти голландцы — цивилизованные люди.

20. *Мечта*

Сегодня целый день идет проливной дождь, в магазине не было почти ни одного клиента. Я пытаюсь описать дождь в письме иранскому товарищу, оставшемуся на родине. Но у меня нет подходящих слов. Поэтому я перевожу на персидский стихотворение Я. К. Блума. Потому что только настоящий нидерландский поэт может описать эту погоду:

Ноябрь пришел, а с ним ненастье,
Вновь осень, ливень день-деньской,
И сердце, что боится грусти,
Сжимает болью и тоской.
Всегда ноябрь,
Всегда боязнь и грусть.

Закончив письмо, я, пользуясь отсутствием клиентов, продолжаю свой рассказ.

Я точно не знаю, сколько прошло времени с того момента, как наша семья воссоединилась, но вскоре мне вновь начали сниться кошмары. Меня больше ничего не радовало, и я стал раздражительным. Писать тоже больше не получалось, у меня болели глаза и голова, я стал агрессивным.

Выяснения отношений дома проходили все более бурно. Я чувствовал, что теряю контроль над собой. Однажды вечером чуть не дошло до драки. Я ушел, хлопнув дверью.

На улице было холодно, лужи подмерзли, я пошел к дамбе. Меня остановили двое полицейских на мотоциклах.

– Что ты тут делаешь среди ночи? – спросил один из них.

– Я гуляю.

– Неподходящее время для прогулок. Иди-ка ты домой, – сказал другой дружелюбно.

– Я не хочу домой, – ответил я.

– Почему?

– Я боюсь.

– Чего ты боишься?

– Своих рук.

– Почему ты боишься своих рук?

Я промолчал. Свет от его карманного фонаря упал мне на лицо. Первый полицейский что-то передал в участок по пейджерной связи. Оказалось, что он попросил прислать полицейскую машину, чтобы доставить меня в пункт Армии спасения.

В большом зале было полно бродяг. Ночь обещала быть холодной, и потому там поставили дополнительные кровати.

Я ночевал там целую неделю.

Казалось, что Армия спасения — это последнее пристанище для таких, как я. Я бесконечно уважаю тех, кто там работает, это достойные люди, они предоставили мне возможность подумать. Я был в состоянии содержать семью, работать, учиться, заниматься творчеством и осмысливать прошлое, мне нужно было только найти иной подход. На седьмой день я уже знал, что мне делать.

Я подал заявление об уходе с работы.

— Почему? — спросил начальник производства. — Если ты останешься, я устрою тебя на лучшую должность.

— Нет, спасибо, мое будущее связано с другим.

Я попрощался с ним и отправился дальше в кабинет американского представителя. Обычно простым сотрудникам нельзя было заходить в руководящий отдел. Если возникала такая необходимость, то проблему нужно было решать с непосредственным начальником. Но я уже больше там не работал.

— Come in! — сказал американец.

Он был моим ровесником и уже однажды сталкивался со мной в отделе производства.

— Что я могу для тебя сделать? — спросил он по-английски.

Я сообщил ему, что уволился, и сказал:

— Вы бы не могли позволить мне время от времени делать закупки в отделе отбракованной продукции?

— Отбракованной продукции? — спросил он с удивлением.

— У меня есть идея.

— Идея, связанная с отбракованной продукцией?

— Нет, с мечтой о нидерландской литературе.

— What are you talking about? — сказал он с улыбкой.

Я поделился с ним своими планами на будущее.

Американец помог мне осуществить то, что казалось нереальным. По опыту я знал, что во время проверки часть кофейных зерен отбраковывалась. Такой продукт не мог напрямую поступить в широкую продажу. Зачастую с таким кофе все было в порядке, но всегда существовал риск, что его качество было ниже принятых стандартов. В этом случае кофейные зерна попадали на склад "отбракованной продукции" и продавались по заниженной цене частным поставщикам.

У меня на родине подобные товары мелкие торговцы сбывали в сельской местности. В Нидерландах такие продукты

попадают на рынки. Там можно купить в полцены шампуни, мыло, духи и зубную пасту известных марок.

Так было и с кофе. Я знал, что с ним все в порядке. Кофейные зерна, получавшие при обжарке чуть более темный оттенок, придавали особый аромат и делали напиток вкуснее и насыщеннее, чем обычно. Критерии отбора соответствовали американским стандартам. У американцев свои требования к кофе, в который они добавляют много карамели, шоколада и сахара, так что от оригинального вкуса ничего не остается.

Отбракованные кофейные зерна я продавал по очень низкой цене арабам, туркам и моим соотечественникам, которые владели ресторанами в Германии.

Я приобрел подержанный фургончик и стал поставщиком кофе.

Я уже не раз говорил и еще раз повторюсь: я люблю жизнь и верю, что жизнь любит меня.

Мои дела пошли в гору, и так как я, в отличие от других поставщиков, имел четкое представление о качестве, то всегда закупал самый лучший отбракованный кофе.

Через несколько лет я завоевал иммигрантский рынок в немецких городах. И даже захватил его часть в Нидерландах.

Спустя семь лет я сумел купить это маленькое здание по адресу Лаурирграхт, 37, на первом этаже которого находится мой магазин, над ним живем мы с женой и дочерью.

В Торговой палате я официально зарегистрирован как поставщик кофе, но не Торговой палате решать, кем мне быть.

Я — писатель! Это моя работа.

Я бы не смог вынести того, что мои товарищи погибли за свои идеалы и лежат в могилах, а я здесь преспокойно торгую отбракованным кофе. Эта работа не стоит того, чтобы ради нее покинуть родной дом. Что скажут мужчины из моего рода, если услышат подобное?

Их отпрыск, сын того самого плотника, который не допускал, чтобы даже голос Америки проникал из радиоприемника в мастерскую, торгует отбракованным американским кофе?

Я бы положил голову на этот прилавок и умер, будь это так — в прошлом или сейчас.

Я годами держался за мечту. Этому научил меня дядя Джалель. Я хотел, чтобы она стала реальностью.

Придет день, когда я устрою маленький праздник в магазине по случаю выхода моей первой нидерландской книги.

Я представляю это так: королева выходит из автомобиля. На ней необычная шляпа. С букетом разноцветных тюльпа-

нов она чинно следует к моему зданию. Я стою на пороге вместе с женой и дочерью и слегка склоняю голову. Ее Величество протягивает мне букет и говорит: “Я прочла вашу книгу”.

После этого остальные мои книги публикуются одна за другой.

У меня есть еще одна честолюбивая мечта.

Никто, кроме ворона, о ней не знает.

Я вынужден ненадолго с вами проститься; мне нужно на кофейную биржу.

Сегодня вечером я расскажу вам, что я задумал.

Когда вернусь.

Америка, 2010

В “Вороне” я процитировал важнейшие тексты нидерландской литературы. Порой я опускал в них несколько слов, а иногда – добавлял. Таким образом, я поместил эти цитаты, как красивые камни, в свой рассказ.

Херман Кох

Прохожий

Рассказ

Перевод Екатерины Торицыной

Бекер завернул за угол и оказался у заграждения. От скуки солдаты переходили с места на место под полуденным солнцем и курили. Двое из них заставили пожилую женщину вытащить все продукты из сумки и разложить их на низком столике, сделанном из нескольких досок поверх козел. Не без любопытства Бекер наблюдал за тем, как овощи проходят тщательный досмотр.

Подойдя ближе, он заметил, что солдаты пихают друг друга в бок и вполголоса гогочут. Не было никакого сомнения, что мишенью для насмешек они избрали внешность Бекера, а именно его лысеющий череп. Он показал удостоверение, после чего их поведение резко изменилось. Дежурный офицер держал удостоверение двумя пальцами и помахивал им из стороны в сторону, как будто Бекер вручил ему раскаленный каштан. Он едва взглянул на вклеенную в удостоверение фотографию и с легким поклоном отдал документ Бекеру. После этого офицер потупился и стал беспомощно блуждать взглядом по моркови, луку и помидорам, которые женщина уже принялась убирать обратно в сумку. Солдаты молчали,

© 2012 Herman Koch
© Екатерина Торицына. Перевод, 2013

постукивали пальцами по магазинам своих автоматов и рассеянно смотрели в сторону.

Бекер пошутил, и все расслабились и с облегчением засмеялись. Один солдат даже держал сумку женщины, пока другой, все еще ухмыляясь, укладывал туда продукты.

Через полчаса Бекер позвонил в дверь по первому адресу. К этой двери ему пришлось подниматься по крутой лестнице на четвертый этаж. На лестничной площадке, прислоненный к мусорным мешкам, стоял детский велосипед. Пластмассовые ручки руля растрепались, и из них торчали белые и красные волокна.

Дверь открыла женщина. Представляясь и показывая удостоверение, он просунул ногу в дверной проем. В гостиной на полу сидел мальчик и играл в кубики и машинки. Бекер присел на корточки рядом с мальчиком и стал восхищаться, как здорово уложены кубики в лабиринт из дорог, перекрестков, тоннелей и гаражей. Мальчик только что закончил писать на длинной, тонкой дощечке слова "парковка на 500 автомобилей" и с гордостью показал ее Бекеру, прежде чем поставить на нужное место.

Он встал, потрепал мальчика по голове и огляделся. Первым делом выдвинул один за другим ящики большого бельевого шкафа и быстро прощупал пальцами сложенное белье. Затем порылся в кухонных шкафах и заглянул в сливной бачок унитаза. Обыскав еще и книжный шкаф, он обнаружил, что улики лежат под промокательной бумагой на письменном столе. Он пролистал бумаги и пихнул их, сложив пополам, во внутренний карман пиджака. Хотя сначала женщина посмотрела на протянутый ей для подписи формуляр о конфискации бумаг с некоторым недоверием, в конце концов она подписала его, не читая.

Она рассказала ему, что хозяин бумаг приходит к ней каждую неделю в один и тот же день. Когда он приходит, то всегда остается у нее ночевать, и она часто лежит в кровати и ждет по несколько часов, пока он сидит допоздна и печатает. Дома, в его собственной комнате с тонкими стенами, стук печатной машинки слишком привлекал бы внимание, говорил он женщине, тем более что он уже два года как не работает. Обычно он приходит к ужину и сразу после еды садится за пишущую машинку. Поначалу она по-своему ценила его общество, но теперь ей уже порядком надоели его визиты, всегда повторяющиеся по заведенному образцу. Он болезненный человек и много кашляет. Иногда он бледнеет как полотно и тогда по несколько минут ходит туда-сюда по комнате, глубо-

ко вздыхая. Он ни разу не проявил ни малейшего интереса к ее сыну. Поэтому ее так тронуло, что он, Бекер, когда пришел, сразу присел перед ее сыном на корточки. Каждый день она живет с неприятным ощущением, что скоро он опять появится у нее перед дверью. Поэтому на предложение Бекера прийти еще раз на следующей неделе она сразу же согласилась.

Чтобы не возбудить подозрений, он положил улики обратно под промокательную бумагу. Последнее время кашель только ухудшился, добавила женщина уже у двери. Она с самого начала понимала, что однажды он может оказаться рядом с ней в кровати мертвым. Она слышала про человека, который вот только что весело смеялся, разливал вино по бокалам и расставлял шахматы, а потом вдруг взял и не встал с кресла.

Бекер еще раз заверил женщину, что вернется на следующей неделе.

На улице было жарко и тихо. Минут через десять он дошел до большой площади. Хотя солнце еще высоко стояло в небе, террасы как будто вымерли. Он вошел в кафе и уселся за столик в самой глубине зала, куда почти не проникал свет с улицы. Он заказал пиво и еду. Официантка перегнулась через стол и поцеловала его в губы.

Когда он закончил есть и пить, она повела его в комнатку над кафе. Бекер отметил про себя, что запах яичницы, которую он только что ел, проник и сюда.

Он повалился на кровать и закурил.

Официантка задернула шторы, разделась и легла к нему. В комнатке теперь стало почти так же темно, как и в кафе внизу. На пустынной площади играл уличный орган. Он вспомнил мальчика, игравшего на полу, кубики и тоннели, сунул руки поглубже в карманы своего пиджака и закрыл глаза.

В тот день он обошел еще три адреса. По первым двум он никого не застал, проник внутрь с помощью отмычки, но ничего стоящего не нашел. По третьему адресу ему повезло больше. Жильцов он застал врасплох. Войдя с улицы, он сначала стоял и хлопал глазами, привыкая к темноте, а потом сразу же увидел на столе мимеограф. На полу, под столом, лежали толстые пачки трафаретной бумаги.

Бекер вызвал машину и между делом стал читать текст, отпечатанный двумя находящимися в комнате жильцами, отцом и сыном. Он посоветовал им первым делом чего-нибудь попить, учитывая, что в следующий раз пить им доведется нескоро. Стоя на кухне, они втроем выпили по стакану ледяно-

го лимонада. Потом Бекер перевязал трафареты бечевкой и отдал их пришедшим за жильцами мужчинам. Один из мужчин, когда входил, опрокинул антикварную масляную лампу. На обоих были короткие куртки из коричневой кожи, и они только смеялись, наступая на осколки своими белыми кедами.

Парк был почти пуст. Несколько детей кидались камнями в плавающих в пруду уток. На пересечении двух посыпанных гравием дорожек на складном стульчике сидел музыкант. Хотя других прохожих не было, он так играл на своем аккордеоне, как будто от этого зависела его жизнь. У его ног лежала перевернутая шляпа, в которой поблескивало несколько монет. Бекер посмотрел на монеты, и у него появилось ощущение, что они лежат там уже не одну тысячу лет.

Да, сказал человек. Нас бросили на произвол судьбы, и поэтому я должен играть здесь на своем аккордеоне. У меня жена больная, ей нужен постоянный уход, кому-то же надо деньги зарабатывать.

У аккордеониста были влажные глаза. Бекер положил в шляпу купюру, но музыкант уже настолько погрузился в игру, что не заметил этого.

Теперь тропинка шла по музейному парку. Он видел гигантские каменные вазы и бюсты, уже подточенные погодой. На краю пруда стоял бронзовый пеликан, крупнее натуральной величины. Бекер положил руку на спину птицы и почувствовал, как по всему телу расходится тепло. Его передернуло. В центре пруда бил фонтан. Капли тихо падали на траву.

В боковую стену музея была вмонтирована мемориальная доска. В этом здании в 19..—19.. годах располагалась служба государственной безопасности, гласила надпись. Бекер направился к центральному фасаду и вошел внутрь.

В музее было еще жарче, чем в парке со скульптурами. Смотрители музея, в своей темно-серой форме, тяжело дышали. Они безучастно смотрели перед собой и медленно кружились вокруг собственной оси, как бумажные кораблики на безветренном пруду. Паркет скрипел под их подошвами.

Бекер прошел вдоль витрин, где были выставлены наконечники стрел, рубила и полуистлевшие поясные ремни. Он нажал на несколько кнопок, отчего на настенной географической карте зажглись места соответствующих археологических находок. Порой он на несколько минут останавливался перед большими, темными картинами, на которых почти ничего не было видно.

Залы постепенно пустели; казалось, в каждом новом зале его шаги звучали все громче. Таким образом. он дошел нако-

нец до флигеля, где уже совсем не было экспонатов. На стенах и на полу были только приколотые кнопками карточки, сообщающие фамилию автора и название произведения.

На одной из обтянутых черной кожей банкеток в центре зала сидела женщина. Она сидела спиной к Бекеру. Он прошел вдоль голых стен, пока не оказался прямо напротив нее.

Тем временем она подняла голову и посмотрела на Бекера. Она улыбнулась. Бекер увидел ее бледное лицо, лишенное, казалось, всех живых красок.

По улице он шел рядом с ней. С другой стороны им навстречу шли шестеро солдат. Солдаты громко кричали и выдергивали растения из цветочных ящиков, поставленных жильцами перед окнами своих домов. За ними оставался причудливый след из комьев земли и разорванных растений.

Женщина рассказала, что в пустом музейном зале должны были выставляться работы ее сына, молодого скульптора. Раз за разом выставку откладывали без объяснения причин. Она видела свой долг в том, чтобы ежедневно приходить в музей и справляться об отложенной выставке. До сих пор смотрители музея только пожимали плечами, многозначительно поднимая взгляд к потолку. Там, на втором этаже, должен был находиться кабинет директора. Но широкая мраморная лестница, ведущая на второй этаж, вот уже несколько недель была перекрыта цепью.

Женщина поднялась на крыльцо и открыла дверь. Она пошла впереди него по темной лестнице, где слегка пахло духами. Они пришли в просторную комнату, вся обстановка которой, казалось, состояла, в основном, из ламп с абажуром. Шторы были задернуты.

Я не выношу резкого дневного света, сказала женщина.

Да, сказал Бекер. Он уже сел в кресло, которое она ему предложила, и закурил.

Женщина осталась стоять. Только сейчас он увидел глубокие морщины у нее на лбу. В свете ламп бледный цвет ее лица казался скорее розоватым.

От света еще можно отгородиться, сказала женщина. Но звуки проникают везде. Она глубоко вздохнула и посмотрела наверх, на потолок.

С верхнего этажа действительно доносились тихие звуки пианино. Бесконечной чередой постоянно повторялся один и тот же мотив. Бекер вспомнил те полупустые, плохо освещенные залы, куда люди приходили послушать музыкальные номера, среди публики иногда оказывался и он сам. Там тоже музыка звучала так, будто звуки движутся в другую сторону,

нежели время, но при этом безо всякой убедительности, безо всякой силы.

Он потушил сигарету и осмотрелся. На стенах висело бесчисленное множество картин. Все это были автопортреты, написанные яркими красками, с несоразмерно увеличенными глазами.

Звуки пианино смолкли. Женщина проводила его до двери. Он легонько прикоснулся к двери и вышел на улицу. После полутемной комнаты город вдруг показался наполненным звуками, но как бы он ни всматривался в улицу справа и слева, ничего не было видно. Только у трамвайной остановки стоял почти пустой трамвай. Хотя в трамвай никто не садился и никто не выходил, он стоял неподвижно, как будто не мог решить, продолжать ли путь.

Несколько дней спустя он встретил ее на торговой улице. Остановившись перед витриной, он без какой-либо цели смотрел внутрь магазина. Она стояла перед прилавком, а продавец протягивал ей покупки. Бекер подождал, пока она выйдет из магазина, и заговорил с ней.

С прошлого раза ее лицо стало еще бледнее, как будто в области шеи кровообращение прерывалось. Ее глаза были теперь такими же большими и круглыми, как на картинах.

Они шли какое-то время рядом, не говоря ни слова. Вдоль тротуара стояла колонна военных грузовиков. Некоторые солдаты, прислонясь к капоту своей машины, крутили самокрутки, другие с громкими криками бегали за футбольным мячом.

Раньше я всегда рассматривала себя в витринах, сказала женщина. Я заметила, что в витринах я выгляжу выгоднее, чем в простых зеркалах. Но теперь, когда на витринах всего становится меньше и меньше, проходить мимо магазинов уже не так приятно.

Они дошли до улицы, где она жила. Теплый ветер дул им в лицо.

Вдруг она взяла его за руку.

У меня на плечах как будто сидит большой черный зверь, сказала она. Можете себе представить? Большой черный зверь. Каждый день я пытаюсь прогнать его, но он не уходит.

Бекер остановился. Она выпустила его руку. Медленно отдаляясь, она в конце концов скрылась из виду на крыльце. Он посмотрел ей вслед, развернулся и пошел назад на торговую улицу.

В следующие дни его деятельность перенеслась в деревни вокруг большого города. Здесь он тоже при необходимости

взламывал двери и не обращал внимания на крики насмерть перепуганных жильцов, когда открывал ящики тяжелых, орехового дерева, сервантов с такой силой, что дребезжали сервизы, и разбивались, падая со шкафов на пол, фарфоровые подсвечники.

Когда работа заканчивалась, он часами бродил по безлюдным дорогам в полях. Крестьяне смотрели на него, привалившись к заборам своих дворов, и плевали в траву пенными струями жевательного табака. Облака низко над горизонтом, говорили они. Завтра должен быть хороший день. Другие показывали на те же облака и говорили, что собирается дождь. А один поковырял землю носком ботинка, шумно вдохнул носом воздух и сказал лишь: гроза...

Так они, вероятно, пытаются перед нами, городскими жителями, найти оправдание своей жизни в деревне, думал Бекер. Притворяясь, будто природа не может устроить им никаких сюрпризов.

И, напротив, на все, что, на их взгляд, не имело к деревне отношения, у крестьян был отличный нюх. Такие слова, как "поэт", "керамистка" или "скульптор" они произносили так, словно речь идет об экзотических растениях, которые на этой почве наверняка зачахнут. При этом они жевали челюстями и, не дожидаясь вопроса, называли имена всех городских жителей, за последнее время сбежавших из города, чтобы начать новую жизнь в деревне.

Среди этих имен было одно, показавшееся Бекеру знакомым. Крестьяне охотно повторили фамилию и даже показали на чуть поодаль стоящий большой сарай, виднеющийся за деревьями.

Несмотря на поздний час, Бекер направился в указанном направлении.

Сарай был из темного просмоленного дерева, весь в дырах и щелях. Большинство окон потрескалось и покрылось толстым слоем грязи и паутины, в которой застряли десятки дохлых мух.

На скамейке за домом он нашел скульптора. Когда Бекер сел рядом, скульптор на него и не взглянул. Так они сидели, уставившись туда, где лужайка с высокой травой спускалась к широкому пруду. Затем Бекер достал из внутреннего кармана пиджака удостоверение и поднес к его лицу.

Они вошли в сарай, служивший, видимо, мастерской. В углу на матрасе из поролона лежал спальник. У изголовья стояли грязные тарелки и стаканы, полные окурков.

Остальное пространство было загромождено бесчисленными скульптурами, тяжелыми ржавыми пластинами и мас-

сивными блоками железа, в которых виднелись глубокие трещины и выщербины. Большая их часть лежала на полу, только где-то что-то закручивалось вверх, как будто придавленное большим грузом.

Бекер посмотрел на скульптора, застывшего со склоненной головой посреди сарая, словно погрузившегося в свои мысли и, казалось, забывшего о его присутствии. Он вспомнил пустой музейный зал и отметил про себя, что собранные в этом сарае скульптуры никогда не выставят ни в одном музее.

Они сели в маленькую лодку, привязанную на берегу. Широкими гребками скульптор вывел лодку на середину пруда. Он говорил немного, а когда говорил, то так тихо, что Бекер едва мог разобрать.

Вот здесь я сижу иногда часами напролет и слушаю звуки из ниоткуда, сказал он. Так на этом месте появились все мои образы. Из ниоткуда они схвачены, в никуда и вернутся.

Бекер перегнулся через борт, а скульптор опустил голову и неподвижно смотрел на дно лодки.

Солнце садилось. Лодка почти остановилась и медленно поворачивалась вокруг своей оси. Весла без дела лежали на поверхности воды.

Так они какое-то время сидели и ничего не говорили. Бекер закурил. Ему мало что оставалось — только наблюдать, как голова скульптора опускается все ниже и ниже.

В город он вернулся уже поздно и зашел в ресторан. На террасе перед рестораном никого не было, кроме шумной группы военных. Они грязно ругались и запускали в канал подставки под пивные кружки.

Когда официант принес заказ, Бекер достал из кармана фотографию и показал ему. Хотя здесь, внутри, все столики были свободны, официант сначала внимательно посмотрел по сторонам, а потом уже наклонил голову к уху Бекера. Так он узнал от официанта, что человек на фотографии действительно живет за несколько улиц отсюда и приходит в ресторан минимум раз в неделю.

Бекер открыл бумажник и положил рядом с тарелкой купюру. Вместо того чтобы сразу убрать купюру в карман, официант опять начал шептать. Он рассказал, что у его соседей сверху часто допоздна горит свет. Никакого шума не слышно, но свет — это же непорядок? Он уже некоторое время к ним присматривается. Может, дней через десять он сможет рассказать еще что-нибудь.

Когда Бекер наклонился над тарелкой, купюры уже не было.

По дороге домой он оказался на улице, на которой еще ни разу не был. Фонари неподвижно висели на проводах, натянутых между домами. Их тусклый свет падал на всякую рухлядь и разорванные мешки для мусора, грудой приваленные к деревьям. Несмотря на теплый вечер, большинство окон были закрыты. Нигде не горел свет.

Из-за припаркованной машины вынырнул подросток и стал угрожать ему ножом. Бекер выбил нож у него из руки. Потом вывернул ему руку за спину. Услышав, что парень тяжело дышит, усилил хватку.

Через какое-то время он отпустил его, поднял нож и дал парню знак следовать за ним. Они шли по району, где расстояние между домами становилось все больше. Участки были огорожены глухими заборами. Из них торчали осколки стекла, как будто за стенами находилось что-то очень ценное, что следует защищать от грабителей.

Мальчик рассказал, что, с тех пор как его уволили с последнего места работы, он бродяжничает. Иногда он использует нож в супермаркетах, перед закрытием, когда почти все кассирши уже ушли домой. Так он удовлетворяет свои жизненные потребности.

У него нет никого, к кому он мог бы пойти, сказал он. Родители умерли, братьев и сестер у него никогда не было.

Они вышли на окраину города. Перед ними расстилалась сортировочная станция. Товарные вагоны бесшумно скользили по многим путям. На противоположной стороне виднелись красные огоньки радиовышки. От нее доносилось тихое жужжание.

Парень повернулся к нему.

У вас есть револьвер? — спросил он.

Ох, сказал Бекер. Он сделал жест рукой.

Они стояли на мосту, перекинутом над станцией. Освещенный поезд проехал под ними и исчез в ночи.

У вас наверняка есть револьвер, сказал парень на этот раз. Они стояли совсем близко друг к другу, облокотившись на перила моста. Бекер увидел много татуировок на его голых руках. Почувствовав тепло, исходящее от его тела, чуть отодвинулся.

Вы бы оказали мне большую услугу, если бы пустили мне пулю в голову.

Да, сказал Бекер. Он хотел уйти, но мальчик схватил его за руку.

Я уже пытался однажды, сказал он тихо, но не решился. Вы должны мне помочь.

Бекер чувствовал на своей руке пальцы парня. Он посмотрел вниз. Там тускло светились рельсы, по которым поезда уезжали в далекие пункты назначения.

Они шли всю оставшуюся ночь. Время от времени парень останавливался, смотрел вокруг и качал головой. В первых утренних лучах они смотрели на трамваи, один за другим выезжающие из депо, чтобы потом разъехаться по городу в разные стороны. Из ворот казармы маршем вышел отряд поющих солдат.

Начинается день, сказал парень. Надо торопиться.

Они прошли мимо офисного здания, подъезд к которому был перегорожен шлагбаумом в красную и белую полоску. Они подлезли под шлагбаум и спустились на подземную парковку. Там не было машин. Где-то в темноте капала вода.

Парень шел впереди него, твердым шагом, как будто знал дорогу. Они дошли до стены, и дальше идти было некуда. У Бекера звенело в ушах. С улицы на парковку не доносилось ни звука.

Парень остановился и обернулся. Бекер посмотрел на его руки, где, как он предполагал, были татуировки, но глаза отказывались приспособиться к окружающей темноте.

Днем он дошел до большой площади. Вошел в кафе и заказал пиво. Официантка села к нему за столик, но Бекер отвернулся.

Он заказал еще пиво. Молча он осушал бокал за бокалом, но пиво не освежало.

На улице у него возникло ощущение, что площадь нахлынула на него, как накатывающая волна. Непроизвольно он закрыл лицо руками. Когда он открыл глаза, площадь уже выглядела пустой, как прежде. Он заметил, что стоит, прижавшись головой к дереву. У него дрожали руки.

Он свернул с площади на улицу и пошел вдоль высокого и черного здания, растянувшегося на всю длину квартала. Над входом висела большая вывеска, на которой были изображены разные яркие рыбы. Он купил билет и спустился по каменной лестнице, ведущей в аквариум.

Внизу было едва ли холоднее, чем на улице. Других посетителей не было. Бекер сложил руки за спиной и спокойным шагом пошел вдоль аквариумов. Глазами он следил за рыбами, скользящими в подсвеченной зеленым светом воде с томностью и медлительностью неспешно тянущегося воскресного вечера.

Посмотри на этих приятных глазу рыб, прошептал он, прижимая лицо к стеклу. На этих тропических праздных гуляк, которые стеклись сюда со всех концов света, чтобы позволить любопытствующей публике насладиться необычностью их форм и расцветок. Давайте будем относиться к их бесполезному и излишнему существованию со всей возможной мягкостью.

Звук шагов на другом конце зала заставил его вздрогнуть. Он увидел служителя в форме, медленно движущегося в его сторону. Он быстро сделал шаг назад. Дождался, пока служитель пройдет мимо, и поспешил к выходу.

Он уселся на скамейку рядом с урной, вокруг которой жужжали осы. У его ног скакало несколько воробьев, несомненно, ожидавших, что он бросит им хлебных крошек или арахиса. На некоторое время он задумался, а нужно ли носить форму в присутствии одних только рыб. У него стучало в висках. Послеполуденная жара застряла в его одежде. Воротник рубашки прилипал к шее.

Еще помедлив, он встал и продолжил путь. Так он дошел до торговой улицы и свернул на ту, где жила мать скульптора. Перед крыльцом теснилась небольшая толпа.

Тут женщина повесилась, сказал кто-то из толпы.

Да, сказал Бекер. Он закурил и спрятал руки в карманы. Люди ненадолго обернулись к нему и снова продолжили разговаривать.

Это вы пианист? — спросил он у человека в длинном, темном плаще, как раз вышедшего на улицу.

Да, правильно, сказал мужчина. Но так как выступать мне больше негде, я теперь играю только дома.

Бекер поднял взгляд на второй этаж.

Шторы и раньше подолгу бывали задернуты, сказал пианист. Вот и не было поначалу повода для беспокойства.

Теперь шторы были широко раздвинуты. На вымытых окнах лежал блеск чистоты, как бывает только в домах, где только что кто-то умер.

Он хотел уже развернуться, когда ему показалось, что он слышит еле различимый, будто очень издалека, звонок телефона. Он не ушел и опять посмотрел вверх. Толпа постепенно расходилась. Вскоре он остался на улице один. Из дома со второго этажа теперь отчетливо доносилась трель телефона.

Это ничего, прошептал Бекер. Кто-то пытается связаться с человеком, которого уже нет. В пустом доме звонит телефон. Ничего не поделаешь.

Спустился вечер. Городской автобус без пассажиров промчался мимо. Низко склонившийся над рулем водитель, по-

видимому, не считал себя связанным ограничениями по скорости в этот поздний час. Поручни, за которые при такой скорости только и могли бы хоть как-то удержаться люди, теперь без дела раскачивались в грязно-желтом свете.

Бекер свернул на темную улицу, где росли только очень тонкие деревья. Недалеко от угла, в стене дома, между кирпичами, была маленькая мемориальная доска. Ветер и дождь стерли большинство букв, прочитать можно было только дату. Прямо под доской, на тротуаре, стоял цветочный горшок с землей, раньше там, наверное, было растение.

Бекер задумался, кто поставил сюда этот горшок в память о событии такого далекого прошлого.

Он вздрогнул от громкого собачьего лая. Обернувшись, он увидел в стоящей рядом машине двух громадных черных собак, и они, пуская слюни и рыча, набрасывались на стекла. Одно из окон было приоткрыто, и, когда Бекер, пересиливая отвращение, подошел ближе, он почувствовал их теплое и зловонное дыхание. Слюна стекала по внутренней стороне стекла.

Пройдя еще несколько улиц, он оказался рядом со школой. Окна были распахнуты, скрученные шторы тихонько шевелились на ветру. На площади перед школой валялось несколько десятков парт и скамеек, судя по всему, выброшенных на тротуар с большой высоты.

Бекер толкнул дверь. Внутрь холла упала бледная полоска света от уличного фонаря. Здесь тоже царил полный разгром. Тетради, книги и школьные портфели были разбросаны по полу, покрытому толстым слоем грязи. На стенах видны были непристойные надписи и рисунки.

Следя за тем, чтобы ботинки не соприкасались с грязью, он осторожно сделал шаг вперед. Прямо ему в лицо взметнулись сотни мух. Он остановился на секунду, крепко сжав губы, будто задерживая дыхание, и тут откуда-то из глубины, из-под пола, до него донесся глухой рокот, словно у здания, уже изрыгнувшего весь свой скарб, при его появлении снова начались рвотные позывы.

Он поспешил уйти из темного холла.

Военный грузовик с потушенными фарами выехал на площадь и остановился. Солдат опустил стекло и спросил что-то, чего Бекер не расслышал. Потом солдат поднес два пальца ко рту и сквозь них втянул в себя воздух. Бекер похлопал себя по карманам. Сначала он показал солдату пачку, а потом протянул ее внутрь кабины.

Они курили молча. Взгляд Бекера скользил по сломанным партам и скамьям, отбрасывающим при свете уличных фона-

рей длинные тени на школьный двор. Из полутемной кабины звучала тихая музыка, смешиваясь с ровным урчанием вхолостую работающего мотора.

Бекер попрощался и направился к ближайшей улице. Дойдя до угла, он обернулся и увидел, что грузовик так и кружит по площади с выключенными фарами.

Он опять был на торговой улице. Почти у всех магазинов были опущены ставни. На одной из немногих освещенных витрин стояли, на изрядном расстоянии друг от друга, десяток мужских ботинок, как будто хозяин магазина надеялся, что так витрина будет выглядеть хоть сколько-нибудь заполненной.

Бекер прижал лицо к стеклу и стал смотреть на ботинки с круглыми мысами и толстыми резиновыми подошвами. Все они были одного цвета и отличались только размером.

На другой стороне улицы послышался пронзительный женский голос. Женщина размахивала сумкой и кричала на мужчину в черном плаще. Мужчина пригнул голову, и женщина ударила его по лицу. Затем они удалились, ласково обнявшись, и исчезли из виду за углом.

Он бесшумно поднялся по лестнице, ведущей к его комнате. Лязгнул ключ в замке. Дверь открылась с трудом, как будто за ней лежала большая собака.

Он подошел к окну и посмотрел на улицу. На другой стороне стоял под крыльцом солдат и курил. Бекер видел, как горящий кончик сигареты то и дело ярко вспыхивает красным.

Было за полночь. Трамваи тянулись мимо длинной процессией по дороге в депо. Свет из пустых вагонов широкими полосами скользил по потолку.

Какой смысл все это видеть, думал Бекер. Какой в этом смысл, если трамваи найдут дорогу в депо безо всякого ночного свидетеля?

В изнеможении он свалился на кровать. Спать не хотелось, но он чувствовал, как тяжелое свинцовое отупение придавливает его к матрасу.

Он проснулся, как от толчка. В комнату падал лунный свет. Он посмотрел на бледное небесное светило, застывшее на ночном небе. Из-за неровностей оконного стекла луна была похожа на проколотый, весь во вмятинах, футбольный мяч в чернильно-черной луже.

Он опять заснул и проснулся только поздно днем от телефонного звонка. Это звонила домработница его матери. Тихим голосом она сообщила, что его мать, уже больше полугода не встававшая с постели, днем умерла.

На такси Бекер приехал в квартиру в спальном районе. Он обратил внимание на то, что домработница его матери, всегда ходившая в простой одежде, теперь надела черное платье с белым передником. Она провела его в спальню, где мать лежала на кровати в пеньюаре. На тумбочке у кровати стояла его фотография в рамке, где он в военной форме. Он наклонился и рассмотрел фотографию повнимательнее. В то время волосы еще падали ему на лоб густыми прядями, и, только хорошо присмотревшись, можно было увидеть тут и там редкие проплешины.

Он тихонько вышел в коридор. Домработница заваривала на кухне кофе и делала бутерброды. Он закрылся в туалете и посмотрелся в зеркало. Череп блестел, и на нем повсюду выступили маленькие капельки.

Домработница сказала, что жаркая погода в последнее время ускорила процесс. Она налила кофе и поставила перед ним тарелку с аккуратно нарезанными квадратиками бутербродов. Она уже начала укладывать стекло и сервизы. На полу стояли картонные коробки, и она заботливо заворачивала каждый предмет в газету и лишь затем убирала его в коробку.

Так в конце концов завернут в газету и уберут все на свете, подумал Бекер.

Посмотрев по сторонам, он почувствовал, будто находится не в доме своей матери, а в приемной врача, и будто его в любой момент могут вызвать, чтобы избавить от нудной зубной боли. Он рассеянно листал журналы и постоянно смотрел на часы.

Через какое-то время он встал и подошел к окну. Площадь, где находилась квартира его матери, высокими однотипными домами и симметричностью всегда напоминала ему казарменный двор. В свете уличных фонарей было видно, как по тротуару в причудливой хореографии движется мужчина, увлекаемый, словно безвольная игрушка, двумя собаками на поводках. Уже совсем стемнело, но, казалось, в квартире стало только жарче.

Пока домработница продолжала, как ни в чем не бывало, укладывать бокалы и блюда, Бекер открывал ящики секретера и рылся в скрепках, резиночках и документах. В углу комнаты стоял комод, доверху набитый украшениями: как великолепными золотыми серьгами, так и совсем пустячными пластмассовыми бусами и браслетами. Он бросил взгляд на шкаф с посудой, но и здесь не увидел ничего, что могло бы надолго задержать его внимание.

Наконец он вернулся в спальню, взял фотографию с тумбочки и сунул ее во внутренний карман пиджака.

Спустя несколько часов Бекер поднимался по крутой лестнице на четвертый этаж в обществе тех же двоих, что и на прошлой неделе. В ожидании, пока откроют дверь, один из них, хихикая, наклонился над детским велосипедом и изобразил губами звук тяжелого мотоцикла.

Женщина впустила их в квартиру. Из кресла за письменным столом поднялся высокий, худой мужчина. Бекер подошел к столу, приподнял пишущую машинку и вытащил бумаги из-под промокашек.

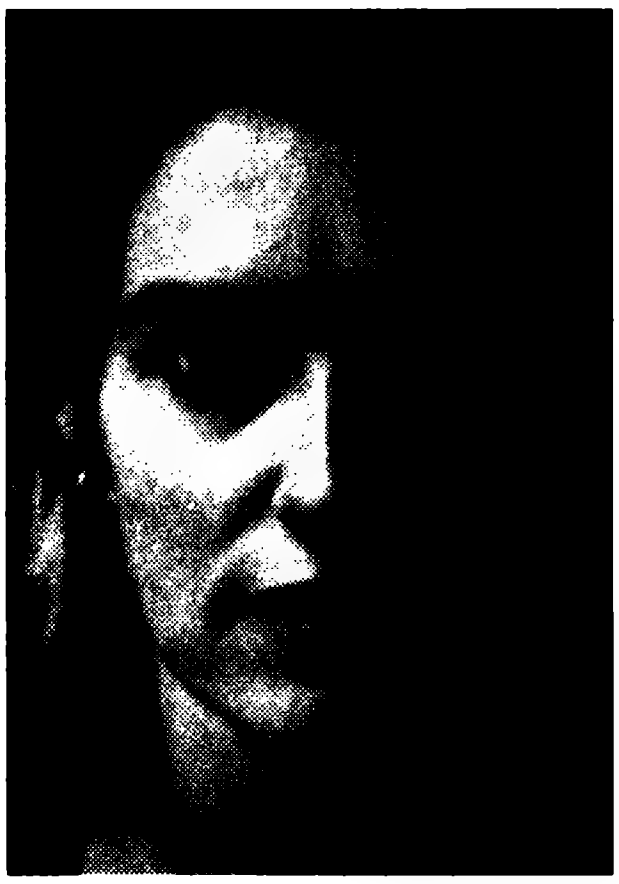
Мужчина обменялся взглядом с женщиной, оставшейся стоять в проеме двери. Потом наклонил голову и, не говоря ни слова, позволил двоим в коричневых кожанках вывести его на улицу.

Бекер какое-то время смотрел на пол. Кубики были убраны и сложены в углу аккуратными башенками. Снизу доносился смех и такие звуки, как будто кто-то упал с лестницы. Потом стало тихо.

Мальчика он увидел, только когда тот оказался прямо перед ним. Он был в пижаме и одной рукой тер глаза, еще полусонные. Сам не понимая, что делает, он схватил мальчика под мышки, поднял его высоко в воздух и стал кружить. Мальчик верещал от удовольствия и кулачками барабанил по большой блестящей голове, кружащейся вместе с ним. Бекер крутил его в воздухе, пока не кончилось дыхание, потом поставил на землю и, тяжело дыша, спустился по лестнице.

На улице он еще раз посмотрел наверх, на освещенное окно последнего этажа. Он смотрел на окно и внимательно прислушивался, но стук его сердца был единственным звуком, нарушавшим тишину пустынной улицы.

Саннеке ван Хассел



Белое Перо

Рассказ

Перевод Екатерины Торицыной

КОГДА я просыпаюсь, чертовы черные дрозды опять тут как тут. Они мне загадили весь балкон. Их двое, но обычно показывается только самец, а самка сидит у соседей. Я называю ее Белое Перо, из-за светлого пятнышка на крыле. Я целыми днями сижу у окна, а она почти никогда не садится на балконную решетку. Я одеваюсь и завариваю чай. "Пиквик", приятного темного цвета. "Даниэл, не надо так долго держать пакетик в чашке". Когда Нэл со мной, я стараюсь об этом не забывать. Больше часа я сижу за завтраком. План путешествия лежит передо мной в пластиковой папке. Дамбулла, Конец Света, Коломбо. Сегодня в полседьмого она улетела из аэропорта Схипхол. Я не открываю папку. Четыре страницы — это бесконечность. Достаю из серванта свой блокнот. Я хотел бы ей написать, но фразы не ложатся на бумагу. "Одно дело, когда хочешь что-то сделать, и другое — когда можешь", — говорит она.

После бриджа меня подвозят до дома. Герани выглядят великолепно. Вот об этом я рассказал бы Нэл по телефону. Моя дочь, в Принсенбеке, слишком занята, к ней я с такими разговорами не пристаю. Она сейчас в другой фазе. Зимой я ставлю пеларгонии, это их латинское название, на чердак, чтобы

© 2007 Sanneke van Hassel
© Екатерина Торицына. Перевод, 2013

они отдохнули. Они у меня уже пятнадцать лет держатся. В апреле я меняю им землю и ставлю их в кашпо на улице. Каждый день я выщипываю увядшие цветки. А больше им, гераням, почти ничего и не нужно.

Сегодня ровно два года, пять месяцев и двадцать восемь дней, как мы знакомы с Нэл. Люди такие даты не празднуют, но я отмечаю каждый день нашего знакомства. Если верить плану путешествия, у нее сегодня свободный день в Негомбо. "Отдых на просторном пляже. Остаток дня вы можете провести, загорая и купаясь в море". Что она забыла на просторном пляже? С ее-то старой кожей. Хотя она до сих пор очень красивая, я не об этом. Еще в Негомбо есть рыбный рынок. Лучше бы она пошла туда и поела жареной рыбы. Когда она приходит ко мне по субботам, я всегда покупаю пикшу, жаренную в панировке. Не надо мечтать, будто она сейчас думает о тебе. На улицу, старый хрен. В магазин за продуктами. В "Бас" купить шаров-жевачек, она их потом внучкам отвезет.

По воскресеньям Нэл составляет план на следующую неделю. Звонить ей можно только вечером после восьми, когда он будет готов. По понедельникам у нее вечером хор, по вторникам она сидит с дочками своего сына. Среда — первый возможный день для нас вдвоем, если у какой-нибудь ее подруги не случается дня рождения или кто-нибудь вдруг не умер. В четверг тоже можно, но раз в месяц в четверг вечером ей надо идти в читальный клуб. По пятницам она утром работает волонтером в приюте, а после обеда у нее урок фортепиано. Если остаются силы, она садится в автобус. Остановка совсем рядом с моим домом. Если она не приехала между пятью минутами и четвертью пятого, то ясно, что уже и не приедет.

Сегодня ночью мне приснилась большая скала с головой льва. Я иду по узкой тропинке и оказываюсь прямо под его каменным ухом. Вдруг зверь разевает пасть. В пасти у него сидят туристы с рюкзаками и в голубых хлопковых штанах.

За завтраком я опять пугаюсь: два птичьих глаза глядят с верхушки дерева. Фотография львиной скалы напечатана внизу первой страницы в плане путешествия. Вчера Нэл на нее поднималась. Если справилась, потому что написано "подъем по крутой лестнице". Сам-то я еще бегаю как молодой. Я свои ноги берегу, но она, с ее-то бедром. Я знаю, она будет карабкаться вверх, пока не начнет скрежетать зубами от боли.

Наконец она позвонила. Пора бы уж.

— Раньше было никак, — сказала она.

— Ну, девочка моя, — все, что я мог сказать. Ни слова о черных дроздах, о бридже, о том, что держится теплая погода.

— Даниэл, я коротко, не успеешь оглянуться, мы уже встретимся.

— Пока, девочка моя милая.

Я стою с телефоном в руке. Кому нужны нытики? Я кладу трубку на рычаг и сажусь за стол. Мокрое пятно на обоях в столовой похоже на очертания острова Шри-Ланка.

Приезжала моя дочка из Принсенбека. Времени у нее было немного. Детскую коляску она припарковала на балконе. Я видел, как ручонки то и дело тянутся к цветам. Радости я от этого не испытываю. В этом возрасте они еще не узнают людей. Дочка привезла суп из пакетика. Она говорит, что так свежее. Сама она уже успела пообедать. После супа мы пили кофе и смотрели новости. Я закрыл глаза, но не спал. Я видел растопыренные зеленые пальцы пальм и лицо Нэл. Самое странное, что ее лица я как следует и не видел. Я открыл глаза и посмотрел на фотографию на буфете, где мы всей тургруппой стоим перед клумбой с тюльпанами. Красные тюльпаны с белой каймой, новый сорт, называется Кун-фу. Фотограф решил пошутить. Может, старички встанут в стойку кун-фу? Никто не засмеялся. В тот день была плохая погода. Нэл на фотографии — это плащ и красная непромокаемая шапка, лица почти не видно.

Я на фотографии стою немножко сбоку, как будто хочу сказать: “Скоро и моя очередь наступит”. После смерти жены я не такой уж энтузиаст.

— Боже мой, похоже, вы здесь один, — сказала она. Она тогда в первый раз пошла вместе с группой.

— Да, верно.

— Вы же знакомы с теми людьми, идите, поболтайте с ними.

— Нет, как-то это не по мне.

В тот раз автобус на час опоздал. Он попал в пробку, потому что на трассе A44 перевернулась платформа парада цветов. Мы сели рядом. Она смотрела в окно, погрузившись в свои мысли, а я смотрел на нее. В Роттердаме, когда мы вернулись, я помог ей выйти из автобуса. И вдруг обнял ее. — Ой, что же я, так нельзя, люди этого не любят.

— Даниэл, — сказала она, — мне бывает приятно, когда меня вот так обнимают.

— Можно как-нибудь еще раз вас обнять?

— Я не против.

Выходные перед отъездом она освободила. Как обычно, весь вечер мы разговаривали. “Я для тебя приготовила дубликат

нашего маршрута. Так ты сможешь следить за тем, где я, с картой или без карты. А вот полезная информация, например, время перелетов, чтобы ты мог в телетексте посмотреть, когда я прилетаю, когда улетаю, и так далее. — Она достала из сумки бутылку беренбюрха[1]. — Раньше, когда у кого-то из наших подруг рождался ребенок и ей нельзя было вставать с постели десять дней, она каждый день распечатывала один подарок: погремушку или слюнявчик. Этого я тебе, конечно, дарить не буду. Для тебя я придумала кое-что другое, милый мой Даниэл. Ты любишь пропустить рюмочку, так вот, я отсчитала четырнадцать рюмок и через воронку налила их в бутылку. Когда она опустеет, я вернусь".

Когда стемнело, мы медленно поднялись наверх и легли, тесно прижавшись друг к другу. В постели мы не безумствуем. Но разговоры все-таки прекращаются. Говорят только наши руки. И тогда слова уж точно не нужны. Десять минут, четверть часа тишины, только ее голова на твоей руке.

— Что нас ждет, Даниэл?

— Посмотрим, девочка моя.

Только что ушла сотрудница социальной помощи на дому. На этот раз ее звали Йоланда, такая внушительных размеров голландка. В последнее время все больше приходят суринамские дамы, веселые, но немного властные. Йоланда вымыла окна и убралась в ванной. А потом сидела напротив меня и заполняла бланк, сколько времени она провела в каждой квартире. Кофе она не захотела.

— Я и дочку-то ее не знаю, с которой она поехала, — сказал я.

Йоланда кивнула и продолжала писать.

— Вчера они вдвоем ездили на руины. В старый город королей или что там от него осталось. Там жарко, наверное.

— Главное, чтоб голову прикрыла, — сказала Йоланда.

После того разговора по телефону больше Нэл не звонила. Дорого, наверное, но я говорил, что сам заплачу, так что чего-то я не понимаю. Может быть, надо было дать ей с собой денег. Но только вот какие у них там деньги? Вот, внизу на странице написано: рупии. Программа слишком плотная, вот в чем дело. Не больше двух ночей на одном месте.

Чертов дрозд тоже больше не появлялся. У него где-то гнездо, это точно. Интересно, он там с Белым Пером или у

1. Беренбюрх (beerenburg) — горькая настойка на травах, фризский крепкий алкогольный напиток.

него другая? Если я повешу скворечник, может, они станут заниматься любовью у меня на балконе. За год до знакомства с Нэл, через четыре года после смерти Лус, у меня под крышей свили гнездо скворцы. Я никогда их не видел, но как же они галдели! Не давали спать всю ночь. Наглые твари, гадят, переругиваются, вьют целых два гнезда в год и к тому же с разными партнерами. И все-таки в этом была жизнь.

Когда я проснусь, полпути будет уже пройдено.

Сегодня она в Канди, одном из самых интересных городов культурного треугольника. Там находится священный зуб, который выносят пилигримы в белых одеждах с цветками лотоса. По мне, так это туристическая чепуха, но лишь бы ей нравилось. Нельзя думать за другого. Хотя иногда мне кажется, что это самое сложное. Заботиться друг о друге — это твой долг, если тебе человек дорог, поддерживать его до последнего. Но никогда нельзя ждать этого от другого.

Вчера вечером раздался телефонный звонок. Я подавился красной фасолью. Я знал, что звонит она, потому что она знает, что во время ужина я всегда дома. Ей все очень нравится, что же еще нужно? Каждый день солнце и приветливые, заботливые люди. Местное население не такое навязчивое, как считается. По улицам можно ходить спокойно.

Я сказал:

— Я люблю тебя.

— Ах, милый, — сказала она в ответ. Она видела дикорастущие орхидеи.

Я чувствую, будто она не может перешагнуть какую-то черту. Самое странное, что я всегда был человеком, который любит оставаться один. Жене иногда приходилось призывать меня к порядку. “Ау, я здесь!” — говорила она в таких случаях. А теперь быть одному — это ужас. Мои занятия дают работу только рукам. “Дело только в твоем отношении”, — говорит Нэл, но допустим, я только что был у нее или мы возвращаемся с экскурсии, после прекрасного дня. И вот вечером я открываю дверь — и все, черт возьми.

— Не говори “черт возьми”. Надо включить свет и сказать: “Какой дивный был день”.

“Поездка в приют для слонов-сирот в Катугастоте. Здесь живут пятьдесят слонят, оставшихся без матери”. Слон — это слон и есть, ходит он со стадом по пустыне или сидит в клет-

ке. У меня много лет был абонемент в зоопарк “Блейдорп”, но после реконструкции он кажется мне слишком большим. Я не хочу ехать на сафари в тропики или плавать в “Океанариуме”. Клетка безопаснее, и можно ближе подойти к животным. Я помню, как отец брал с собой земляные орехи. “Для обезьян”, — говорил он, но не было ничего приятнее, чем держать орех в руке и чувствовать на ладони теплый хобот слона. Нэл сказала, что звонить уж точно больше не будет, зато каждый день будет писать.

Йоланда из социальной службы считает, что мне надо больше двигаться. Как будто она сама много двигается, с такой-то задницей. Со следующей недели ее не будет. “Есть занятия и получше, чем всю жизнь попы вытирать”.

Четыре дня назад я ночью упал. Хотел набрать стакан воды в ванной, поскользнулся и ударился головой о край раковины. Я лежал на кафельном полу и трепыхался, как рыба. Жуткая боль от пояса до колена. Ползком я еле добрался до спальни и сдернул телефон с тумбочки. Пусть приедет “скорая”. Разбудил по телефону соседку, чтобы она открыла дверь. Бедро выскочило из сустава, и на голове шишка. Рентген и вся эта суета. К счастью, переломов не было, и операции не потребовалось. Врач дал мне общий наркоз и вправил головку бедра. Трое суток меня продержали в больнице, а теперь я дома с Ивонной, медсестричкой не старше двадцати лет. Я не могу пошевелить ногой, и боль пронзает всю ногу до самых кончиков пальцев. “Нужно время”, — говорит Ивонна. Отлично, времени у меня достаточно, но иногда кажется, что мое время на исходе, и тогда я думаю, как мне все надоело. Иногда я ковыляю на костылях до туалета, а в основном лежу у окна. Однажды мне показалось, что мимо пролетает Белое Перо с веточкой в клюве, но все было слишком быстро, это могла быть и другая птица.

Жуткая жара. Я больше не поднимаю маркизы. Мебель отливает оранжевым. Звонит дочка из Принсенбека и говорит, что на этой неделе приехать не может. У малыша ветрянка. Его всего обсыпало, да еще такая жара. В ноге пощипывает. В три часа я допиваю остатки беренбюрха. Нэл на два дня поедет на какое-то плато в горах, а потом еще на день в мировой город Коломбо, за сувенирами. Оттуда организован трансфер в аэропорт, “чтобы вы могли вернуться домой или отправиться в следующий пункт назначения”. Пожалуйста, не надо.

Из аэропорта она приехала прямо сюда. Было еще рано, я кое-как стоял на костылях, поливая герани из кофейника, лейка еще слишком тяжелая. Чтобы дойти до входной двери, мне понадобилось несколько минут. И вот она стоит, в руках сумка, полная резных деревянных фигурок и тканей ручной росписи. Мы обнялись.

— Раненый ты мой, мы с тобой наверстаем упущенное, — сказала она. — Обещаю.

Накануне вечером я заранее приготовил эндивий, ее любимую еду.

— Приятного аппетита, дорогой Даниэл.

— Вам достаточно, мадмуазель?

Она съела всю тарелку, и только потом уже начала рассказывать. Можешь не запоминать, сказала она, я все записала. Мы легли в кровать, которую санитары поставили в гостиной. Ивонна постелила свежее белье, и я попросил ее купить яиц на завтрак. Через час Нэл вдруг захотела домой. Еще не было девяти.

— Такси стоит семнадцать евро, — сказал я.

— Мне надо постирать, и дома ужасный беспорядок.

Я не хотел второй раз за месяц смотреть, как отъезжает такси, и не стал махать рукой на прощанье.

Я дергаю штору. До конца мне ее не закрыть, полоска света падает на одеяло. На столике в гостиной стоит слон из блестящего темного дерева. “Слоны — очень общительные животные”, — говорила Нэл. Похоже, что он заблудился.

“Спокойной тебе ночи, Даниэл”, — шепчу я и выключаю свет. Опять болит нога, кажется, еще сильнее. Я лежу на спине и жду, когда придет сон. Дрозд опять на месте, его пение возвещает наступление темноты.

Из современной голландской поэзии

Переводы Ирины Михайловой, Нины Тархан-Моурави

Рутгер Копланд

Под яблоней

Я пришел домой, было
часов восемь и редкостно
тепло для этого времени года,
садовая скамейка ждала меня
под яблоней

я сел и стал смотреть
как сосед у себя в саду
еще перекапывает грядку, ночь
поднималась от земли
синеватый свет висел между
ветками яблони

а потом потихоньку снова стало
так красиво, что не поверить, все
дневное исчезло, налетел
запах сена, в траве снова
были раскиданы игрушки, в доме
смеялись дети в ванне, смех
доносился дотуда где я сидел
под яблоней

а потом я услышал шум крыльев
гусиных в небе
услышал как тихо и пусто
становится вокруг

© Rutger Kopland
© Ирина Михайлова. Перевод, 2013
© Нина Тархан-Моурави. Перевод, 2013

к счастью рядом со мной
кто-то сел, это ты
была рядом со мной
под яблоней, редкостно
тепло и близко
для наших лет.

Все эти прекрасные обещания

Злачные пажити, тихие воды[1]
я их искал и правда
нашел, они были еще лучше
чем мне обещали,
прекрасные.

И в этом дивном краю сын
творца, пригвожденный к дереву,
но ни следа насилия или
сопротивления только
мир, покой.

Его пустые глаза смотрят на природу,
вокруг рта играют вечные вопросы,
почему же, кто ты,
где ты был, и т. п.

Без упрека, он наверное знал
что произойдет.
У меня нет ответа.

Дочки уехали

Им правда пора было жить отдельно, я видел
это по их лицам, превращавшимся
из детских в лица друзей,
из таких, как были раньше, в такие, как теперь.

Я чувствовал по прикосновению и по запаху
щек и волос, когда они меня целовали, это
не для меня, не как раньше,
когда все было впереди.

1. См. Псалом Давида 22. (*Здесь и далее – прим. переводчиков.*)

В нашем доме вырос целый мир желаний,
счастья, боли, горя, в их комнатах,
где они собирали все то
что возьмут с собой, воспоминания.

И вот уехали, а я смотрю из их окон и
вижу ровно все то же, ровно
тот же мир, что и двадцать лет назад,
когда мы здесь только поселились.

Давид

Скульптуры он не ваял, он их лишь
“высвобождал из мрамора”, точно они там
были всегда,

(где-то, июнь, безветрие, белый
необитаемый остров в голубо-зеленом море)

и правда, он нашел прекрасный камень,
под его кожей идеальный механизм
из мозга, мышц и сердца,

и никакой напряженности, никакого движения
которое когда-то было или будет, только
статность, равнодушная сила,

миллиарда кристаллов, идеальная
копия молодости.

Перевод Ирины Михайловой

Рамсей Наср

Зимняя соната без фортепиано и альта[1]

Фрагмент

Памяти Дмитрия Дмитриевича
Шостаковича (1906–1975)

allegretto

когда распахивают двери лоджии
сандаловый аромат дачи смешивается
с воздухом со двора — веранда
подает себя к финалу нашего воображения
храбрым садом народных артистов

в этом саду одобрены и задуманы
предводителем пролетариев
находятся достойные называться
славнейшими экземплярами
всеобъемлющего вечно стремящегося ввысь
царства цветов вот полюбуйтесь

прошагайте уверенно не спеша вдоль
всех цветов шествие движется
как вам эти оптимистические пестики
как вам этот простой мощный куст
стойкая масса пластиковых цветов
начнем перекличку

присутствуют

гортензия
* сталинская премия первой степени

рододендрон
* 1-й секретарь союза цветов РСФСР

© Ramsey Nasr, 2004
1. Стихотворный отклик на альтовую сонату Дм. Шостаковича (1975); записан автором вместе с исполнением сонаты Сусанной ван Эльс и Рейнбертом де Леу в 2007 г.

и *плетистая роза* (заметьте, как они машут и
кланяются)
* народный цветок башкирской АССР

так же присутствует с ликующим корневищем
ракитник!
* вице-президент отдела растений союза
объединений по поощрению
дружбы народов
*сталинская премия второй степени

а вот и товарищ *эвкалипт Ганна*!
*почетный член сербской академии искусственных
деревьев

а вот и *товарищ одуван*!
*трудовая премия 2-го международного фестиваля
дольных в готтвальдове чехословакия
* сталинская премия первой степени

а вот и *подруга фуксия*!
*народный хлорофилл РСФСР

затем обоняю
резанец!
*диплом и медаль советского комитета защиты мира

обоняю
акантус!
*член комитета по присуждению ленинских премий
отделу цветка и флоры

тюльпан!
*ленинская премия

товарищ анютины глазки!
*доктор цветочных наук СССР

коммунистка лиственница!
*государственная премия глинки первой степени
*сталинская премия первой степени

товарищ edelweiß!
*председатель австрийско-советского объединения и
союза объединений по поощрению
дружбы народов

коммунист бирючина!
*второе место за вторую процессию живых
изгородей на конкурсе кустов в честь 10-летия
октябрьской революции
*сталинская премия второй степени

товарищ трава!
*член комиссии по декоративным цветам, лесам и
бобовым

и, наконец, да, наконец –
товарищ картофель!
*герой социалистического труда
*председатель союза клубней РСФСР
*депутат верховного совета УССР горьковского
района
*großer stern der völkerfreundschaft DDR (золотая)
*сталинская премия первой степени

вас приветствуют проходящие массы!
из громкоговорителей раздается песнь лесов
здесь аромат лесных троп там эссенция полей и
повсюду
повсюду мускус!
скрытые в грядке опрыскиватели брызжут на всю
катушку
каждый распространяет родной запах отмеренными
тройными дозами всеобщее торжество!
тычинки сворачиваются
о мускусные друзья
все цветы обратятся в усы!
и в этом заслуга великого гения кавказа
садовода садоводов!
настал великий день!
шампиньоны и грибы топайте! мурлычьте мелодию!
вы будете услышаны
маршем борцов за мир, нашей родиной!
нашей стальной!
пластиковой родиной!

будь гражданами я двумя (то вместе бы ужился)[1]

а вот мои стихи, милости прошу
не пугайтесь гулкого эха
давайте начнем в пустоте
пожалуйте в мой кратер света

когда-то мы с вами собирались, помните
прохладно оживлялись при блеске бокала
наши тени прозрачнее хрусталя
наша слава мимолетнее луча, озарившего
письмо в руках штильной женщины

мы были все в золотой пыльце
полупрозрачные, светящиеся любовью
обменивались томными взглядами

и обожали каяться
на вопрос, как у нас дела
правдиво отвечали
умираем от стыда, уважаемый
мы были свято убеждены, что когда-то
засекли нашего кровного господа
распяли собственноручно
апокалипсис заведомой карой
был выжжен у нас на сетчатке

мы отвлеклись на пару столетий
и что же произошло?

я собирался показать вам страну
прочную, чистую, со сбывшимися метафорами
вылепить стихи о нас, но едва начал
как у меня на глазах один здешний народ
взялся за чистку другого
прямо как две несоединимые республики

1. Перефразировка известных строк о тоске одиночества:"...будь песиками я двумя, / то вместе бы резвился".
Данному стихотворению Рамсей Наср обязан титулом Поэта отчизны, присужденным ему в 2009 г. на четырехлетний срок.

как это мы вдруг из ничтожества скатились в скотину
из радужных отсветов в повальную воплей лавину
как пошло от бережливых гусениц хамло на
хаммерах

есть мнение: это оттого, что бог исчез — отче наш
решил стать незримее прежнего
попытаться, а вдруг получится, ан нет, не вышло
и пропал бог
и в этом натюрморте с великим
отсутствующим
остались пораженные нидерланды
а на устах все та же преходящесть
та же ветреность и всеми любимая жажда смерти

вся их суета обернулась суетой
всю их показуху, презренный металл, этот
зеркальный дворец
когда-то слывший бесконечностью
объявили нежилым
треснула затянувшая их души наледь

и из этого отверстия — тут мы и родились
кевин, рамсей, дунья, дагмар, роман и черити

возникли, как по мановению волшебной палочки
на тарзанках, с надувным оранжевым молотом в
руках
визжащие, орущие, антидепрессивные
либо молча гэнг-бэнгнутые за бризер
добро пожаловать в нидерланды — страну каникул

оно и понятно, этот народ вывели
путем выколачивания из нас вины
заполняем полость лоснящейся пустотой

сия страна есть возмездие предков
бушующих в нас иконоклазмом
но она реальна, как связь
между детским стрингом и паранджой
кефиром и буханием до отключки
так мы и складываем столетия, полное к полому

мы сильны сведением друг друга к нулю
у нас природная тяга к пустоте
как влечение к глубине у циклопа

поймите, я хотел показать вам отечество
а не эту пустыню бескрайней свободы
но живем-то мы здесь, и хорошо бы
какое-нибудь подержанное божество
рифма за рифмой возвело страну
для этого безнародного народа
дабы из зияющей рытвины нашей души
именно из нее что-то величественное восстало
быть может, стихи — неплохое начало

Перевод Нины Тархан-Моуравиа

Миха Хамел

Отец

Обогнул угол, выйдя из гостиной в коридор,
и съежился, стал ребенком: откуда ни возьмись,
на фоне матового стекла двери в холл темнеет
фигура отца; ключи в руке, медлит, замявшись.

Помню, его велосипед неизменно опережал мой
на полколеса, как бы я ни жал на педали.

При виде его драпового пальто вспомнился его
запах,
белые манжеты выглядывают из обшлагов. В комнате
шум, возня моих поглощенных видеоигрой детей.

Отцы всегда так – доводят сыновей, чтобы те поняли,
что
всегда найдется кто-то, кого тебе ни за что не одолеть;

Эва зовет меня, надо ей в чем-то помочь, но я *я не*
могу
мне всего одиннадцать крикнул бы но лишился языка
и не отвожу глаз, чтобы снова не потерять отца.

© Micha Hamel, 2004

что и у тебя пропадет охота смеяться, как пропала у него в свое время. Сейчас я бы его шутя обставил.

“Извини, но –” “Мы заново отделали ванную
комнату,
мама тебе та...” “– я должен идти в ногу с моим
временем”. –
произносит он характерным для него нетвердым
голосом.

Вот что я хочу знать: я хочу знать, о ком он думал. Тогда.

Он разворачивается, как ни в чем не бывало
проходит сквозь обе двери
и бесследно вступает во веки веков. “Знаю я, знаю,
почему на обед всегда
была тушеная морковь, если мы накануне ставили
ботинок[1]!”
кричу я ему вслед.

Быть может (мне броситься к двери? бегом?), пора

“Что ты там вопишь, иди помоги мне гирлянды
развесить; ты хоть за молотком сходил?”

заговорить
о том
о чем
не
заговаривали
до сих
пор.

Заговорить о том, о чем не заговаривали до сих пор.

Перевод Нины Тархан-Моуравии

1. Пятого декабря – праздник св. Николааса, но небольшие подарки дети получают уже в конце ноября: на ночь “ставят ботинок“, в который кладут морковку – для лошади святого, а утром находят в нем игрушку или сладости.

Тоон Теллеген

Т*орт*

На витрине выставлен торт,
большой белый торт.
Как мне быть?

Надо раздобыть деньги,
надо швырнуть камень в это самое окно,
надо быть именинником,
надо устроить так, чтобы барышня там, внутри,
вон та, с алыми губами,
влюбилась в меня —

я закрываю глаза,
прилипаю носом к стеклу,
бормочу заклинания:
торт, большой белый торт, пролети невредимым
через стекло...
или надо самому стать пекарем, непревзойденным
кондитером?

* * *

Один человек додумался до смысла жизни,
выбежал на улицу,
кидался к прохожим, говорил: “Послушайте!
Все не так, как вам кажется!”
и, путаясь в собственных словах,
объяснял это
всем и каждому,
и все и каждый были поражены —
вот оказывается, в чем смысл жизни...
надо же, кто бы мог подумать...
качали головой,
сбивали с себя языки пламени,
прыгали в канавы, реки, звали на помощь
либо удалялись в раздумии.

Перевод Нины Тархан-Моурави

© Toon Tellegen, 1991, 1992

Арьен Дейнкер

Стихотворение с трубой

Правда круглая и потому
Умеет петь прямолинейно
И угловато и на все четыре стороны
И в крапинку
И высоко
И глубоко

Правда не круглая и потому
Умеет трогать
И быть совсем тихой

Ты живешь здесь поблизости?
Ходишь в гимнастический кружок?

Иногда я листаю журнал
Но не запоминаю
Ни цветов, ни букв
Помню только, что листал журнал
И пил воду, молоко или пиво
И вспоминал даль вдали
И ничто и вещи и ходьбу
И осла

Осел не круглый
Но осел красивое животное
Потому что осел красивое животное
Ведь осел красивое животное
Ест нечищеный арахис и фисташки
И все запоминает

В этом его притягательность

Надо бы узнать который час

У меня нет часов, нет списка
У меня нет прошлого нет нужды

© Arjen Duinker, 2009

У меня нет лодки нет уверенности
У меня нет луны, нет солнечного света

Даю себе время

Собери свои сентименты
Тоску по одиночеству
Тоску по гомону в просторных помещениях
Фантазию всевозможных сладостей
Фантазию всевозможных облаков
Может быть, у тебя не пропадет любопытство
Может быть, у меня не пропадет любопытство

К перемене и краскам
К голосам и материалам
Трубящим словам
Пышущему сердцу

Кто ты вообще?
В какой местности прошла твоя юность?
На какой улице в какой комнате?

Я рисовал ковбоев и индейцев
Помню они ни на что не были похожи
Ни на ковбоев
Ни на индейцев
Ни на испанцев на палубе
Ни на моих бабушку с дедушкой

Собери свои сентименты
Потому что они на что-то похожи
Даю себя времени
И вижу движение глиняных дюн
Даю себе время
И прохаживаюсь туда-сюда
Даю себя времени

Любишь дельтапланеризм?

Нам притягательность придает тоска
Она же мечта
И любопытство

Прочти все научно-популярные книги
Прочти все кулинарные книги и все книги без
рецепта
На руке как правило пять пальцев включая большой

Рассмотри все формы несоответствия
Рассмотри все формы представляющие собой все
либо ничего

Почти все люди королевской крови

И ты тоже

Даль накаляется даль шипит
Даль дышит близостью вдали
Даль накаляется даль шипит

Дыхание возможностей
Дыхание шума и смуты
Дыхание безмолвного и может быть

Даль брызжет слюной даль жужжит
Даль дышит испариной и сухой пылью
Даль брызжет слюной даль жужжит

Вот тебе моя рука
Давай потяни как следует
Самая что ни на есть настоящая рука
Не отвлекайся на линию жизни

Вот тебе ухо
Можешь обойтись без крика
Вот тебе глаз
Можешь обойтись без значимости

Приветствуй детей
Приветствуй мужчин и женщин
Моя задача мне ясна
Я говорю не облекая вещи в слова

Почка гребень бусина перо ковер пасть

Пойду с тобой
Без мыслей о свете и темноте
Без мыслей о высоте и глубине
Пойду с тобой

Ты отправляешься в путь
Расскажи песчинкам кто ты есть
Расскажи деревянным сооружениям кто ты есть
Расскажи переменам температуры кто ты есть
Расскажи запаху цветов кто ты есть
Расскажи цвету камней кто ты есть
Расскажи звуку инструментов кто ты есть
Расскажи буквам алфавита кто ты есть
Расскажи ослу и телеге кто ты есть
Расскажи солнцу кто ты есть
И ложись спать когда придет время

Продолжай в том же духе рассказывай без остановки
Продолжай в том же духе слушай без остановки
Продолжай в том же духе мечтай без остановки
Потому что правда круглая и не круглая
Потому что правда прямолинейная
И не в порядке вещей

Свет и темнота разбудят тебя снова
Высота и глубина подадут тебе одежду
Свист и тишина омоют руки и запястья
Мухи и бабочки тепло примут твой рот

Вспоминаю церкви и музеи
Вспоминаю концертные залы
Вспоминаю киоски

Могло быть так
Могло быть и так

Согни руки, выпрями ноги
Может, что-то вспомнишь?
Откуда у нас притягательность?
Откуда у нас время?

Секунды непонимания
Минуты знания
Часы неистовства
Дни ливня
Недели засухи
Месяцы барабанной дроби
Годы дали

Собери сентименты
Из полости и из угла
Из линии и из цвета
Из суффикса и из списка
Из плода и из тростника
Из меди и из приветствия
Из бумаги и из губы
Из струны и из времени

Вспоминаю что могло быть так
Да я живу здесь поблизости

Перевод Нины Тархан-Моурави

Эстер Наоми Перкин

Как важно быть цыпленком

Мы уже почти все ощипали. Птицы лежат, лоснясь
на нас
голой голубизной, — они и под перьями по-прежнему
куры.
Если бы мы могли отведать друг друга, то были бы на
вкус
уже не такими, как в одежде, — мы с тобой гораздо
лучше их
умеем быть тем, что носим, так давно и хорошо,
что нам от нее больно, от этой наготы.

Поглядим еще на лежащее перед нами, раз за разом
они собирают сами себя напоказ нам, все эти ладные,
существенные кости, узнаваемые останки, все это
обглоданное хозяйство, неизменно

сводящееся к чему-то, чем нам хотелось бы быть:
всегда
узнаваемому, как одно и то же лицо

© Ester Naomi Perquin, 2009

при постоянной смене голов.

* * *

Сегодня утром мне позвонила дама и осведомилась,
Ричард ли я. Такого еще никогда не случалось.

Многим хотелось видеть меня кем-то, иногда кем-то,
кем я была раньше, иногда кем-то, кем мне
полагалось быть
— прикинься испуганной, говори как монашенка,
попрыгай на месте,
хоть бы раз короткую юбку надела —
но Ричарда с меня еще не спрашивали.

(Между тем тишина шуршит в ухе с обеих сторон.)

Повременю с ответом — существует иная, полная
возможностей жизнь,
материал, из которого я сделана, с таким же успехом
мог бы выглядеть и называться иначе.
Да, это я — Ричард. Это вы, мама?
Сколько зим, сколько лет.

Сумею ли я, став Ричардом, быть Ричардом, вплоть
до тела,
дыхания, тайн, манеры завязывать
шнурки по утрам? Любит ли он пастернак, к
примеру?

Повесит его мать трубку или окажется
такой настойчивой,
такой одинокой,
такой общительной,
что примет меня на веру?

Жив ли еще Ричард, или она каждый раз набирает
новый номер
и спрашивает его в надежде, что кто-нибудь да
скажет:
Ричард? Как же, есть такой. Наверху он.

Только бы ей не сообщили, что Ричард утонул, что
он

заблудился, попал в заложники, в аварию. Может, и
была какая-то
вечеринка, встреча? Может, я не просто виделась,
но и целовалась, разговаривала с Ричардом,
что он там пил, вино? Нам было весело вместе?

Сейчас как раз тот момент, когда можно промолчать,
повесить трубку или похрустеть пакетиками — якобы
дом
завалило снегом, вот незадача, вас совсем не слышно.

Мне представляется женщина в темной комнате, в
глазах вопрос.
А как же я? Где я ей в такую рань возьму Ричарда?

Уважаемая, я вынуждена признаться,
что я не Ричард, никогда им не была
и в лицо его не знала, хотя наши номера
мало отличаются друг от друга, между нашими
судьбами
пролегла восьмерка, четверка, двойка.

С другими у меня бывают зазоры ничтожнее цифры,
но их матери меня не знают, не станут сюда звонить.

Вы тратите время впустую, я — всего лишь полголоса,
пол-лица,
недостойные Ричарда, от меня и собаке еще ничего
не перепадало, кроме неубедительного присутствия.

(Из трубки доносится непреклонная тишина.)

Уважаемая, сама не знаю кому, но молюсь вместе с
вами,
чтобы у кого-то это получилось.

Получилось быть Ричардом.

Перевод Нины Тархан-Моуравии

Ян Волкерс
The Splendid Thirties[1]

Из книги “Назад в Ухстхейст”

Перевод Ирины Михайловой

© 1965 Jan Wolkers
© Ирина Михайлова. Перевод, 2013

1. Великолепные тридцатые (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

На стене у нас в гостиной висело стихотворение, которое мой отец вывел готическим шрифтом еще во время Первой мировой войны, находясь дома на побывке. Заглавные буквы он украсил синими, красными и золотыми завитками, так что разобрать их было совершенно невозможно. Они напоминали скорее экзотических бабочек. Но мы все знали, что там написано, и читали, не всматриваясь. Заканчивалось стихотворение так:

Мука сегодня не так тяжела,
Как страх перед мукой грядущей.
И ежели в дом пришла беда,
То силу наш крест снести всегда
Даст нам Господь Всемогущий.

Однажды на верхнем этаже была протечка, вода просочилась через перекрытие и растеклась по стене на первом этаже, так что на следующее утро стихотворение под стеклом вспучилось и пошло пятнами. Отец вынул его из рамки и промокнул нижний край листа носовым платком, при этом "т" от "даст" исчезло. Ворча по поводу того, что на туши для рисования, которой он в свое время переписал стихотворение, была маркировка "водонерастворимая", он осторожно положил стихотворение в шкаф сохнуть. И с тех пор всегда собирался заново написать это "т", но руки так и не дошли, а стихотворение, подсохнув, скукожилось еще больше. Потом оно несколько месяцев пролежало под тяжеленной "Книгой Мучеников", но и это не помогло. Иногда, когда я искал что-нибудь в шкафу, то натыкивался на него и читал: "...силу наш крест снести..." И всякий раз вспоминал о крахе нью-йоркской биржи в 1929 году, про который тогда столько говорили. Как будто бы стихотворение заранее предупредило нас о мировом экономическом кризисе. Но когда я это осознал, кризис свирепствовал уже вовсю, и покупатели, раньше приобретавшие в отцовском магазине деликатесы, уже все куда-то подевались. Если же кто-нибудь из старых клиентов все же заходил в магазин и спрашивал консервированные калифорнийские фрукты, отец вызывал меня из сада за домом и шептал в коридоре, чтобы я, обойдя дом сзади, со всех ног бежал за этими консервами к нашим конкурентам. Перед стартом я слышал, как он говорил покупателю: "Сейчас кто-то из детей принесет товар со склада". Затем я мчался как одержимый в бакалейную лавку за углом. По дороге молил Бога о том, чтобы там не было очереди, ведь если я задержусь, станет ясно, что отец сказал неправду. А обратно я несся еще быстрее и слышал, как сироп с фруктами плещется в банке. Если я был дома,

то отец посылал с этим поручением именно меня, так как я считался самым быстроногим. Но мне-то кажется, что дело было скорее наоборот. Я научился быстро бегать из страха, что отца выведут на чистую воду. Но, к счастью, теперь покупатели заглядывали в магазин совсем редко, так что почти никто не видел, что палочки ванили пересохли и стали похожи на угольные стерженьки. И что имбирь в большой стеклянной банке, на котором сначала появились белые кристаллики сахара, со временем превратился в коричневую жижу. И все же эта банка еще несколько лет стояла на полке, где-то в глубине. Пока отец не отнес ее в один прекрасный день в конец сада, где вырыл яму и вылил туда мутную слизь из банки. Он стал закапывать яму, но слизь предательски поглощала землю и только поднималась выше, так что в итоге отец положил сверху кусок старого триплекса и запретил нам на него наступать. Больше в магазине было нечему портиться, все остальное было картонным. Пирамиды из пачек кофе, чая и панировочных сухарей, их можно было обрушить, если посильнее подуть. Представители оптовиков тоже стали обходить наш магазин стороной, потому что поставки в столь мизерных количествах, которые нам требовались, их не интересовали. Даже представитель фирмы "Ван Нелле"[1], которого отец, цитируя их рекламу, всегда звал "Насладись ароматом", потому что от толстяка постоянно пахло потом, — напористый тип с агрессивным пузом, торчащим из расстегнутого плаща, без спроса заходивший за прилавок, если в магазине никого не было, — даже он с течением времени забыл о нас.

Каждое утро, когда со всех клиентов были собраны заказы, мама просматривала их и со вздохом составляла список товаров, которые требовалось приобрести. После школы меня отправляли по магазинам. Я шел в "Ве-Ви-Во" покупать десять фунтов обычного сахара и пять коричневого. При этом я старался так встать позади всех покупателей, чтобы ко мне подошел хозяин магазина, симпатичный человек, догадывавшийся, в чем дело, и отпускавший мне товар без лишних слов. Но если меня обслуживал все же работник с жирными кудряшками, обрамлявшими бессмысленную физиономию, он не упускал случая сказать, ставя передо мной два больших пакета: "Да уж, вы любите сладкое". Сгибаясь под тяжестью сумки, из которой торчали мешки и кульки, я порой обходил квартал, если видел вдалеке кого-нибудь из одноклассников. Потому что не смог бы им объяснить, что́ у меня в этих мешках. Они бы этого не поняли, подумали бы, что я ношу воду в

1. Знаменитая голландская фирма, производящая табак, чай и кофе.

море. Потому что в школе никто не знал, как плохи дела в магазине, ведь родители мне уже давно запретили приглашать друзей домой.

Незадолго до этого родители были вынуждены начать сдавать жилплощадь. Весь второй этаж они сдали двум студентам-медикам. Мы, дети, перебрались на чердак, а родители стали спать на складной кровати на веранде. Мне очень нравилось, что между нами и родителями находится этаж, занятый чужими людьми, но моя старшая сестра сказала, что боится, потому что один из студентов так странно смотрел на нее при встрече на лестнице. В магазине у нас тогда еще водились кое-какие товары; помнится, когда эти студенты полупьяные возвращались домой с девицами из города, они зажигали свет в торговом зале и спрашивали у своих подружек, чего им хочется. Они набирали ментоловых пастилок, коврижек и консервов и шли наверх. Но запасы в магазине к тому времени уже настолько сократились, что выявить недостачу было нетрудно. Родители заметили проделки наших медиков, пересчитали товар и в конце месяца включили стоимость недостающего в счет за комнаты. Студенты попросили расписать счет подробно, а когда мама дала им длинный список покупок, они поморгали глазами, но ничего не сказали. В туалете на втором этаже, которым нам не разрешалось пользоваться, так как там была настоящая туалетная бумага, и к тому же из экономии нам запрещалось спускать воду, студенты повесили изречение:

Если хочешь добрым слыть,
Ты обязан воду слить,
Не то от вчерашней пищи
Сегодня будет вонища.

Но отец велел им снять этот стишок. Через некоторое время он вдребезги рассорился с ними, после того как один из них заявил, что это негигиенично — когда в магазине столько детей, которые все трогают. “И вы еще смеете! — кричал отец. — И вы еще смеете рассуждать о гигиене! Каждую ночь новая девица в постели, это по-вашему гигиенично? Не потерплю больше блуда под своей крышей!” — и тут же выгнал их под зад коленкой.

После этого у нас жило семейство китайцев из Индонезии, глава которого учился в Лейденском университете. Детей было двое, Ван и Син. “У этих людей мы еще многому можем поучиться, — говорил отец. — Они обладают внутренней культурой”. Но однажды Ван просунул голову между прутья-

ми решетки, огораживавшей лестничный проем на втором этаже, и не мог ее вытащить. Он орал во все горло, а его отец стоял рядом, тихий и взволнованный, и пытался пропихнуть широкие щеки малыша между прутьями, но это не помогало, голова застряла безнадежно. Тогда к ним наверх поднялся мой отец. Он оценил ситуацию, пошел в сарай и вернулся с пилой. От страха я убежал прочь, я думал, отец собирается отпилить эту голову. Ведь нельзя же, чтобы толстощекая китайская голова навсегда осталась торчать между прутьями. Спустя некоторое время я решил, что худшее, наверное, уже позади, и пошел посмотреть; я увидел дыру в решетке, где был выпилен один прут. Ван стоял, прижавшись к маме, которая осторожно поглаживала своими маленькими нежными руками его красную шею. Они кланялись и кивали моему отцу, осыпая его улыбками и словами благодарности. Но горе быстро забылось, и в тот же день мы с Ваном уже лазали через дыру туда-сюда. А потом наши жильцы переехали в Лейден, потому что езда на велосипеде в университет и обратно в любую погоду была для тщедушного китайского отца слишком утомительна. Но я подумал, что они съехали от нас, поскольку стали бояться нашего дома: однажды я услышал, как отец говорил, что китайцы не верят в Бога, а считают одушевленным все вокруг, даже неживые предметы.

Офицер, поселившийся у нас после них, был длинным светловолосым германцем с детскими голубыми глазами. Во время выборов 1937 года, когда нидерландская фашистская партия NSB[1], членом которой он был, получила ничтожно мало голосов, он топал ногами и бранился у нас над головой при каждой передаче радионовостей, когда сообщали результаты по разным городам. По вечерам, в кровати, я всегда слушал, как он играет на рояле. Он извлекал из инструмента удивительные звуки, и отец сказал, что постоялец экспериментирует с механикой, пытаясь придать фортепиано звучание человеческого голоса. Но ему это никогда не удастся, закончил отец не без самодовольства. Потому что единственный инструмент, по звучанию приближающийся к теплому человеческому голосу, это фисгармония.

В выходные дни, когда офицер уезжал из дома, я прокрадывался в его комнату и снимал с верхней полки глубокого шкафа жестяные банки, в которых между большими кусками

1. Nationaal-Socialistische Beweging – партия нидерландских фашистов, существовавшая с 1931-го по 1941 г.

камфары лежали чучела змей и засушенные жуки и листовидки. Однажды мама застала меня сидящим на полу среди этих тварей, разложенных полукругом, и сказала, что если меня застукает отец, то мало мне уж точно не покажется. С тех пор всякий раз, когда я в пределах дома на какое-то время исчезал и потом снова появлялся, она говорила: "Дай-ка мне понюхать твои пальцы". Если они пахли камфарой, мама отправляла меня к себе в комнату, где я должен был сидеть до самого вечера. Но я все равно не мог удержаться и вновь и вновь вытаскивал насекомых из их банок, так что с течением времени у жуков отвалилось минимум по одной ноге, змейки сломались пополам или на три части, а листовидки скомкались. За эти первые в моей жизни уроки биологии я потом дорого заплатил, потому что, когда офицер заметил нанесенный коллекции урон и пришел к отцу с листом картона, на котором лежали его пострадавшие насекомые и пресмыкающиеся, словно он ссыпал ломаное печенье, отец так отлупил меня, что я потом неделю не мог сидеть. Но больше всего мне было стыдно перед самим офицером, потому что я видел, что он расстроился по-настоящему. К моменту своего отъезда он успел меня простить, в последний раз, когда мы виделись, он с грустной улыбкой отдал мне остатки своей коллекции, сказав, что она ему больше не нужна. Мне она тоже уже не доставляла удовольствия. Я показал сушеных жуков родителям и сразу же унес в сарай, где раздробил их молотком в порошок и развеял по ветру в саду, как горсть праха.

Бедность становилась все более ужасной. Символом благосостояния была маленькая металлическая пластинка, выдававшаяся тем, кто уплатил налог на пользование велосипедом; обычно пластинка крепилась на штангу руля. У нас дома она висела над каминной полкой, на куске батика, приколотая французской булавкой. На велосипеде мы могли ездить только по очереди. Пластинку мы пристегивали к лацкану куртки, я при этом чувствовал себя собакой с жетоном. И еще знаком бедности было черное пятно на заднем шве трусов. От типографской краски. Потому что вытираться приходилось газетой.

Иногда наша бедность прорастала причудливыми побегами. Как-то раз летом, отправляя нас гулять на море, нам дали с собой вместо бутербродов фигурные пряники. Парень и девушка спиной друг к другу, в желтой целлофановой упаковке. У нас с собой не было никакой сумки, куда их можно было бы сложить, а мне эти фигурки показались такими обалденными, что я принялся ими размахивать и пустился в пляс, распевая: "Вот это наши дети, мы с ними погуляем и в дюнах зако-

паем", "Голландцев этих юных мы похороним в дюнах", а также "Ян Клаассен и Катрейн подрались в пух и прах". При этом я стукал моим пряником по пряникам братьев и сестер. Звук был деревянный, потому что пряники пролежали под прилавком с начала декабря, с праздника святого Николая. Еще по дороге к морю мы решили съесть их, чтобы освободить руки, для этого раскололи их на куски о заборчик. Осколки разлетались во все стороны, как от разбитой тарелки. Вечером мы пришли домой с урчащими от голода животами, так как половину осколков просто выбросили; отец, разумеется, сказал, что это стыд и срам и что в России о такой еде могут только мечтать. На что мой бесстрашный старший брат ответил, что у русских, наверное, железные челюсти.

При этом в доме постоянно стоял тошнотворный запах младенцев и грязных пеленок. Снова и снова розовые попочки, присыпанные тальком, выпученные животики с перевязанной пуповиной. Размятые бананы на блюдечке на печке. И, разумеется, грудь, постоянно грудь. Оп-па, один сосунок за другим. Все новые и новые ротики, обхватывающие коричневый сосок. И блаженная сонная сытость этих недооформившихся младенчиков в белых вязаных распашонках. И отец, который рассматривал очередную малюсенькую ручонку и говорил: "Только взгляните, какое чудо, и ведь все-все ноготки на месте". Это был комплимент в адрес Создателя. А у меня на мизинцах ног ногтей не было. Наверное, потому что Господь Бог поначалу не мог выдержать тот бешеный темп, который взяли мои родители. Наверное, когда верхняя часть моего тела уже вылезала из материнского лона, Он в спешке, кое-как доделывал нижнюю часть, и на кривенькие пальцы ног вместо ногтков успел налепить только мозольки, по которым до сих пор прочитывается движение Его творящих пальцев. Всякий раз, когда очередному ребенку наставало время переселиться из колыбельки в детскую кровать, которую надо было поставить рядом с другими детскими кроватями, отцу приходилось что-то выдумывать. Где мы только не спали! В глубоких шкафах друг над другом, на полу все в ряд, в передней на двух уровнях: трое мальчиков наверху и три девочки внизу. Все задергивается занавеской — и ничего не видно. Ради этого вешалку для верхней одежды перенесли к самой входной двери, так что, когда к родителям приходили в дождливую погоду, я чуял запах от мокрых шерстяных пальто, как будто наш сон оберегала собака. Через стену из гостиной доносились голоса и звуки радио. Если для проветривания открывали боковое окошко, я слышал, как сосед-парикмахер ругается с женой. Говорил он не так уж

много, в основном ворчал неразборчиво. Зато жена была немка и орала на него с акцентом, пронзительно, как торговка рыбой. Пока ее мужу это не надоедало — тогда он произносил медленно и выразительно: "Заткни свою пасть, отродье бошей!" После этого она замолкала.

По моему ощущению весь наш дом напоминал большие пчелиные соты, этакие конструкции из ячеек и коморок, архитектором которого был отец. Найдя решение очередной жилищной проблемы, он всякий раз с гордостью демонстрировал его маме. Я восхищался его изобретательностью, но старший брат говорил презрительно: "Старик пристроил еще одну кроличью клетку".

В семье было уже столько детей, что отец счел выгодным купить парикмахерскую машинку и стричь нас всех своими руками. Стриг он нас по средам. В этот злополучный день нас по очереди вызывали из сада на веранду. Старший брат во время стрижки просто сидел на стуле, а под меня подкладывали "Книгу Мучеников". И под каждого следующего по возрасту ребенка подкладывали еще по одной толстой книге. В дело шли годовые подшивки "Жизни праведных христианок" и собрание сочинений Билдердейка[1]. Когда мне на шею повязывали простыню, возникало чувство беспомощности, словно меня вот-вот казнят. По моим воспоминаниям, в дни стрижки неизменно шел дождь, потому что я всякий раз плакал. Не оттого что отец орудовал машинкой весьма грубо и не оттого что мне казалось, будто он продавливает мне череп, когда машинка касалась шрама у меня на виске. Я плакал не от боли. Это были слезы обиды, плач от унижения. Потому что после стрижки мой шрам, который уже наполовину успел скрыться под волосами, на несколько недель опять становился всем виден. Потому что с короткими волосами я выглядел по-идиотски, и мне казалось, что все вокруг только на меня и смотрят. Потому что стрижкой отец превращал меня в существо, которым я не был, которым я не хотел быть. Мне казалось, что, пока меня стригли, я лишался частицы самого себя, чего-то, что вместе с волосами коренилось в самой глубине моего существа. Отец не успокаивался до тех пор, пока волосы у меня не были подстрижены так же коротко, как у него. Если во время стрижки я был слишком напряженным, отец толкал меня кулаком в скулу и говорил: "Экий ты строптивый элемент. Тебя надо стричь хорошенько. А то волосы кудрявятся, мысли завиваются. Кудрявая внешность, кучеря-

1. Виллем Билдердейк (1756–1831) — голландский поэт.

вая сущность". Я его ненавидел, ощущая его дыхание при этих словах на моем стриженом затылке. Это было чувство, точно противоположное тому, какое я испытывал малышом, когда, сидя на детском сиденье перед ним на велосипеде, тоже ощущал его дыхание на затылке и думал со страхом: если это прекратится, если он перестанет дышать, то умрет. Нет, сейчас я думал так: я хочу, чтобы это прекратилось, я хочу, чтобы он перестал дышать. Чтобы руки у него опустились и он умер. Но отец никогда не понимал, что со мной. Он считал меня просто глупым ребенком, который плачет, оттого что машинка прищемила кожу на затылке или больно дернула за волосок. Дело кончалось почти всегда тем, что отец, закончив стрижку, раздраженно снимал с меня простыню и, стряхивая мои светлые волосы на газету, где уже лежали темные волосы брата, говорил: "Убирайся с глаз моих, тяжелый случай".

Но я мстил ему. Я немедленно шел в наш магазин и воровал там все подряд. То, чего не мог съесть, бросал в вентиляционную трубу в уборной. А по вечерам долго-долго жег свет у себя на чердаке. Но отец всегда замечал это, потому что следил за тем, с какой скоростью крутится диск электросчетчика. Когда он кричал нам наверх "У кого там свет горит?", я немедленно щелкал выключателем и ничего не отвечал. Если отец был очень зол, он поднимался к нам на чердак и щупал, у кого лампочка теплая. Мне тогда опять доставалось, особенно если лампочка горела долго и отец обжигал об нее пальцы. И я снова не мог удержаться от мести. Таким образом, возникал порочный круг из наказания, мести, сострадания и чувства вины. С течением времени я уже не мог жить без этой борьбы. Она вносила дух приключений в жизнь, заполненную молитвами, чтением Библии и послушанием. По воскресеньям я вставал в четыре утра и, прежде чем выйти на улицу, проверял содержимое буфетов и банок для бисквитов. Из сковородки я часто доставал куски мяса, покрытые застывшим жиром, и съедал их пополам с кошкой, которой никогда ничего не давали, кроме ложки картофельного пюре, если оно оставалось. Оттого что я потом ставил сковородку на газ и расплавившийся жир снова покрывал ровным слоем всю поверхность, обычно никто ничего не замечал. Но если в доме был торт, то я ставил его на бок и снизу выедал середину, так что, когда после службы в церкви все садились пить кофе и мама резала его на кусочки, хлебная пила проходила через бисквит, как через сгнивший плод. Тогда отец порол меня, даже не спрашивая, чьи это проделки. И воскресенье было испорчено. А иногда я съедал с торта крем. Сначала только шоколадную розочку. Потом вторую,

с другой стороны, для восстановления симметрии. Потом еще по розочке справа и слева, чтобы было одинаково со всех сторон. А потом внутренний круг, его все равно никто не заметит. И так далее, и так далее, пока не обнаруживал, к своему ужасу, что от торта остался только неровный кусок бисквита, на который, когда мама доставала его из буфета и в нервном смущении показывала мужу со словами "Посмотри-ка, отец", младшие братишки и сестренки взирали с выражением огорчения и ужаса. И тогда все глаза обращались в мою сторону. На лице у старшего брата читался праведный гнев, потому что он тоже восставал против родителей, но делал это честно. Старшая сестра смотрела колючим взглядом, а у ее рта играла улыбка радости, оттого что мне сейчас достанется по первое число. А малыши выглядели просто сонными и чуть-чуть испуганными. Между тем отец уже приближался к вешалке, чтобы взять трость. Он гнал меня ударами трости вверх по лестнице до самой моей комнатки на чердаке. Но от присутствия на церковной службе это меня не избавляло, потому что за пять минут до ее начала меня призывали вниз. Я слушал проповедь с лицом, опухшим от слез и пощечин, искаженным от продуманной в недавнем уединении мести. К тому же перед службой мне никто не давал мятных конфеток, так что во время сбора пожертвований я вынужден был положить в кружку настоящий цент. Сразу после службы меня опять отправляли наверх. Этот ужас от съеденного торта жил во мне так долго, что, когда я, став постарше, тайком пошел как-то раз в кино, где перед основным фильмом показывали глупый ролик, в котором все швырялись тортами с взбитыми сливками, я смотрел его с комком в горле, а потом расплакался с чувством облегчения, но смеяться, как другие дети, все равно не мог.

Впрочем, я далеко не всегда был "горюшком", как говорил отец. Иногда выдавались дни, полные такого покоя и такой гармонии, что от счастья мои периферические нервы подрагивали под кожей, как у зверя. Потому что мне очень хотелось, чтобы все было иначе. Но когда человек стремится к добру, его слишком часто подстерегает зло, о чем отец читал нам вслух в Библии. На самом деле, я бросался из одной крайности в другую. Я был чертенком, который своим мстительным эгоизмом отравлял атмосферу в семье. Или я был ангелом. И тогда я, придя из школы, во всем помогал маме. Я подметал тротуар перед домом и собирал граблями листья в саду. А после какого-нибудь праздника или дня рождения, прошедшего без намека на ссору, я бывал так счастлив, что, целуя родителей перед сном, крепко обнимал их и говорил: "Какой это был чудесный день!" Потом останавливался за

дверью послушать, что они обо мне скажут. И однажды услышал, как отец говорил моей тете: "Ян — трудный ребенок. Но он и благодарный ребенок". И тогда я решил, что я не безнадежен, что все еще будет хорошо.

После очередного испорченного воскресенья брат говорил мне вечером, уже лежа в кровати: "Ты ни честный парень ни". Эта фраза навевает мне воспоминания о другой трагикомедии детских лет. Когда мы с родителями совершали воскресную послеобеденную прогулку по аллеям нашего городишки, отец нередко останавливался у какого-нибудь из многочисленных пустующих домов и, обведя его широким жестом от фундамента до конька крыши, произносил: "Посмотрите, вот настоящий, старый добрый особняк" или "Мощный домина, а сколько в нем места!" Затем он перечислял множество возможностей, которые открылись бы перед нами, будь мы владельцами такого большого дома. Потому что хотя он жил исключительно ради того нерукотворного дома на небесах, *где обителей много,* и хотя здесь на земле наш дом был лишь временным пристанищем, по мере роста семьи дело дошло до того, что отец уже не знал, где нас разместить. Все упиралось в финансовые трудности, и во время одной прогулки отец завел разговор об эмиграции. Сначала в шутку, но вскоре дело дошло до изучения атласов. И еще через некоторое время стало ясно, что земля обетованная — это Южная Африка; он стал приносить домой книги об этой стране и наводить справки в различных инстанциях. По вечерам при свете торшера он по слогам читал вслух тесты на языке африкаанс. Мы все умирали со смеху[1]. За столом мы коверкали свои голландские фразы на манер африкаанса, мы говорили: "Он ни хочет есть ни" или "Если ты ни будешь есть ни, ты ни умрешь ни". И весь дом распевал песни об англо-бурской войне, иногда пение слышалось разом отовсюду, от чердака до сада:

Трансвальским бурам ура, ура!
Они победили — ура, ура!
Им славу петь пора-пора!
Союзу Трансваля ура, ура!

1. Язык африкаанс возник на основе нидерландского (до начала XX в. считался его диалектом) и воспринимается жителями Нидерландов как искаженный нидерландский. В частности, для африкаанс, в отличие от нидерландского, характерно двойное и тройное отрицание.

Когда план переезда принял уже настолько отчетливые очертания, что нам разрешили разговаривать о нем с чужими, я сразу же рассказал обо всем в школе. Попугай[1] посмотрел на меня сначала с удивлением и недоверием, но, когда я сказал, что нас предупредили насчет летающих рыб, которые, возможно, будут неожиданно приземляться на палубу нашего корабля по пути в Южную Африку, он мне поверил. И все одноклассники повернули головы в мою сторону и стали на меня смотреть, ведь я скоро поплыву в такую даль. На перемене я рассказал ребятам, что Луи Весселс[2], возможно, еще жив и что я скоро пожму ему руку. Слово "кафр" приобрело для меня особое значение[3]. Но всем мечтам о диких зверях, прериях и девственных лесах разом пришел конец, потому что отец не смог наскрести денег на дорогу. Он ходил мрачный туда-сюда по дому, словно по слишком тесной клетке, а когда я видел его в саду, погруженного в мысли, точно придумывающего, как бы все-таки добраться до цели, мне представлялось, что с него станется взять и построить своими руками ковчег. Впрочем, чтобы этот ковчег поплыл, потребовался бы всемирный потоп, а ведь Господь Всеблагий дал слово в следующий раз истребить землю не водой, а огнем[4]. В школе я теперь помалкивал, но одноклассники, заметив, что я долго не уезжаю, стали меня дразнить: "Это он боится летающих рыб" или "Далеко же тебе придется тянуться, чтобы пожать руку Луи Весселсу". Когда Попугай спросил меня перед всем классом, в чем дело, я ответил, что переезд пока откладывается, и многие ребята захихикали. А Попугай сказал с насмешкой в голосе: "Значит, ты еще не завтра станешь исследователем Кристиана Девета"[5]. А я про себя подумал: "Этого никогда ни будет ни". Но мне от этого ничуть не стало смешно.

Потом отец разработал другой план. Южная Америка, Чили. "Великолепная страна, — говорил он. — И так мало населена. Для большой семьи там гигантские перспективы". И снова в доме появились атласы и книги с фотографиями. Отец с моим старшим братом просиживали за ними целые вечера. Они

1. Прозвище учителя.
2. Герой популярной серии книг Лауренса Пеннинга (1854—1927) о Второй англо-бурской войне.
3. Кафр — термин, который с XVI в. использовали португальцы в отношении чернокожих жителей Южной Африки и который впоследствии стал употребляться как оскорбительный расистский термин.
4. См., в частности, Евангелие от Луки. 12:49.
5. Кристиан Рудольф Девет (1854—1922) — генерал, предводитель бурских повстанцев.

ориентировались там уже лучше, чем в провинции Северная Голландия. Но в школе я ничего не рассказывал. И правильно делал: переезд в Чили тоже не состоялся.

Вскоре после этого, летом 1938 года, я закончил в школе первую ступень. Дальше я хотел пойти учиться в HBS[1], потому что хотел стать биологом, как мой дядя. Но Попугай сказал моим родителям, что меня лучше отправить в MULO[2], где можно учиться, не напрягая мозг, и где я буду на своем месте. Сейчас, глядя на мой последний табель, я удивляюсь такой рекомендации, потому что, судя по оценкам, я хоть и не блистал, но несомненно был твердым середняком.

Вплоть до самых вступительных экзаменов в среднюю школу я пытался обработать маму окольными путями. Садился с каким-нибудь животным на руках в саду около крыльца, на котором мама, по локоть в пене, стирала на цинковой стиральной доске простыни, и говорил жалобным голосом, якобы себе под нос, но достаточно громко, чтобы ей было слышно: "Я уже никогда не смогу учиться так, чтобы все о тебе узнать, милый зверек". Но мамин стандартный ответ был такой: перед тобой открыт весь мир, кто хочет, тот найдет свой путь. "Ты можешь заняться чем угодно, — говорила мама, — потому что MULO означает 'более расширенное образование'". А старшая сестра уточняла: "Да, но это означает 'более расширенное *низшее* образование'". — "Не суйся не в свое дело", — сердилась мама. Уходя прочь, сестра-вредина продолжала ворчать: "Все равно это низшее образование. Просто чуть-чуть расширенное".

И вот после летних каникул я стал ходить по улице Рейнсбургервех в свою школу MULO, находившуюся в Ноордэйнде. Час ходьбы. Уже в первый же день мне было поручено купить после школы на обратном пути в магазине С. Жамина[3] десять буханок хлеба, потому что там он стоил на один цент дешевле, чем у нас. Две упаковки по пять буханок в светло-сиреневой бумаге, перевязанные веревкой, которая так врезалась в пальцы, что я боялся, как бы упаковки с хлебом не упали на дорогу, отрезав пальцы до конца. А когда я ставил свою ношу на землю, чтобы отдохнуть, приходилось внимательно

1. Hogere Burgerschool (досл. — высшая гражданская школа) — тип средних школ, дающих хорошее образование, после которых возможно поступление в университет.
2. (Meer) Uitgebreid Lager Onderwijs (досл. — более расширенное низшее образование) — тип средних школ, дающих элементарное образование, после которых невозможно поступление в университет.
3. До войны известная сеть продуктовых магазинов.

смотреть, куда я их ставлю, — не в собачье ли дерьмо и не в зеленоватый ли плевок, ведь упаковка была ненадежная. Потом я таскал домой этот хлеб через день, для чего всегда носил в кармане два носовых платка, хотя не был простужен. Конечно, я мог бы пользоваться в этих целях и рукавами пальто, достаточно длинными, чтобы закрыть ладони. Но на сукне наверняка остались бы следы, особенно заметные из-за того, что сестра сшила мне пальто, перелицевав старое. Ведь изнанка было более ворсистой, чем лицевая сторона. Сестра всегда внимательно следила, как я ношу это пальто. Вешаю ли я его в передней на плечики, ведь оно было слишком тяжелым, чтобы висеть просто на петельке, и не вытираю ли я нос рукавом. Ибо она очень гордилась этим пальто, считая, что сумела, как она сказала при последней примерке, придать неподатливой ткани фасон и форму. Но я считал, что это не пальто, а кошмар. Для осени оно было слишком теплым, меня не покидало ощущение, что я подобен сотруднику похоронного бюро, который всегда должен выглядеть церемонно, в то время как другие могут снять свой легкий плащ и повесить на руку. Рукава пальто были почти той же длины, что и у полицейской формы, которую однажды взяли мне напрокат для участия в шествии, зато в груди оно мне так жало, что с застегнутыми пуговицами я не мог дышать. Если же я носил его расстегнутым, — как обычно и делал из-за жары и чтобы не было видно, что книзу оно по-идиотски расширяется, — то оно казалось еще более тяжелым. Как будто в торчащие вперед полы под подкладку насыпан песок. Жаловаться дома не имело смысла. Мама говорила: “Это все только внешнее”. Или пела песенку:

Одетый убого
Бедняк милей
Господу Богу
Чем бо-о-огатей...

Но однажды, когда я шел домой в расстегнутом пальто, согнувшись под тяжестью двух упаковок хлеба в обмотанных носовыми платками руках, кто-то произнес у меня за спиной: “Ну и странный субъект!” — и это переполнило чашу. В парке, на скамейке у пруда, я снял свое пальто. Но прежде чем его выкинуть, сообразил, что его наверняка кто-нибудь найдет и даст объявление в газету: “НАЙДЕНО зимнее пальто из грубого сукна (домашний пошив)”. И тогда родителям придется еще и выплатить вознаграждение, чтобы получить обратно этот чудовищный предмет одежды. Поэтому я оторвал клочок бумаги

от хлебной упаковки и написал: “Старьевщик, заберите это пальто. В нем завелась моль и прочая дрянь. Если оно вам не нравится, выбросите его в лесу. Госпожа Бёйс”. (Так звали одну нашу клиентку: оказывается, очень трудно взять и на ровном месте придумать фамилию. Первое время боялся, что кто-нибудь все же принесет ей пальто, даже без адреса. А потом, доставив госпоже Бёйс покупки и стоя у открытой двери в ожидании корзины, я всякий раз со страхом смотрел на вешалку.) Записку я вставил в петлю от пуговицы и бросил пальто в заросли остролиста за трансформаторной будкой. Дома сказал, что во время большой перемены играл в футбол и повесил его на ограду, а к четырем часам, когда уходил домой, оно пропало. Отец сказал, что я надоел ему хуже горькой редьки. Наказание: неделю ложиться спать без ужина. Но от пальто я все же избавился. Сестра была в бешенстве. Сказала, что я наверняка нарочно выкинул его. “Ты у меня еще получишь”, — сказала она. То, что при этих словах она взглянула на ножную машинку Зингер, было, наверное, случайностью, но я это воспринял как дополнительное подтверждение угрозы, звучавшей в ее словах. В середине войны она нашла случай реализовать свою угрозу, я работал тогда в бюро по выдаче продовольственных карточек и должен был ходить на работу в приличном виде. Из коричневой материи с ворсом, такой толстой, что на ней вообще не образовывалось складок — только морщины, как на патоке, — сестра сшила мне куртку: нечто среднее между подрезанной монашеской рясой и нарядом средневекового оруженосца. Но пока я, слава Богу, ходил в школу налегке. Поначалу это даже сказалось на моей успеваемости, но вообще-то я к тому времени уже скатился в пропасть из-за ощущения полной безнадежности, внушенного мне тяжеленным пальто, и мыслью о том, что жизнь моя испорчена, ибо я никогда не смогу изучать биологию. Оценки в табеле перед рождественскими каникулами были настолько плохими, что родители решили забрать меня из школы и поручить мне работу в магазине. И это было хорошо для всех, потому что отец теперь дни напролет занимался скупкой золотого лома. А я стал обходить наших немногих клиентов по домам и собирать заказы. Списки заказов были безрадостными:

1 фунт стирального порошка,
1 фунт соли,
1 фунт соды,
1 пачка хлора,
1 пачка синьки,
1 кусок мыла “санлайт”.

Когда я приносил товар и хозяйка расплачивалась со мной, я должен был написать на страничке в книжке с заказами слово “выполнено” и поставить свою подпись. Мне это всегда напоминало слова Христа, который, испуская дух на кресте, произнес: “Совершилось!”[1] Как-то раз я так и написал. Хозяйка тогда ничего не заметила, потому что не была строгой кальвинисткой и плохо знала Писание: среди наших покупателей кальвинистов к тому времени уже не осталось, они все переметнулись в “Алберт Хейн” или “Ве-Ви-Во”, где цены были чуть-чуть ниже. Но мама увидела мою ошибку сразу, когда я принес эту книжку со следующей серией заказов. Она ничего мне не сказала, потому что все поняла. Наверное, она сама тоже считала, что после выполнения каждого мучительного заказа можно было сказать “Совершилось”. Мама просто стерла это слово в книжке и исправила на “выполнено”. Но под буквами, написанными ее аккуратным почерком, по-прежнему читались мои каракули, выведенные с сильным нажимом. Когда отец спросил, что это такое, мама ответила: “Да так, ерунда” — и, конечно, начала мурлыкать себе под нос.

Нашим жильцом тогда был немец по фамилии Шмидт, худощавый мужчина с вертикальными морщинами на щеках, который назвал себя коммивояжером по продаже висячих замков. У него был чемоданчик с образцами, но, когда он уходил из дому, отец часто говорил: “А чемоданчик-то он снова оставил у себя в комнате”. Либо отец встречал его на улице где-нибудь в Лейдене, и постоялец смущался при встрече. Мой старший брат сказал, что, наверное, это шпион, а отец велел ему держать язык за зубами, ведь если это и шпион, то шпионит он в пользу хороших, так как после каждой поездки в Германию постоялец рассказывал, как там все ужасно и как притесняют евреев. И тогда во время вечерней молитвы отец молился за евреев, прося Господа защитить их от зверя, выходящего из бездны[2], ибо Он ведь однажды уже вывел этот народ, предводительствуемый Моисеем, посуху из рабства египетского. Вскоре после этого в наш магазин зашел маленький еврейчик с синими щеками. Он спросил у отца, есть ли у него золотой лом, и предложил такую высокую цену за грамм, что отец решил, что выгоднее будет продать золото ему, вместо того чтобы везти в “Дрейфхаут”[3] в Амстердаме. Отец вынес ему какое-

1. Евангелие от Иоанна. 19:30.
2. Откровение Иоанна Богослова. 11:7.
3. Известная фирма по скупке и продаже драгоценных металлов и ювелирных изделий.

то количество золота, тот его взвесил и назвал вес — на шесть граммов меньше, чем на самом деле. Отец вытащил из внутреннего кармана собственные весы в деревянном футлярчике и взвесил золото снова. И тут человечек возьми да и скажи: "У самого штаны на жопе драные, а еще хорохорится". Я стоял, не понимая, на каком свете нахожусь, я думал, что отец применит удар головой, который в свое время освоил, работая в амстердамской полиции. Но он сначала аккуратно убрал весы в футляр. Затем схватил гостя за грудки, поднял в воздух, другой рукой открыл дверь и выбросил его на улицу со словами: "Вали отсюда, пархатый, неудивительно, что в Германии вам дают под зад!" На той же неделе он точно так же вышвырнул из магазина члена NSB. Это был подрядчик, живший неподалеку от нас, который хотел поймать отца на удочку рассказами о том, что в Германии уважают большие семьи и награждают после рождения десятого ребенка. На это отец ответил раздраженно, что за соблюдение библейской заповеди "Плодитесь и размножайтесь"[1] ему не требуется наград от мирских властей. Но когда этот человек начал выступать против евреев, отец указал ему на дверь со словами: "Они уже были просвещенным народом, когда вы еще ходили в звериных шкурах". Я часто вспоминал отцовские слова во время войны, встречая жену этого партийца, одетую в натуральную шубу.

Наш жилец-немец был симпатичным человеком. Уезжая в очередной раз в Германию, он пообещал привезти нам роликовые коньки. Родители попытались снизить накал нашего ожидания, объяснив нам, что он пошутил и что роликовые коньки слишком дорого стоят. Но я свято верил в серьезность полученного обещания, хотя надо мной и смеялись, потому что наш постоялец отсутствовал слишком долго, и все решили, что даже если он изначально и правда намеревался привезти нам гостинец, то со временем наверняка забыл. Но нет, когда он наконец-то вернулся, при нем было три пары роликовых коньков. Эти ролики бесповоротно отпугнули последних клиентов, которые еще заглядывали изредка, по случайности, в наш магазин.

Поскольку мама была спокойна, только если мы находились поблизости от нее, а отца дни напролет не было дома, нам разрешили кататься по каменному полу внутри магазина. И мы катались вокруг двух прилавков, поначалу отталкиваясь от пустых ящиков и большого чугунного колеса кофейной мельницы. Но вскоре мы носились уже с такой скоростью,

1. Бытие. 1:28.

что, если кто-нибудь хотел пройти через магазин на улицу или в дом, предварительно надо было подать сигнал СТОП, а то мы бы на него наехали и свалили с ног. Возвращаясь домой, я уже на углу слышал звук железных колесиков. Стоял такой лязг, как будто в торговом зале работала шлифовальная машина. Затем между поставленными друг на друга витринными коробками я видел мелькание согнутых пополам призраков брата и сестры. Если я входил в магазин, забыв крикнуть "Осторожно!" (колокольчика не было слышно), то брат мчался на меня, перед моим носом резко сворачивал и кричал: "Пейненбург[1] на вираже!" В ту пору к нам вдруг перестал приходить Почечник, рыжеволосый толстяк, который до этого так часто покупал у нас жидкий ароматизатор "Магги", что отец приговаривал: "Уж и не знаю, как бы у него не стало плохо с почками". Да и Мятная Пастилка, бледный застенчивый юноша, с железной аккуратностью приходивший каждую пятницу за пастилками "Кингс" и для которого однажды, когда в магазине его любимых пастилок не было, отец принес пачку из шкафа в гостиной, где она лежала рядом со сборником псалмов в ожидании воскресенья, тоже больше не появлялся. Насчет него я знаю совершенно точно, что он перестал приходить именно из-за роликовых коньков. Как-то раз я в одиночестве гонялся на роликах по магазину и увидел, что сюда идет этот юноша. Я тотчас заехал за прилавок и присел на корточки, но мама так долго не слышала звонка, что я не удержался на ногах и упал навзничь. Ноги вылезли из-под прилавка со стороны торгового зала как раз по щиколотку, и колесики продолжали крутиться со звуком р-р-р-р-р. Я не знал, как подтянуть ноги, и неподвижно лежал на спине. Какое-то время было тихо, потом я снова услышал звонок. Когда я наконец-то с грехом пополам поднялся и осторожно выглянул из-за прилавка, то увидел, что Мятная Пастилка стоит уже на другой стороне улицы и смотрит на наш магазин в задумчивости. Потом он пошел прочь, повесив голову. И даже немец, который сам был всему причиной, не смог нас выдержать, так это нам тогда показалось. В один прекрасный день он исчез навсегда, не попрощавшись. Его чемоданчик с образцами остался у него в комнате, как будто нескольких минут, необходимых, чтобы забрать его с собой, у постояльца категорически не было. Чемоданчик еще долго стоял на том же месте рядом с тростью, украшенной железными пластинками с изображением идиллических немец-

1. Ян Пейненбург (1906–1979) – знаменитый голландский велосипедист, чемпион 30-х гг.

ких горных деревушек, потому что этот постоялец всегда платил за три месяца вперед. Затем чемодан переехал на чердак, и отец стал, по мере надобности, брать из него замки. Со временем у нас даже на кроличьих клетках появились великолепные блестящие висячие замки. Да и мы, дети, время от времени брали из чемодана по замку, чтобы использовать для меновой торговли, но в итоге зашли слишком далеко, потому что, когда отец уже в середине войны нашел чемодан на чердаке пустым и раздавленным чьей-то ногой, он поставил его, качая головой, рядом с помойным баком, гневно глянул на меня и сказал: "Такое впечатление, что в этом доме все исчезает бесследно".

Поскольку теперь я работал в магазине, то я получал карманные деньги по пятнадцать центов в неделю. В сумме с тем, что я воровал, это было достаточно, чтобы в субботу купить пачку дамских сигарет с красным фильтром "Розита" (которые я курил настолько неуклюже, что Вим Крейгер сказал мне: ты куришь так, как другие целуются с девочками), съесть три крутых яйца под майонезом в маленьком кафе на Стейнстраат в Лейдене и потом сходить в кино. Я ходил в кинотеатр "Рекс" на Хаарлеммерстраат, где третий ярус стоил пятнадцать центов. Сначала я даже не решался посмотреть картинки из фильма, вывешенные в окне, или прочитать, стоя напротив, название фильма, написанное на огромной вывеске над входом. Я шел к кинотеатру, прижимаясь к магазинам, и чем ближе подходил, тем сильнее съеживался. А потом как можно более незаметно проскальзывал в вестибюль к кассе. К моему месту в большом освещенном зале с великолепным декором на стенах меня провожал человек в униформе с золотыми галунами. Он не спрашивал меня, принадлежу ли я к реформатской церкви и разрешается ли мне ходить в кино. Вокруг меня сидели лейденские мальчишки, которые вели себя отнюдь не тихо и вовсе не были под впечатлением от происходящего. Они толкали друг друга в бок, кричали и вертелись на своих откидных стульях. Нередко какой-нибудь из них даже перешагивал через спинку, чтобы пересесть на ряд ближе. Я не решался закурить из опасения, что они будут надо мной смеяться, потому что они даже разговаривали друг с другом с сигаретой в углу рта, и сигарета при этом нахально раскачивалась вверх-вниз. Дым они выпускали через нос. Когда сказка кончалась и в зале зажигался свет, все вокруг принимало несколько неприглядный вид. С красным от волнения лицом я ступал по шкуркам от арахиса и оберткам от ирисок. Шумная толпа выносила меня на улицу, где я останавливался у какой-нибудь витрины и стоял до тех пор, пока все зрители не проходили мимо, так что никто уже не мог бы подумать, что я из их числа. После этого я не-

сколько раз робко оглядывался, переходил на другую сторону улицы и сворачивал как можно скорее влево. Вечером, при слабом свете керосиновой лампы, которую отец купил, чтобы экономить электричество, поближе к которой садилась вся семья читать книги или делать уроки, чтобы не испортить глаза, я сидел и мечтал о Мирне Лой и Клодетте Кольбер. Пока мама не спрашивала, почему я так затих, не случилось ли что-нибудь. Тогда я вставал и отстраненно говорил, что пойду спать. Отец считал, что мне нездоровится. И был недалек от истины, потому что призрачный киномир пронзал мое тело, точно лихорадка. Я лежал под одеялом, в изумлении и отчуждении, и не понимал, как этот мир может согласоваться с жизнью, полной забот, которой жили люди там, на первом этаже, приходившиеся мне родителями.

В магазине теперь было слишком мало работы, даже для мальчика, которому не исполнилось и четырнадцати. Так что когда я проезжал на велосипеде с корзиной на переднем багажнике, в которую в детстве сажали меня самого, мимо пустыря, там и сям поросшего ивняком, испещренного рытвинами и впадинами, на котором играли в футбол мальчишки, я смотрел, есть ли среди них мои прежние приятели, поступившие в HBS. Если да, то я отъезжал немного назад и ставил велосипед с корзиной в кусты. Затем, затянув потуже шнурки на ботинках, подходил к играющим небрежной походкой, как будто оказался здесь случайно. Меня всегда принимали с распростертыми объятиями, потому что ребят чаще всего бывало нечетное число и вратари играли заодно нападающими. Что касается последнего, то здесь я снискал заслуженную славу: я умудрялся после атаки на ворота противника вовремя домчаться до собственных ворот и защищать их с таким неистовством, как будто не пробежал только что туда-сюда через все поле. Но и эта радость со временем была для меня отравлена, потому что, хоть мы гоняли, разумеется, не настоящий футбольный мяч, а лысый теннисный шарик, то и дело терявшийся в траве, наши футбольные баталии имели последствия для носков моих ботинок. Как-то раз отец гневно спросил, не думаю ли я, что у них с матерью слишком мало забот и что я живу на свете ради своего удовольствия. И так ли уж мне надо носиться, ополоумев, за мячом и ставить себе синяки на ногах, в то время как они бьются, как рыба об лед, чтобы нас прокормить. Поскольку другой пользы от меня, по его словам, ждать не приходится, а уголь немыслимо дорог, он велел мне впредь, на обратном пути от клиентов, собирать в пустую корзину деревяхи, валяющиеся по обочинам и в заброшенных садах. Так что я стал разъезжать по деревне с торчащи-

ми из корзины замшелыми пнями, стволами и ветками, а на корзине по-прежнему были наклеены красно-желтые таблички со словами “Ван Нелле”, которые, однако, уже мало походили на рекламу. Корзина страшно перепачкалась, и между ивовыми ветками набилось столько трухи, что казалось, будто там поселилось несколько морских свинок. Однажды, после дождливых выходных, на трухе появились грибочки, которые за день доросли до пяти сантиметров, а потом превратились в черные влажные лужицы.

А потом наступил конец. Проводилась мобилизация, и отца направили на работу в столовую при замке Ауд-Пулгейст, где располагался корпус самоходной артиллерии. Отец закрыл магазин и побелил окна изнутри мелом. Меня послали поблагодарить наших весьма немногочисленных покупателей за то, что они до сих пор оставались нашими клиентами. В нашем доме расквартировали офицера, с которым мне было велено вести себя вежливо и приветливо, несмотря на то, что он всегда делал неприличные жесты, когда шел следом за мамой — словно хочет схватить ее за зад. При этом он корчил рожи и подмигивал мне, будто в шутку, но я внимательно следил за ним. Во время обеда он сидел, скорчив бледную круглую физиономию, точно надутая жаба, засунув салфетку за жесткий воротничок кителя, перед тарелкой с бифштексом; наверное, когда разразилась война, он “с перепугу пал смертью храбрых”.

Мел на окнах магазина еще не успел высохнуть, а отец уже разобрал саму витрину и на расстоянии двух метров от окна соорудил из этих досок перегородку. Еще одна комнатка. Меня первого отправили туда спать, потому что мою комнату обработали морилкой. Мне было страшновато находиться прямо за этим белым стеклом, через которое падал свет фонаря, как будто постоянно светила полная луна, и по которому скользили тени прохожих. В раме была щель, в ней под слоем пыли и мела виднелись высохшие осы и мухи, некогда прилетевшие сюда на запах сушеных тропических фруктов. Остальную часть торгового зала отец отгородил ящиками, оставив узкий проход. За этими ящиками мне было велено складывать пни и прочие деревяхи, которые я по-прежнему прилежно таскал домой. Я навалил их такую гору, что в конце зимы, убирая печурку перед летом на чердак, отец сказал маме: “Видишь, жена, вот мы и пережили холода, и даже совсем неплохо”. Однажды, проходя в свою комнатку у окна, я увидел на пнях за ящиками множество светящихся привидений. Бледный и дрожащий, я на ватных ногах вернулся в гостиную. Отец спокойно встал и бесстрашно пошел вместе со мной, потому что когда-то в дет-

ства тоже видел дьявола и изгнал его с помощью молитвы. Когда он включил свет, никаких привидений за ящиками не было, и он сказал, что это мое воображение и что у меня наверняка нечиста совесть. Но едва он выключил свет, они разом вернулись, еще более явные, чем сначала. Я схватил отца за руку, и так мы постояли некоторое время. Пока он не рассмеялся со словами, что это в гниющей древесине светится фосфор. Но в ту ночь я все равно не мог спать спокойно. У меня было ощущение, что рядом со мной, с той стороны перегородки, неуклонно разрастается гора кишмя кишащих чудищ, которые вот-вот сметут эту перегородку и раздавят меня между ней и витринным стеклом.

Так год и приближался к своему концу — наполненный страхом и запахом гниющего дерева. Иногда, посреди ночи, по улице шли солдаты, скрипели колеса пушечных лафетов, громкие голоса понукали лошадей. Если они останавливались на отдых, то мне сквозь мел было видно, как здесь и там зажигаются огоньки сигарет. И я слышу слова отца, когда он во второй день Рождества задувал вечером догоревшие свечи: “Ну вот, Рождество 1939 года уже навеки принадлежит прошлому”. Я тогда вышел на веранду и встал у окна, за занавеской. Во дворе я увидел чурбан для колки дров и всаженный в него топор, черневшие на фоне снега. И у самого окна неяркую низанку арахисовых орешков для синиц, повешенную на ветках грушевого дерева. И я не мог придумать ничего, что вызвало бы у меня радость.

Сейс Нотебоом

Все пути ведут в Сантьяго

Перевод Евгении Ярмыш

Через Арагон в Сорию

Этого не доказать, и все-таки я верю: есть в мире места, встречи или расставания с которыми умножаются на переживания тех, кто приезжал и уезжал отсюда до меня. Чуткие души почувствуют мягкое сопротивление воздуха вокруг Схрейерсторен, Башни плакальщиц в Амстердаме, связанное с горем провожающих, горем, которое мы уже не понимаем. Наши пути давно не длятся годами, мы точно знаем, куда отправляемся, и шансы, что мы вернемся, намного выше. При входе в собор Сантьяго-де-Компостела, в портале, стоит мраморная колонна с глубоко впечатавшимися следами пальцев, выразительной, экспрессионистской пятерней, созданной миллионами человеческих рук, и в том числе моей. Впрочем, если я скажу "и в том числе моей", это будет неточностью, ведь я никогда с таким чувством не хватался за эту колонну после пешего паломничества длиной больше года. Я не был жителем Средневековья, не веровал и приехал на машине. Если представить, что моей руки здесь нет, если бы я никогда не приезжал сюда, эта пятерня, протертая в твердом мраморе пальцами давно умерших, все равно осталась бы. И все-таки, вложив свою собственную руку в этот негатив руки, я удивительным образом оказался причастен к общему произведению искусства. Мысль воплощается в материи, и это всегда поразительно. Сила одной мысли заставляла правителей, крестьян и монахов прикладывать руку к колонне именно в этом месте, каждая рука стирала мельчайшую частицу претвердого мрамора, и, по мере того как убывал камень, все отчетливей делалась рука.

С этими мыслями, едва занимается июльское утро, я медленно отчаливаю на корабле в Барселону. Там я возьму напрокат машину и напрямую ли, зигзагами ли, в третий раз в жизни пересеку Испанию по дороге в Сантьяго-де-Компостела. Паломничество не к апостолу, как у других, а скорее к самому себе, но давнему, ставшему призрачным, — но-

© 1992 Cees Nooteboom
© Евгения Ярмыш. Перевод, 2013

вое исполнение старой пьесы. Что я ищу? Одна из немногих постоянных величин в моей жизни — моя не убывающая любовь к Испании. От меня уходили женщины и друзья, но страна так быстро не уйдет. Когда в 1953 году я, двадцатилетний, впервые попал в Италию, мне показалось, что я нашел все, что, сам того не подозревая, искал. Блеск Средиземноморья взорвался, точно бомба, вся жизнь — единый гениальный открытый театр среди неопрятных декораций великого искусства, насчитывающего тысячи лет. Все — цвета, пища, рынки, одежда, язык, жесты — казалось изысканнее, ярче и подвижнее, чем в низкой северной дельте, где я вырос, и я был покорен. Испания после этого оказалась разочарованием. То же средиземноморское солнце, но язык показался мне жестким, земля — иссушенной, а жизнь — грубой. Она не вбирала в себя, она была неуютной, непримиримо старой и неуживчивой — ее нужно было завоевать. Теперь же я не могу так думать. Италия по-прежнему восхитительна, но я чувствую — и здесь почти невозможно не прибегнуть к загадочным мистическим словам, — что испанский характер и испанский пейзаж соответствуют тому самому, "что я такое", сознательному и неосознанному во мне самом, тому, кто я есть. Испания груба, непослушна, эгоцентрична, жестока, Испания готова свернуть себе шею из-за ерунды, она беспорядочна, она мечтательна, она безрассудна. Она завоевала мир и не смогла воспользоваться им, она привязана к своему средневековому, арабскому, иудейскому и христианскому, прошлому и пребывает в нем со своевольными своими городами, утопающая в бескрайних пустынных просторах, точно материк, спаянный с Европой, но совсем не Европа. Тот, кто проехал лишь обязательными маршрутами, не знает Испанию. Тот, кто не пытался заблудиться в запутанном лабиринте ее истории, не поймет, по каким местам проезжает. Испания — это любовь на всю жизнь, удивляться не перестаешь.

Держась за поручни корабля, я смотрю, как сгущается тьма над островом, где я провел лето. Надвигающаяся ночь прокрадывается на холмы, все темнеет, один за другим загораются высокие неоновые фонари, освещают набережную бледным мертвенным светом, принадлежащим, как и луна, средиземноморской ночи. Приезд и прощание. Уже много лет езжу я туда-сюда между материковой Испанией и островами. Белые корабли стали больше, ритуал же остается неизменным. Пристань кишит матросами в белом, провожающими и невестами, на палубе полно отъезжающих отпускников, солдат, детей и бабушек. Уже подняли на борт сходни, корабельный гудок вот-вот еще раз издаст над гаванью великий прощальный вопль, и по городу прокатится эхо — тот же звук, только слабее. Верх и низ связывает лишь одна нить — туалетная бумага. Внизу — ее край. Сверху, на поручнях, сам рулон. Когда корабль начнет отхо-

дить от набережной, этот рулон станут медленно разматывать до тех пор, пока не оборвется последняя, самая тонкая, связь с оставшимися на берегу, до последнего спешащими за судном, и тонкие прозрачные бумажные листочки не уйдут, кружась, в черные воды.

По-прежнему слышны крики, несутся ответные вопли, но уже не разобрать, кто что кричит и что хотят прокричать. Мы выходим из продолговатой узкой бухты, мимо маяка, позади остается последний бакен, и вот остров превращается в темную химеру внутри другой химеры — ночи. Это неизбежно: мы принадлежим кораблю. На юте слышны гитары и хлопанье в ладоши, люди поют, пьют, пассажиры на палубах, в деревянных шезлонгах, настраиваются на долгую ночь, уже звонят к ужину, и в старинной столовой под суровым портретом короля Испании снуют официанты в белых жилетах. Телевизор в холле передает нечеткие, едва различимые, картинки настоящего мира, но на них почти никто не смотрит. Пассажиры откладывают сон, слоняются по палубам и пьют, пока не закроются бары. Но вот стихает последняя залихватская песня, и ничего не слышно, кроме бьющихся о борта волн. Одинокий пассажир отыскивает свою каюту и укладывается на маленькой железной кровати. Пару раз он просыпается и выглядывает в иллюминатор. Громадная поверхность воды движется в медленном сияющем танце, загадочная и немного опасная, спокойная и могучая, словно вот она вся — в одном этом медленном, тягучем движении, внутри которого столько всего скрыто. Белый серп месяца то появляется, то исчезает в атласных волнах, одновременно сладострастный и зловещий. Пассажир — городской житель — никак не сообразит, что же делать с огромной и молчаливой стихией, из которой стал теперь состоять его мир. Он задергивает на круглом окне маленькую бедную занавеску и с резким звуком зажигает ночник у кровати. Шкаф, стул, стол. На железной стенке в никелевом держателе — графин с водой, на него надет стакан. Полотенце Средиземноморской компании: завтра пассажир прихватит его с собой, вместе со стаканом с флажком флота. Пассажир уже не раз ездил так, и у него уже много таких полотенец и стаканов.

Постепенно пассажир сдается на милость качки, танца плода в утробе воды, и уже знает, что будет дальше. Ночью он, наконец, уснет, затем сквозь бесполезную занавеску прольется первый свет, и он выйдет на палубу вместе с другими пассажирами с не выспавшимися лицами и увидит, как приближается город. В раннем солнечном свете он выглядит краше, чем есть на самом деле, лучи оставят на отвратительных газовых резервуарах и смоге легкие светло-золотистые полосы в духе импрессионистов, и на миг покажется, что это не бесчувственные задворки миллионного города, а туманный, позолоченный рай.

Теперь корабль входит в бухту, мягко скользя меж ка-

менных рукавов. Среди высоких кранов он стал маленьким. Вода больше не заглатывает его, она уже не принадлежит морю, да и единения на борту как ни бывало, пассажиры снова сами по себе. Каждый занят собственными мыслями в ожидании, что будет дальше. Стюарды в каютах стаскивают постельное белье и подсчитывают, сколько исчезло полотенец. На пристани уже тепло.

Мне кажется, что плавить время — типичное занятие испанцев, и нигде время не расплавлено так прекрасно, как на размягченных и превратившихся в застывший стекловидный сгусток часах Дали. Я жду машину и читаю в "Mundo Diario" письмо, написанное больным художником народу, чтобы объяснить, насколько он *здоров*. Подпись под напечатанным на машинке письмом (шапка: Театр-музей Дали) нетвердая, но образ по-прежнему узнаваем: буквы имени мага, взметающиеся в росчерке похожего на Дон Кихота рыцаря-всадника с храбро выставленным в пустоту бумаги копьем. Я смотрю на эту подпись и думаю, насколько же все-таки испанский феномен Дали и как легко созданный им собственный образ впишется в национальный паноптикум рядом с пекущей блины Тересой Авильской, трупами монахинь, повешенных во время Гражданской войны, гарротой и Филиппом Вторым, медленно гниющим в ставшем тюрьмой собственном дворце. Я закрываю глаза и вижу художника, усы — две заостренные антенны, направленные в космос, чтобы уловить слабые загадочные сигналы, не различимые для всех прочих усов. "Сообщение супругов дона Сальвадора и доньи Галы Дали", — так величественно просто написано в этом письме без обращения. "Имеем радость представить вниманию каждого", "нижеподписавшийся художник надеется..." и подобные этим роскошные обороты сообщают посланию вид медицинского бюллетеня, из тех, что вешают на воротах дворца, когда все знают, что король при смерти. Непонятно, говорит ли "нижеподписавшийся художник" всерьез или это черный юмор, но, как бы то ни было, он сообщает народу, что снова сделал первые мазки кистью. Когда картина будет закончена, Дали отдаст ее жене, а та, в свою очередь, передаст картину музею. Подпись, сильно увеличенная, помещена в газете еще раз. Редакция предъявила ее профессору Лестеру. Кто такой профессор Лестер, не объясняется, но, если некто носит неиспанскую фамилию, а имени у него нет вовсе, здесь это означает, что такому человеку доверять необязательно. Профессор считает, что Дали следует быть особенно осторожным между девятым и четырнадцатым ноября. В это время Плутон сойдется с Лилит (черной луной) и вместе с созвездием Рака образует квадратуру, которая пройдет над Кадакесом, где живет художник. Чтобы избежать беды, Дали следует отправиться на это время в Грецию, где обстановка для Тельцов менее опасна.

Мой путь лежит в Сорию, Старую Кастилию, Кастилья-ла-Вьеха. Из Барселоны по

пустой автодороге можно добраться в Сарагосу. Я вижу город, раскинувшийся вдали, точно призрак, дрожащий в жарком воздухе. Здесь начинается настоящая Испания, meseta, цепь столовых гор, плоское нагорье Кастилии — безжизненное, сухое, огромное, как море. С XIII века, с тех пор как богатые овцеводы объединяли здесь стада для перегона отар из иссушенных прерий Эстремадуры на зеленые склоны северных гор, мало что изменилось. *Soria pura, cabeza de Extremadura*[1], — написано на гербе Сории. Здесь Арагонское и Кастильское королевства встречались с магометанским югом. Повсюду вдоль Дуэро, образующей водную преграду, стоят развалины мощных крепостей, и их неуклюжие очертания возвышаются над пейзажем. Берланга, Гормас, Пеньяранда, Пеньяфил... Эти крепости цвета сухой земли до сих пор здесь: они угрожающе раскинулись во всю ширь среди низких холмов, волнами перекатывающихся по земле. Пустые, оголенные остовы, мощные скелеты вымерших животных — хозяева голой земли с низкими, неприметными деревушками, где церкви и монастыри хранят воспоминания о былом величии. Их скульптурный каллиграфический стиль напоминает об исчезнувших арабских правителях. Здесь время поистине расплавилось и застыло навсегда. Путник наблюдает, как растут белые пятна на карте. О них нечего сообщить, он чувствует себя затерянным в колодце столетий, среди грозных руин. Катится по земле вместе с путником горячий ветер, и мало кто встретится ему по дороге, ведь Сория — самая заброшенная провинция Испании, люди уезжают отсюда — здесь никакого заработка.

Я спасаюсь от жары в монастыре Веруэла. Словно рывком закрываешь за собой наружную дверь и вступаешь в другой, прохладный, мир. Дубы и кипарисы, мягкий плеск воды, шорох листьев, тень. Ни души, ни машин других гостей, ничего. В Италии часто кажется, что многочисленные сокровища в беспорядке сыплются из рога изобилия, им нет конца, увиденное пьянит, и глаза разбегаются. В Испании же, особенно в этих краях, придется постараться их найти. Придется преодолевать многие мили и завоевывать страну. В характере испанцев есть что-то монашеское, и даже в великих королях можно разглядеть отшельников. Филипп и Карл строили для себя монастыри и годами поворачивались спиной к миру, которым им надлежало управлять. Все, кто много ездил по Испании, уже привыкли и надеются: из ниоткуда вдруг возникнет анклав, оазис, обнесенное стенами, похожее на укрепление, погруженное в себя место, где тишина и отсутствие других неуклюже хозяйничают в душе. Здесь повсюду так. Я уже прошел под всеми четвертями герба Фердинанда Арагонского и под более скромными,

1. *Чистая Сория, глава Эстремадуры* (*исп.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

увенчанными митрой гербами архиепископа Сарагосского и монастырского настоятеля, позвонил и стою во дворе, а в ответ — ничего. Я медленно иду к гербам и вглядываюсь в них, но они уже ничего не значат. Я что-то вижу, но не различаю, что именно. Когда-то люди "читали" эти гербы, примерно так же, как я сейчас дорожные знаки. Я знаю, что четверти герба обозначают родословную, что все они рассказывают о союзах в отдаленных испанских замках, от которых рождались рыцари и благородные девицы, спустившиеся по длинным рекам кровей и слившиеся в одном Фердинанде. Как-то так. Символы власти и происхождения в отчаянной попытке рассказать мне свою историю на непонятном мне языке. Над гербом висит шляпа с двадцатью кистями, поддерживаемая двумя крошечными ангелами, и кажется, что такое нарушение закона тяготения не стоит им больших усилий. Кардинал или архиепископ? Не помню. Вот я стою и смотрю, и слышу то же, что слышали в XII веке первые обитатели. Я склонен называть отсутствие звука безмолвием, ведь я привык к большему шуму, чем они когда-либо слышали! Но если побыть здесь подольше, начинаешь различать оттенки безмолвия, едва заметные звуки. Вдалеке гудят насекомые, протяжно машет крыльями пара голубей, ветер в тополях — из этого и состоит тишина.

Я звоню еще раз и слышу неторопливые шаги. Кожа по камню. Мне открывает монах, вырывает билет из все еще пухлой пока что книжечки и неопределенным жестом указывает на монастырь, проходи, мол, смотри. Он не сопровождает меня и не говорит ни слова. Я наудачу брожу по монастырю. Во фронтоне монастырской церкви в позднероманском стиле ради украшения видны редкие полуколонны без подножия. Они ни на что не опираются, ничего не поддерживают и лишь нависают над полукруглой аркой. Через нее я и вхожу внутрь. Прохлада сада — после пекла снаружи, церковная прохлада — после свежести растений в саду, а там, где я прогуливаюсь, уже почти холодно. Путь наружному воздуху преграждают церковные стены, сложенные из камня произвольной формы, способной изменять свойства даже того потока, который все-таки просочился внутрь. Это уже не движимый ветром воздух в листьях тополей и клевера, это — церковный воздух, такой же незаметный, как уличный, и все же другой. Воздух, принявший форму церкви, заполнивший пространство между колоннами, стоящий навытяжку, точно еще одна недостающая колонна, дотягивающийся до самых стрелок грубого, сложенного из больших камней, свода. В церкви пусто, громадные колонны без подножия поднимаются ввысь прямо из мощеного пола, солнце льется сквозь проем в куполе где-то справа, образуя странный, неподвижный и, пожалуй, жутковатый круг света. Мне слышны мои шаги. В этом пространстве изменяется не только воздух, но и звук шагов: они превращаются в шаги че-

ловека, который ходит по церкви. И даже если из этих ощущений отбросить то, во что *не* веришь, всегда останется нечто невесомое, во что верят — и куда больше верили когда-то — другие.

Представления об архитектурном пуризме столь сильные, когда кому-нибудь хочется выстроить офис рядом с домом на канале, к этому месту совершенно не применимы. Снаружи постройка — образчик романского стиля, стрельчатые своды — готические, могила дона Люпо Марко — шедевр Возрождения, а дверь в ризницу — самое что ни на есть высокопарное барокко. Но все это не раздражает глаз. Резвящиеся барочные ангелы разлетаются во все стороны по стене из грубого камня XIII века, словно буйно разросшиеся побеги плюща, образуя проход в чистейший цистерцианский капитул — низкий, светлый и безмолвный. Внутри пусто, и я пробую голос, чтобы услышать, как должны звучать здесь голоса монахов. Я осмеливаюсь пропеть тихий григорианский вокализ, и он, высокий, дрожащий, проносится между стен, над могилами аббатов в полу и, невредимый, возвращается ко мне. В одной из стен могила дона Лопе Хименеса, графа Арагонского. XIII век. Граф лежит и *в стене*, и у стены, на боку, а не на спине, но такое необычное положение нисколько не нарушает рисунок складок его одежд. Юное, почти женственное лицо покоится на подушке из камня, левая рука на груди у сердца, правая крепко сжимает рукоять меча. Две птицы, похожие на грифонов, высоко задирают головы, у одной из них в хищных когтистых лапах зажата небольшая человеческая голова. Клювы грифонов широко раскрыты, из них вот-вот вырвется звук. Он не слышен, но смотришь и все-таки различаешь его благодаря положению клювов и форме горла, позволяющей *увидеть* вырывающиеся звуки — неприятный высокий визг. Кто-то когда-то, должно быть, очень скорбел об усопшем рыцаре. Он не менее мертв, чем будем однажды мы с вами, но высеченный в камне плач о нем все так же горек вот уже семь веков.

Я пытаюсь представить этот небольшой капитул, когда он заполнен монахами, однако для того и существует клауструм; чтобы указать мне, что как раз это и нельзя: свободно разгуливать можно лишь в часы, когда их здесь нет. Повсюду таблички, указывающие, куда запрещено выходить монахам и куда нельзя входить мне. Чтобы войти внутрь, пришлось бы дать обет и остаться здесь навсегда, а это слишком.

У Жана Фуке, художника XV века, есть картина, изображающая святого Бернарда, одного из основателей цистерцианского ордена. Святой служит мессу в точно таком же капитуле, как тот, где сейчас стою я. Ясный свет проходит сквозь романские окна внутрь сдержанного пространства зала, Бернард стоит у скромного пюпитра, а монахи сидят на каменных скамьях вдоль стен. И дело не в том, что эти постройки сохранились до сих

пор, удивляет, что жизненный уклад, более-менее сложившийся в XII веке, по-прежнему остается нерушимым. Началось же все гораздо раньше. На Ближнем Востоке еще в дохристианскую эпоху были отшельники, затворники, анахореты — люди, удалившиеся от мира, и первые века христианства ничего не изменили. В этом — испытание души, человеческой способности ставить себя вне "мира", которая была и остается свойственной и другим культурам тоже.

Западная монастырская традиция восходит к Антонию Великому — основателю монашеских общин в Египетской пустыне между III и IV веками, а кроме того, к александрийским христианам-платоникам. В этом месте рассказа (а я все еще внутри прохладного испанского капитула) следует закрыть глаза и на время выбросить из головы наших христианских демократов: христиане в те времена, о которых я рассказываю, — яростное меньшинство, гонимые сектанты. Это время (часто желанного) мученичества, пафосных обращений — времена, которые то и дело бередят душу многим сегодняшним христианам, потому что тогда все было или казалось яснее и проще. Лишь в IV веке христианство признают "официальной" религией. Христианами становятся люди всех народностей, обратиться в новую веру не только модно, но и разумно, начинаются разложение и апатия, и в ответ складываются мелкие фанатичные общины, чтобы быть как можно ближе к уже не новой, но чистой вере. Иоанн Кассиан родился невдалеке от побережья Черного моря[1], воспитывался в Сирии и Палестине, принял монашество в Египте и в то самое время, когда германские племена с севера вошли в Римскую империю, основал в Провансе первую общину: уже одно это немыслимо, если не помнить постоянно, из чего состояла в то время Римская империя. То, чему он научился в Сирии и Палестине, Кассиан теперь проповедовал на Западе, и его трактаты о созерцательной жизни читались в каждом средневековом монастыре. Мысли, зародившиеся в суровом пустынном одиночестве, проложили себе дорогу в иные, более плодородные, земли, однако пустыня все же дает о себе знать, и, наверное, нигде не дает знать так ясно, как в Испании, никогда по-настоящему не принадлежавшей Европе.

Василий Великий, святой Иероним и блаженный Августин — каждый из них оставил свой след в истории монастырского подвижничества, но человеком, на века определившим принципы монашества, стал Бенедикт Нурсийский. Нам в XX веке вряд ли дано представить себе страсти, кипевшие в жизни этих людей, но легенда говорит сама за себя. В молодости Бенедикт (ок. 480 — 547?) удалился в гористый район Абруццо, где вблизи развалин дворца Нерона обнаружил пещеру. В

1. Иоанн Кассиан родился, по одной версии, в Добрудже, между Нижним Дунаем и Черным морем, по другой — в Марселе.

ней святой прожил долгие годы, скрываясь от всех. О Бенедикте знал лишь Робертус, монах из близлежащего монастыря, который втайне снабдил его монашеским одеянием и приносил пищу. Когда тайна все же открылась, монахи пригласили Бенедикта сделаться их настоятелем, но его устав оказался для них слишком суровым, и монахи задумали его отравить. Тогда Бенедикт вернулся к себе в пещеру, но к нему отовсюду начали стекаться ученики, и он основал двенадцать общин, по двенадцать монахов в каждой. Сам Бенедикт стал настоятелем аббатства Монте-Кассино, оно существует до сих пор. Он отвергал фанатичный, доходящий до крайности аскетизм, идущий с Ближнего Востока, считая, что незачем доводить монахов до пределов возможного. Принятые же правила тоже оказались достаточно жесткими. Это было сообщество, в котором однажды вступившие были обязаны остаться навсегда, беспрекословно слушаться настоятеля, рано ложиться и рано вставать, и во всякую минуту быть готовыми к *opus divinum*, "божественному делу", — служению мессы и молитвенным песнопениям. Остаток дня монахи проводили в труде и чтении. Важной составляющей монастырской жизни были пост и воздержание. Так, трапписты впоследствии не употребляли в пищу мясо и рыбу (не едят их и сейчас). Разговаривать тоже было не принято, разве что по необходимости, во время литургии, проповеди или общего собрания монахов. В повседневной жизни монахи переговаривались краткими жестами.

Бенедикт так и не основал настоящего ордена, это произошло позднее. В то время монастырь представлял собой совершенно отделенное от всех сообщество, где абсолютным правителем был настоятель. По важным вопросам он совещался со старшими монахами, но его последнее слово было законом, и никаких возражений быть не могло. Идеи Бенедикта определили жизнь монастырей по всей Западной Европе, за исключением Ирландии, где, благодаря кельтским племенным традициям под руководством Колумбануса, возник собственный монастырский устав. По-настоящему бенедиктинцы объединились в орден лишь в 910 году, когда было основано Клюнийское аббатство, и то сказать, это был скорее рыхлый союз нескольких отдельных монастырей. В последующие века под сильнейшим влиянием Клюнийского аббатства окажутся и политика, и культура. В середине XII века более трехсот монастырей по всей Европе, включая Польшу и Шотландию, находились под опекой Клюнийского аббатства и подчинялись его настоятелю. Литургиям стали придавать большее значение, все больше времени отводилось пению хоралов, простой ручной труд был упразднен, религиозность же сделалась более утонченной, как в песнопениях, так и в архитектуре и декоративном искусстве.

Против этих новшеств выступил Бернард Клервосский.

Вместе с тридцатью молодыми подвижниками он обосновался в обедневшем бенедиктинском монастыре Сито, и именно отсюда берет свое название орден цистерцианцев. Целью Бернарда Клервосского было возвращение к традиционному уставу Бенедикта Нурсийского. Было сокращено время литургии, а декоративные излишества отброшены. Монастырь в Сито положил начало цистерцианскому стилю — грубому, простому, благородному и мощному. Если вы бывали в монастыре бенедиктинцев в Оостерхауте и траппистском Ахелсе Клёйс в нижней части Валкенсварда, то сразу же поймете, в чем разница. Трапписты — более позднее ответвление цистерцианского ордена, и жизнь их еще проще и суровее. Бенедиктинцы же аристократичнее, члены ордена — утонченные интеллектуалы. Даже мое неискушенное ухо уловило речь единственного бенедиктинца, оказавшегося гостем у траппистов. Звук его голоса казался тоньше и звонче, чем у других. Его руки не обрабатывали землю и не варили пиво, но расшивали митры. Самое удивительное в моем рассказе — это течение времени. История, которую я уместил в сотню строк, все еще жива, а перемены, по которым я так быстро пробежался, на самом деле растягивались на сотни лет. Не изменилась только суть, и даже теперь издалека доносится шарканье кожи по каменному полу, и монах-привратник сообщает мне, что время истекло, — так было и раньше, и всегда. На монахе такое же одеяние, как то, которое тысячу лет назад носили его собратья — белая ряса и поверх черный скапулярий. Машина времени все-таки существует. Я спускаюсь в капсуле в глубины навсегда канувших в Лету Средних веков, прочно укрытый от боли и смерти. В XX веке здесь и сейчас по-прежнему Средневековье, словно форма жизни, законсервированная в чистой культуре. Я еще вернусь сюда, чужеземец, странствующий на машине по земле Арагона.

Из *истории*

Фотография появилась в газете "El País" 5 марта. Слева, отвернувшись от меня и от всего испанского народа, сидит Эмилио Гарсиа Конде, *el jefe del Estado Mayor del Aire*. Конде — начальник штаба ВВС, но почему же по-испански это звучит так, будто он — повелитель самих небес? На генерале большого размера туфли из замши. По левую руку от него, развалившись, низко сидит министр обороны. Широкий скошенный вниз подлокотник его кресла задевает кресло *jefe del Estado Mayor de la Armada*, начальника штаба военно-морских сил. Министр — толстяк с бородой, адмирал же — худой и единственный из всех одет в форму. Далее — молодой насмешливый Филипе Гонсалес, *el Presidente del Gobierno*, а рядом с ним человек с сигаретой: он, цинично ухмыляясь, смотрит вниз, а лицо у него как на одной из последних фотографий моего отца, сделанной в 1944 году. Это *el jefe de la JUJEM*,

председатель Совета национальной обороны. На заднем плане колонны и вазы, перед запечатленными на снимке — стеклянный стол с отделкой из чистой меди. Пепельницы, стаканы, букет цветов. Все в порядке. Избранный председатель правительства запечатлен вместе с высшим военным командованием. И все-таки я не могу удержаться, чтобы не связать эту фотографию со страхами перед прогнозами годичной давности, когда изображенное на этом снимке должно было сбыться. Гонсалес должен был выиграть выборы, военные не должны были устраивать переворот, вот тогда все было бы правдой.

В какое же прошлое уводит меня этот снимок? Только ли в минувший год, когда я, путешествуя по Испании, остановился в parador[1] в Сеговии? Гостиница расположена в нескольких километрах от города и выстроена так, что изо всех номеров виден силуэт городских стен, раскинувшихся по другую сторону долины, на холме, который мы в Голландии назвали бы горой. Он неприветливый и неровный, этот силуэт, разный в разные часы, и кажется, будто нет там никакого города, что это скульптура, вымысел в камне, громадная, неприступная, наглухо закрытая, и человеку туда хода нет. Колокольни и купол собора, высокие стены и башни Алькасара. Внизу лежит римский акведук — я это знаю, хоть и не вижу его. На сделанном мной снимке у этого акведука стоит несколько машин. Каждая из них высотой не больше трех огромных каменных глыб, из которых построен акведук. Вот он, неподвижный, пространный и высокий, а за ним, точно понарошку, виднеются городские строения, словно это призрак, вызванный историей специально для нас в доказательство того, что она существует. Все эти сто восемнадцать арок, двадцать девять метров в высоту и семьсот двадцать восемь метров длиной построили во времена правления императоров Траяна и Веспасиана. До 1974 года по этому акведуку подавали воду для города. Здесь история не повторялась, и долгие годы все шло своим чередом.

Былое — это то, что было. Наслаивающиеся друг на друга частицы, настолько малые, что их уже никогда не измерить. Остаются лишь большие неотесанные факты, которые привязывают к датам, которые ученик заучивает наизусть. Или к зданиям и памятникам. Может быть, потому мы так осторожно, с путеводителем в руках, приближаемся к ним, что они, так или иначе, свидетельствуют о существовании некоего суммарного прошлого. Но как его подсчитать? Раб, который трудится на строительстве акведука, тоскующий по Риму центурион, упадок Римской империи и все, чем этот упадок обернулся для безымянных исчезнувших, которые здесь жили. Частные судьбы, ужатые до одной строчки в книге о былом, накрепко приколоченные друг к другу в невидимом лабиринте времени, с виду проч-

1. Отель (*исп.*).

ные, наподобие этой фотографии Гонсалеса с соратниками по борьбе, но обреченные раствориться в бурном потоке складывающихся фактов и событий, снова и снова изменяющем содержание каждого очередного случая.

На дворе тридцать шестой год. Во главе страны другой человек — Франко, он добился власти, опрокинув Республику, как иные опрокидывают стул. В соборе Сеговии раздается голос, в том самом соборе, который мне с балкона кажется нарисованным на небе силуэтом. "Родину нужно обновить, сорняки — выполоть, а злое семя — искоренить. Сейчас не время для сомнений". С этих слов начался террор против какой бы то ни было левизны. Город разделился на два лагеря: на законопослушных граждан, считавших, что виновных следует арестовывать и предавать суду, и тех, кто доказывал, что "некоторый" террор, в виде приговоров военно-полевых судов, все же необходим. Управление провинцией Сеговия перешло к *фаланге* Вальядолида, несчетное количество людей было арестовано и отправлено в ставший тюрьмой трамвайный парк города. Свидетель рассказывает: "Однажды мы получили приказ сформировать кордон — публика слишком близко подходила к расстрельным командам, проводившим в лагере публичные казни. Нам полагалось не подпускать людей ближе, чем на двести метров, а кроме того, нам строго-настрого приказали следить, чтобы в толпе зрителей не оказалось детей.

Заключенных вывели из трамвайного депо. Из двенадцати человек в первый день моего дежурства было несколько из соседней деревни. Можете вообразить, что я чувствовал! Все заключенные, в том числе и женщина, отказались, чтобы им завязали глаза. Когда раздались выстрелы, женщина вместе с некоторыми другими подняла в призыве сжатую в кулак руку и прокричала: *Viva la Republica! Да здравствует Республика!*

Всю неделю, в которую я нес дежурство, каждый день на рассвете расстреливали по двенадцать человек. Среди них были три женщины. Две из них, когда карательный отряд взял их на прицел, подхватили юбки и закрыли ими лицо, обнажив срамные места. Был ли это вызов? Или жест отчаяния? Не знаю, но ради таких сцен публика и приходила смотреть на казни. Потом, когда мы вернулись в город, улицы опустели, и зрители попрятались по домам и по постелям. Город стих..."[1]

Лабиринт времени — образное выражение, интерпретация. Но, как в поисках выхода из настоящего лабиринта (а они существуют) все же возвращаешься назад, так и история, похоже, движется по собственному пути, который называют, просто чтобы как-нибудь назвать, прогрессом или "неотвратимым" ходом. А когда этот "прогресс" пробуксовывает, говорят о "шаге назад". Отсту-

1. Цит. по изд.: Ronald Fraser. Blood of Spain. The Experience of Civil War 1936–1939. — Penguin Books, 1988. — P. 167.

пить или вернуться, чтобы снова продолжить путь, — это и есть движение по лабиринту: если изобразить многие цепи событий, получится сложный круговой узор. Но для современника никакие изображения немыслимы. Он либо считает, что сам является орудием судьбы, либо переживает эти события, одно за другим, как сумятицу, вмешательство в собственную жизнь, страх. Иногда же, как в вышеописанном случае, события означают его или ее смерть. Для одного человека история обрывается, однако сам он тут же становится ее частью для других. Участвовать в истории можно, разумеется, двумя способами: активно и пассивно. Жертва бомбежки попадает в книгу как одна из огромного числа погибших, тот, кто кричит в лицо карателям "Да здравствует Республика!" — сделав выбор, в некотором смысле сам определяет свою судьбу. Но то же самое можно сказать и о том, кто стреляет, и даже, наверное, о том, кто приходит на это смотреть. Страдание и причинение страданий, наблюдения и свидетельства, чувства и их отголоски в рассказах и письмах потомков — все это присутствует в абстракции, которую мы называем историей.

Сразу же после выхода романа Хюго Клауса[1] "Горе Бельгии" двое журналистов газеты "Фолкскрант" заметили: "Но ведь в самой книге подробно разъяснено, как и зачем пишется история". На что автор ответил: "Конечно же, я попытался показать, каким образом история вмешивается в жизнь 'маленького человека', который не имеет, да и *не может* иметь никакого представления о том, как это происходит. Я не верю в возможность просто так, 'по линеечке', записать факты, а ниже приписать, как эти факты влияют на людей. История должна переплавиться в магме, в человеческих словах, поступках, чувствах и мыслях, в том, как мы смотрим на вещи. Вот что волновало *меня*, и стоит задуматься, как тут же встает вопрос: как идеи фашизма и национализма могли прорасти в людях, считающих, что их это не касается. Или в тех, кто не очень-то задумывается над этим, а тем временем фашизм уже влияет на их мышление, на мнения о немцах, об англичанах".

Люди, считающие, что их это не касается. В этом и весь секрет — частью происходящего, участниками становятся и те, кто считает, что к ним это не относится. Собственно говоря, история — столь же странный предмет, как и пространство, и время. Мы пребываем в ней постоянно. Не знаю наверняка, является ли история частью времени, хоть время и можно представить себе вне человека, а историю — нельзя. Сейчас, спустя столько лет после Гражданской войны, можно в общих чертах обрисовать интересы европейских

1. Хюго Клаус (1929–2008) — фламандский писатель, поэт, художник, режиссер театра и кино. Действие романа "Горе Бельгии" (1983) происходит во время Второй мировой войны во фламандской деревушке Валле, оккупированной немецкими войсками.

держав, описать активную роль Гитлера, Муссолини, Сталина, козни англичан, имевших в Испании серьезные финансовые интересы, личный героизм многих членов Интернациональных бригад, братоубийственную схватку между коммунистами и анархистами. Где он, прогресс? Где он, неотвратимый ход? Могло ли все быть иначе? На этот последний вопрос мне особенно сложно ответить: если однажды все случилось именно так, могло ли быть по-другому? В мыслях — да, в действительности же ни в коем случае. Должно быть, в этом *холодок* истории, в том, что она рассказывает о совершившихся фактах, и в том, что после всего нам *кажется,* что ни одно отдельно взятое волевое решение ничего не меняет или не может изменить. Правы ли были те, кто умирал за Республику? На мой взгляд, они были правы, но это страшная жертва. Каково это — *проиграть*, и, глядя в направленное на тебя дуло винтовки, собрать последние слова, чтобы выкрикнуть "Да здравствует Республика!", задрать юбку выше головы, обнажить перед палачом свои срамные места и затем погибнуть? И могу ли я позднее мысленно связать этот миг со снимком в "El País", где изображен молодой социалист на первых ролях в королевстве, который по этой причине фотографируется с руководителями военного ведомства? Полагаю, что да, но это всего лишь одна из тысяч, миллионов связующих нитей между этим снимком или той роковой минутой и прочими мгновениями. В том-то, похоже, и парадокс, что история не имеет намерений, в то время как у нас, в силу нашего существования, они есть, и с их помощью мы творим историю. Мой друг, философ, возразил бы мне, что, по Гегелю, у истории все же есть свои задачи и что историю никогда нельзя ставить на одну доску со временем, и в последнем он, конечно же, был бы прав. Я бы еще промямлил, что история — это видимая форма времени, но это все пустые слова, потому что то же самое можно сказать и о часах. Часы на циферблате складываются в годы, из которых состоит век, ну а дальше что? Хорошо, попробуем заново: история есть сумма всех наших несхожих, сталкивающихся друг с другом и противоречивых желаний. Но даже при этом сама по себе она не имеет цели.

Противоречивые намерения. Без малого пятьсот лет тому назад в Сеговии разгорелось восстание комунерос под предводительством Хуана Браво. Однако, чтобы понять, почему оно произошло, придется еще глубже уйти в прошлое, в зрелое Средневековье, — ведь история всегда ссылается сама на себя. В те времена народ был практически бесправен, однако, после Реконкисты, отвоевания у мавров больших территорий, в целях привлечения людей на новые земли им были даны fueros, привилегии, долгое время закрепленные за дворянством и духовенством. Так, в различных испанских королевствах возникали законодательные собрания — Кортесы. Их нельзя

сравнивать с современным парламентом, и все же они гораздо раньше, чем где-либо в Европе, отображали раннюю стадию демократического сознания испанцев. Леон уже в 1188 году имел собственный парламент, Арагон — в 1163-м, Каталония — в 1228-м, а Кастилия — в 1250-м. Понятно, что на протяжении веков испанские короли рассматривали набирающее силу самосознание парламентов, куда входили дворяне (nobilarios), духовенство (eclesiasticos) и представители городов (populares), как умаление их собственной власти.

Собрания, которые созывали от случая к случаю, когда королю требовались деньги, переросли в самодостаточные и оттого малоприятные для него институции, и, когда Карл V, презираемый испанцами за то, что даже не говорил по-испански, а только по-фламандски, и раздавал высшие должности в Испании иностранцам, в очередной раз повысил налоги, чтобы обеспечить свою международную политику, поднялось восстание. "Народные движения, — пишет Густав Фабер в книге "Испанское общество", — начинаются снизу, и все-таки нужны предводители, которые сформировали бы эти движения". Вот оно опять: невидимое, по большей части уже непостижимое — идея, гнев, месть, — растущее, словно волна, изнутри наружу и влекущее безымянную массу. "Священная хунта" — народ, аристократия и духовенство во главе с Хуаном Браво требуют уменьшения налогов, назначения чиновников из местных и правовых реформ. Восстание направлено не против королевской власти, но против назначенцев Карла. В Толедо создаются народные комитеты (слово, уместное скорее в XVIII веке, нежели в XVI). Испания гудит, восстание охватывает все новые города, несмотря на большие расстояния. За Сеговией и Толедо следуют Гвадалахара, Авила, Мадрид, Алькала-де-Энарес; общим решением смещен регент Карла — голландец, позднее папа римский Адриан VI. С войском наемников Адриан выступает против Сеговии, но, когда он собирается завладеть складом боеприпасов в Медина-дель-Кампо, те тут же взлетают на воздух, превращая весь город в груду развалин. Гнев и горечь, другие города присоединяются к мятежу, в Сеговии двоих делегатов обвиняют в предательстве и подвешивают вниз головой.

Затем наступает один из тех моментов, которые так и просятся в историческую драму или в оперу, но своего Верди у испанцев нет. Католические короли, Фердинанд и Изабелла, бабушка и дедушка Карла V, выдали своих дочерей за европейских монархов. Католические короли, Reyes Catolicos: у нас такого нет, мы не можем назвать королями монаршую чету, испанцы же говорят так до сих пор — когда Хуан Карлос и София куда-нибудь отправляются, пресса сообщает о том, что *короли* отправились туда-то и туда-то, как будто речь идет о двух мужчинах. Хуана, известная впоследствии как Хуана Бе-

зумная, получила в мужья Филиппа Красивого, сына австрийского императора, а Габсбургам в качестве приданого досталась Испания. В 1506 году Филипп Красивый скончался в Бургосе от "лихорадки", а Хуана, у которой и раньше наблюдались симптомы маниакально-депрессивного расстройства, попросту говоря, сошла с ума. Гроб нельзя было закрывать, Хуана должна была каждый день видеть своего любимого даже мертвым. Словно в фильме ужасов, двигалась по Испании распространяющая чумной дух процессия, и каждый вечер для королевы открывали гроб. Вскоре собственный сын-император заточил обезумевшую Хуану в монастырь в Тордесильясе.

Теперь все вертится вокруг нее. Монарх — в Германии, мятежники призывают Хуану занять трон, но сторонники Карла тоже обращаются к ней. Хуана не понимает, почему те, кто отправил ее в монастырь, теперь так сильно в ней нуждаются, и отказывается. Священная хунта с Хуаном Браво во главе предлагает сделать Хуану королевой всех испанских территорий, между прочим, по праву унаследованных ею. Двор переезжает в монастырскую тюрьму в Тордесильясе — это место сейчас открыто для посещений, а наполовину рассохшийся спинет королевы Хуаны, более чем что-либо другое, говорит о плачевном ее положении. Там же собирается парламент, а народ присягает на верность королеве. Была ли Хуана действительно сумасшедшей? Понимала она, что происходит, лишь иногда или же с самого начала знала все? Согласись она, и тогда к ней вернулась бы власть, а ее заточению пришел бы конец. Но если бы она отказалась, тогда трон перешел бы к ее далекому, отсутствующему сыну-"фламандцу".

Итак, в опере звучит ария сомнений. На одной чаше весов — свобода и корона из рук комунерос, на другой, за стенами монастыря, — сторонники сына, заточившего мать в тюрьму. И тут предводители комунерос совершают роковую ошибку. С их согласия сомневающуюся королеву, неуверенность которой еще усиливает ее духовник (баритон, я так и слышу их дуэт), подвергает экзорцизму другой священник — вселившийся в Хуану дьявол должен быть изгнан. Это отнимает слишком много времени, сторонники короля снова вторгаются в город, аристократия, наиболее сильная в военном деле, благодаря ловкому маневру Карла, переходит из Священной хунты на сторону короля, и в битве при Вильяларе народные повстанцы терпят поражение. Епископа Саморского отправили на гарроту, Хуан Браво вместе с семьюдесятью тремя другими комунерос были обезглавлены в Сеговии, а парламент утратил всякую силу.

Повстанцы становятся названиями улиц, кровь — адресами. Я прохаживаюсь вдоль магазинов на калье Хуан Браво, выхожу на улицу Изабеллы Католической, изумляюсь, с каким упорством сохраняют здесь имена, и выхожу к собо-

ру. Химера вдалеке, с балкона кажущаяся то черной зловещей тенью, то сверкающей, пылающей эмблемой; вблизи очертания, разные в разное время дня, выглядят озлобленными, ощетинившимися. Доброму Боженьке здесь не место. Напротив, в этих стенах хозяйничает Бог пустыни, некогда скитавшийся в ковчеге по выжженной земле. И хоть и приходится ему терпеть рядом с Собой идолов, все же Он по-прежнему тот самый Бог, Бог Авраама и Исаака, мстительный и жестокий, хоть теперь его стихия не жара, но холод. Ни следа мягкости романских церквей, это — крепость, воплощение мощи, подавляющей человека. Я прогуливаюсь среди этого окаменелого триумфализма. У одного из алтарей служат мессу, но человеческий голос звучит здесь глухо, ему не дозволено быть самим собой, он низведен до едва различимого униженного шепота, прячущегося в высоких холодных сводах, кажущихся дальше самих Небес. В этом огромном вокзале, заполненном белой святостью, высокие хоры расположены в отдалении и изолированы в каменном пространстве. Боковые капеллы скрываются в полутьме. Пытаемые на дыбе святые страдают, почти неразличимые, за решетками, и лишь высокие, далекие окна пропускают редкий солнечный свет. До дверных косяков не дотянуться, даже если четыре человека встанут друг другу на плечи, и в одни из этих дверей я выхожу на улицу, где воздух снаружи ощущается как освобождение. Я стою на голой, никуда не ведущей площади, выложенной крупным булыжником, между камнями пробиваются жесткие и неумолимые сорняки. Над площадью носится ветер с равнин, вдали виднеются заснеженные вершины Сьерра-де-Гуадаррама.

Сеговия — в общем-то, стиснутый город. Пройдите под одной из арок акведука, и вам покажется, что узкие улочки смыкаются позади вас. Вы пробираетесь переулками, мимо ресторанов с выставленными на витринах бесстыжими головами молочных поросят на девственно-чистых передних ножках, проходите мимо старинных магазинов, торгующих пряжей, лентами и ultramarinos[1], и вдруг — диво дивное! — перед вами возникает одна из великолепных романских церквей (а их здесь двадцать!). Полюбуйтесь, как внизу, в долине, петляет среди зелени Эресма, и вот вы сами, без посторонней помощи, оказываетесь у Алькасара. Если не знать, что он настоящий и действительно древний, можно подумать, что его выдумал Антон Пик[2]. С зубчатых стен донжона свесилась детвора и кричит: “Viva Asturias! Да здравствует Астурия!” Крики ненадолго повисают в воздухе и рассеиваются над глубоким оврагом. Алькасар стоит на высо-

1. Бакалея, колониальные товары (*исп.*).
2. Антон Пик (1895–1987) — нидерландский живописец и график. Наиболее известная его работа — детский парк сказок Эфтелинг, именуемый иногда нидерландским Диснейлендом.

кой скале и кажется неприступным. Остроконечные башни, глухие стены, странные округлые смотровые башни донжона, похожие на подсвечник, куда ставят гигантские свечи, чтобы по ночам освещать всю Кастильскую *месету*. Испанские короли, перебиравшиеся, точно гонимые цыгане, из замка в замок, любили Алькасар больше прочих. Филипп II женился здесь в четвертый и последний раз, и в утро свадьбы, переодетый до неузнаваемости, смешался с толпой гостей, чтобы увидеть свою невесту еще до того, как она увидит его. История совершается не только на полях сражений, но и в спальнях, часто умышленно, эдакий сексуальный способ творения истории, ныне, увы, позабытый: сама мысль о том, что в этот миг в буквальном смысле соединяются два королевства, должна была подстегивать. Новая жена короля Филиппа, обязанная произвести наследника, была тоже из Габсбургов, и генетические последствия не заставили себя ждать. Короля-монаха Филиппа II осчастливили Филиппом III, который тоже взял в жены уроженку Габсбургского дома, и та подарила ему Филиппа IV — самого любвеобильного из европейских монархов, зачавшего со своей женой, разумеется тоже из Габсбургов, восьмерых детей, шестеро из которых тут же умерли, в то время как внебрачные дети Филиппа выжили все до одного. Конечным результатом оказался бедняга Карл II — зачарованный, el hechizado, больной импотент, с трудом влачивший существование. Когда же он наконец-то умер, из-за его кончины в Европе разразилась жестокая война за испанское наследство.

Брат Карла, который, по идее, должен был стать, Филиппом V, умер, едва достигнув четырехлетнего возраста. Ничто не помогло. Пресвятую Деву Одиночества (de la Soledad) перевозили с одного места паломничества на другое, Мадонну Аточскую перевезли из ее церкви в монастырь босых кармелиток. Не помогло даже самое сильнодействующее средство — мощи святого Исидора, которые всегда приносили к ложу царствующих особ, если те были при смерти, равно как и урна с прахом святого Диего из Алькалы. Испанцы снова ждали короля, поскольку без короля наследство, включая все земли с их жителями, перешли бы к ссорящимся наследницам. Все меры предосторожности были соблюдены и теперь. Стоило королеве почувствовать первые схватки, как она тут же устремилась в комнату в башне. Королева ела в одиночестве: король, согласно жестким правилам монаршего этикета, не мог разделить с ней трапезу. В комнате в башне все было приготовлено: три шипа из тернового венца Христа, один из гвоздей, которыми Его прибили к кресту, щепка от самого креста, лоскут плаща Девы Марии, посох святого аббата Доминика Силосского и пояс святого Хуана де Ортеги. Помогло. Ребенку, появившемуся на свет шестого ноября 1661 года, была уготована судьба страдальца и безвольной пеш-

ки в играх самых разных участников.

Из детского портрета Карла кисти Карреньо это еще не очевидно, но и радостной картиной его тоже не назовешь. Длинный выдающийся подбородок, доставшийся от блистательного предка Карла V. Недовольно искривленный рот с короткой нижней губой, глаза смотрят с подозрением. Он умрет бездетным, этот главный герой трагикомедии одержимости и бесоизгнания, с мешочком яичной скорлупы, состриженными ногтями с пальцев ног, волосами и прочими колдовскими предметами под подушкой, чувствующий жуткий холод посреди самого жаркого дня, едва способный передвигаться, средоточие интриг, зажатый между исповедниками, великими инквизиторами, врачами, экзорцистами и придворными. Его смерти и особенно его завещания ждала вся Европа.

У каждого был собственный интерес: у императора Леопольда, Людовика XIV и у Вильгельма Оранского. Вопреки всем ожиданиям страдания Карла растягивались на годы — страдания и для него самого, и для европейских монархов. Смерть Карла наступила в тот самый роковой миг, когда обладатель наследства мог определиться лишь в ходе мировой войны. В это время Людовик подписал предложенное Вильгельмом Оранским соглашение, по которому Австрии передавались территории Испании, Испанских Нидерландов и колоний, а Франции приходилось довольствоваться Неаполем, Сицилией и Миланом. Однако австрийский император от такого щедрого предложения отказался. Через своего посла в Испании и архиепископа Вены Леопольд получил *достоверную информацию* о том, что нашептывал сатана в соборе Святой Софии во время изгнания дьявола из одного одержимого. Так он удостоверился, что в Карла вселился нечистый, и все, что нужно сделать, это изгнать его из умирающего Карла и его жены, тогда Господь сам позаботится, чтобы и Сицилия, и Неаполь, и Милан тоже оказались в его, Леопольда, руках. Я прав, история — все-таки лабиринт, но никто его не строил.

Стоял октябрь, потянулись последние дни жизни Карла. Снова доставили во дворец мощи святого Исидора и святого Диего, но двор был печален, потому что октябрь считался роковым месяцем для испанских королей. Королева сама кормила его толченым жемчугом, Карл оглох, от головокружений ему на голову клали свежезабитых голубей, у него пропал голос, и врачи пытались поддерживать в нем тепло, прикладывая к животу дымящиеся внутренности только что убитых животных. Но уже ничто не помогло, и король скончался. Его завещание состояло из разрывной бомбы и приказа считать святую Терезу Авильскую покровительницей Испании наравне с Пресвятой Девой. Война за испанское наследство была предрешена.

У входа в Алькасар, где вступил в свой роковой последний брак предок король

Филипп, стоит памятник, не имеющий ничего общего и в то же время тесно связанный с Карлом, — он посвящен другой войне, случившейся много позже. Время — мужчина, История — женщина из белого мрамора, груди у нее больше, чем в самом извращенном "Плейбое". На коленях она держит книгу, куда она сама вписана, поскольку на обложке написано: "История". С высоты она смотрит на бронзовое поле битвы, лежащее у ее могучих ног. Мечи, штыки, со ствола пушки безвольно свешивается тело геройски погибшего офицера. *A los capitanes de Artilleria D. Luis Dadiz y D. Pedro Velarde,* 2 мая 1808 года, с благодарностью от испанского народа.

В тот же день, чуть позже, я сижу на балконе гостиницы и всматриваюсь в очертания Сеговии — большого волшебного корабля в лучах закатного солнца, корабля, который медленно плывет к пламенеющему западу. Его мачты — башни собора и церкви, а нос — Алькасар. Глубоко внизу, словно развернувшийся океан, неподвижно лежит сцена с плодами и катастрофами, переселениями народов и битвами, где разыгрывались трагедии и пожинались плоды, земля, страна, не ведающая ни имен, ни дат.

Артур Жапен
Две встречи

Перевод Екатерины Асоян

Третий полет

— Первый осенний лист опадает с оглушительным грохотом, ведь вместе с ним обрушивается целый год.

Тонино нагибается и разрыхляет пальцем почву между корнями герани.

— Господи, какая сырость! Осень в этом году уж слишком дождливая.

Затем отрывает листок, растирает его в ладонях и сует мне под нос. Я ощущаю неведомый доселе аромат.

— Мята? Ментол? Или это одно и то же? С примесью гвоздики... Я вырос в городе, — оправдываюсь я. Тонино смотрит на меня с жалостью. Он не проявляет снисхождения к тем, кто не похож на него.

Низкорослый, руки за спиной, он бродит по *Саду забытых плодов*. Этот общественный парк — его детище. Он расположен в Пеннабилли, деревушке, раскинувшейся на двух холмах в долине реки Мареккья. Здесь живет Тонино Гуэрра, если не пребывает в одном из своих домов в России. Своим присутствием писатель вдыхает богемную итальянскую жизнь в это захолустье, в сорока пяти километрах от Римини. Люди приветствуют его поклоном. У него в гостях Марчелло Мастрояни. Феллини уехал сегодня утром. Моника Витти пьет кофе на центральной площади. Голландские сценаристы набились в местную гостиницу в надежде подобрать жемчужины, рассыпаемые великим мастером итальянского кино.

— Вы пишете неплохо, но я лучше.

Тонино притормаживает возле многометрового плюща, подстриженного в форме слона. В *Саду забытых плодов* он поддерживает жизнь вымирающих растений и фруктовых деревьев, чтобы помочь сохранить посетителям воспоминания об их запахах и вкусах. Я втягиваю в себя аромат трав его детства. Но я не знаю этих запахов, они не пробуждают во мне никаких ассоциаций. Я честно в этом признаюсь. Маэстро раздумывает, имеет ли смысл демонстрировать чудеса подобному существу, лишенному памяти. Недовольно бормоча, он принимается яростно трясти плющ. Слон теряет свои листочки.

Гуэрра хватает меня за руку и тащит вглубь сада. Мы оказываемся перед небольшой триумфальной аркой.

— Ну же. Пройди под ней.

© 2005 Arthur Japin
© Екатерина Асоян. Перевод, 2013

Сооружение выложено плиткой с характерными для Тонино мотивами в пастельных тонах. Повсюду в Пеннабилли — на дверных косяках, брусчатке, за церковным алтарем — вдруг оживают сказочные сюжеты со светло-зелеными птицами, лучезарным солнышком, золотыми улитками, розовыми змеями и ярко-желтыми пирамидами.

— Это *Арка смелых сокровенных желаний.* Иди же! У всех нас есть мечта. Пройди под ней и загадай желание. Можешь и не загадывать, конечно, но я сразу пойму.

Я прохожу под аркой и загадываю желание. И действительно, с возрастом для этого требуется смелость. Но я все же загадываю. Тонино, однако, вздыхает, так, словно я провалил экзамен, и вымученно улыбается. Старик-отец, не рассерженный, но разочарованный, он начинает карабкаться на холм.

Мы проходим мимо солнечных часов Тонино. Огромная мраморная плита в траве, на которой выгравирован циферблат. Если встать на нужное место, то отбрасываемая тобой тень укажет точное время. Сегодня ему не хватает терпения, и наши тени пересекают плиту на уровне полудня. Он держит путь в миниатюрную часовню в конце сада. Розовые керамические улитки оставляют на каменной двери часовни золотистые следы. Одна из них вросла в камень, словно ископаемое, пойманное временем.

— Это мой памятник Тарковскому, великому русскому режиссеру, — читает Тонино собственноручную надпись на кафельной плитке, — успевшему за свою короткую жизнь подышать чистым воздухом нашей долины. Камни для этого памятника собраны в разрушенных церквях. Мы верим, что эти камни хранят в себе песни, молитвы и надежду, услышанные ими тогда, когда они еще были стенами.

Он смотрит, какой эффект произвели на меня его слова, и говорит:

— Что мне больше всего нравится в долине реки Мареккья, так это ее пустынность. Когда я приезжаю домой и озираюсь, то ничего не вижу. Вот ты сейчас тоже так думаешь — никчемная долина. Но день за днем я открываю здесь для себя что-то новое. Ты только что вернулся домой. Долина кажется необитаемой, но ты приглядись!

Не дожидаясь ответа, он отворачивается, не оставив мне возможности сказать, что я уже и так переполнен впечатлениями этих первых минут и потрясен его незаурядными взглядами. Тонино это неинтересно. Он захлопывает за собой калитку; отец, которого всю жизнь приходится убеждать в своей любви.

Сохраняя спокойствие, я вхожу в его *Лавку воспоминаний.* Это пустое помещение, ведь прошлое не продается.

— Я столько всего взял из этого края. Сейчас мне семьдесят два, пора отдавать долг. Висконти, Пазолини — все они родились здесь. Феллини, Рози, Антониони, во всех написанных нами сценариях я использовал местный материал: истории, типажи, чудеса при-

роды. Ну а с Федерико мы, конечно, сделали "Амаркорд" — своего рода гимн Римини. Над Эмилией-Романьей глумятся, потешаются, ее пытаются предать забвению. Еда известна, да, лучшая в Италии, еще вино, Мадонна!.. Но кто знает культуру, холодные каменные своды рода Малатеста, закалившего область во время своего правления? Свои стихи я пишу на романьольском языке, а потом перевожу на итальянский. Сколько мыслей я здесь почерпнул! А теперь возвращаю их этой земле.

Пеннабилли — это Эдемский сад Тонино Гуэрра, к которому он всякий раз добавляет недостающую, по его мнению, деталь и плитку со стихотворением, поясняющим его мысли. И всегда с подписью. Создатель надписывает свой рай.

Тем, кто прилагает старания, капризная долина раскрывает часть сюрпризов Тонино. Но рисунки, которые, по словам местных жителей, Тонино прячет в дуплах деревьев, остаются недоступными взору, равно как и раскрашенные камни, которые он хоронит в земле или бросает в воды Мареккьи.

Сначала обнаруживаешь следы солнечных часов, припрятанных в каждом закоулке деревушки, всеми возможными и невозможными способами отмеряющих, как истекает или стоит на месте время. Человек должен осознать, что современная спешка не имеет смысла в этой долине мыслей.

Потом вдруг под средневековыми воротами натыкаешься на *Беременную Мадонну* Пьеро делла Франчески. Это копия, использованная в фильме Тарковского "Ностальгия". Теперь она печально смотрит на людей, приближающихся к дому Тонино.

Рядом часовня с изображением *Il dopocena dell'ultima cena*, то есть "продолжения Тайной вечери". На восьми алтарных картинах выражены мысли Тонино на эту тему. Голодные коты, пьющие из опрокинутого Иисусом кувшина. Упавший стул, будто кому-то пришлось поспешно уйти. Подвыпивший апостол. Развенчанный миф становится более человечным. Среди гор грязной посуды разбросаны хлебные крошки.

За пределами деревушки Тонино возводит святилище *Мадонны снежного квадрата*, точно на том месте, где несколько лет назад произошло чудо природы[1]. За ним, у холма, нужно еще построить театр под открытым небом, до которого сможет добраться только преисполненная решимости публика. В нем осенними вечерами Тонино хочет проектировать на облака выдающиеся итальянские фильмы.

Светящееся путешествие, Приют для брошенных мадонн, Пленные сны, Аромат Малатеста. Повсюду в долине Мареккьи встречаешься с фантазиями Тонино. Порой возникает ощущение пресыщенности, ты

1. Согласно легенде, в этих местах часто случались оползни. Как-то в августе выпал снег, который быстро растаял, но на небольшом квадрате оставался лежать еще очень долго. Оползни с тех пор прекратились. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

чувствуешь себя незваным гостем, вторгшимся в чужой мир. Но этот мир распахнут для тебя, доступен и приветлив. И так не похож на ворчливого старика, его сотворившего.

В заброшенном аббатстве он работает над созданием музея. Музея одной-единственной картины. На какой сюжет? Усатый ангел полагает, что послан на землю с миссией: накормить чучела птиц. Его усердие и внимание к безжизненным тельцам воскрешают их. Первый зал станет визуальным воспроизведением этой истории. Следующий зал займут все виды птиц из долины Мареккья. Их чучела. Интерес посетителей должен будет возродить их к жизни.

— В Голландии это тоже должно быть возможно. Делать то, что делаю я. Прокладывать тропинки мыслей. Может, из объектов, поднимающихся из воды? Островов, всплывающих посреди озер? Стоит только отыскать заброшенные деревни, глухие местечки. Очень важно принести культуру людям, отрезанным от цивилизации, по-новому воздействовать на их мысли.

Мое сообщение о том, что в Голландии нет невозделанных, захолустных земель, для него непостижимо.

— У меня и без того сложилось о вас странное представление. Все поголовно носят джинсы, пьют кока-колу и занимаются сексом. В такой среде тем более следует разыскивать тайны нетронутой природы, ведь так и погибнуть недолго... Осторожно! Смотри куда идешь! — внезапно вскрикивает он, тут же забывая про Голландию. Прямо передо мной сидит кузнечик. — Не наступи! Только не наступи! Матерь Божья! Эта природа — единственный неиссякаемый источник вдохновения для любого писателя. Что ты на это возразишь? Без природы нет ничего.

А я умалчиваю о том, что у нас уже не осталось девственной природы, что наши пастбища не хранят никаких тайн и открывать нам больше нечего.

Тибр берет свое начало недалеко от Пеннабилли. Вблизи от его истоков, над почти безлюдной деревушкой, возвышаются руины замка. Но в мире Тонино Гуэрры нет ничего однозначного. На обломках разрушенных подземных ходов он разбил свой *Каменный сад*. Полы, единственное, что уцелело от старинных залов, он покрыл *Коврами из окаменелых мыслей*.

— Сюда уже многие годы никто не заглядывает, — рассказывает одна из последних трех жительниц. — Молодежь уехала в Римини, работает на курорте. Или спустилась в соседнюю деревню. Молодые господа уже не в состоянии жить на горном склоне, в своих кроссовках из жевательной резинки.

Она вскидывает голову и подергивает плечиками, издеваясь над "элегантностью" больших городов. От смеха у нее начинает течь из носа, и она наскоро вытирает лицо рукавом хлопкового платья. В октябре в горах сыро, а после захода солнца прохладно.

"В память о Джотто, увидавшего с Монтефельтро первые волны синего Адриатического моря", — выведено Тонино на одной из плиток. Эта

плитка лежит рядом с "ковром" окаменелых волн, почти невидимых в траве. Вдалеке, в той стороне, где раскинулся ковер, низкое солнце выстилает серебристо-белую дорожку. Море или мираж?

Абстрактная игра линий составляет ковер "в память об Эзре Паунде, преклонившем колени перед черными слонами Сигизмундо Малатесты". Приземлившаяся сказочная утка призвана "почтить Данте, побывавшего в этих краях после побега из Флоренции". Отец Маттео, основатель ордена капуцинов, кричавший на всех: "В ад, в ад, грешники!" — удостоен каменной плиты с изображением искореженных церковных дверей. Поле с миниатюрными *Пирамидами из сновидений* образует прелюдию к башне в заброшенной горной деревне внизу, трехгранный шпиль которой, словно пирамида, поднимается прямо над этим ковром.

— Ковры? А, эти объекты искусства или как они там называются. Ничего красивого в них нет, — говорит женщина в черном. — Впрочем, что я смыслю в искусстве?

Она срывает инжир с дерева и протягивает мне. Просто так.

— Но я верю, что они способны изменить нашу жизнь. Этим летом у нас было много гостей. А в следующем году ожидается еще больше. Все, кому надоело море в Римини. В своих шортах они добираются до наших деревень. Кто знает, может они вернут жизнь на гору? Может, долина Мареккьи снова воскреснет? Туристам всегда надо что-то покупать. Им надо есть. Спать.

Она срывает еще инжир и съедает. По подбородку стекает сок, она вытирает его рукавом.

— Кто знает? Может, и сыновья наши тоже вернутся. В своих американских штиблетах!

— Когда я читаю ваши сценарии, мне хочется умереть. Мои сценарии гораздо лучше! Да ладно, не принимайте близко к сердцу. Я же не Бог. Об этом иногда забывают.

Тонино сегодня не в духе, и слушатели его лекций чувствуют это на собственной шкуре. Даже тот факт, что Фонс и Лили Радемакерсы ни свет ни заря покинули свой римский рай, что напротив Пантеона, ради лекции мэтра длиною в несколько часов, оставляет его равнодушным. Ему не важно, что получил этот голландец[1] — "Оскара", несколько "Оскаров", как сам Тонино, или батон колбасы. Тонино дуется. Голландским сценаристам это не мешает. Им хватило недели, чтобы свыкнуться с его капризами, мало ли что слетает с его языка. Когда его заносит, вмешивается жена. Несмотря на копну ярко-рыжих волос, которые невозможно не заметить, Лоре всегда удается незримо пробраться туда, где Тонино читает лекции. Она тихонько пристраивается в углу и подает голос, только если Тонино начинает перегибать палку. Грузинка с горячим темперамен-

1. Фонс Радемакерс (1920–2007) — нидерландский режиссер и актер.

том — прекрасный образ для сценария.

— Не жалуйся, Тонино. Расскажи лучше о Параджанове!

— Молчи, женщина! И не подумаю! Они пришли слушать тебя или меня? О, русские женщины!

— Параджанов был гением.

— А ты проклятие. Ступай домой. Я не могу так работать. Накорми собаку.

Лора уходит. Тонино рассказывает о Параджанове. Буря миновала.

На холме Пенна еще задолго до этрусков разжигали огонь в честь богини солнца. Это место помечено Тонино таинственным, лабиринтообразным знаком. Вокруг него обитают двенадцать последних затворниц этого края. Сам Тонино обосновался на противоположном холме Билли. Его владения простираются — терраса за террасой — по всему склону. Единственные ворота выложены из остатков развалившихся церквей. На каждом выступе, подоконнике, под деревьями лежат расписанные геометрическими фигурами камни. Голубые и зеленые, желтые, пастельно-розовые и золотые. Они рассыпаны по фруктовым садам, как цветы на детском рисунке. Пока ветер загоняет облака в долину под нами, Тонино разливает сначала "Святое вино", затем тяжелое вино Альбано и разламывает панфорте, протягивая всем сладкие кусочки.

Одна половина дома предназначена для Лоры, другая — для него. В апартаментах Тонино не найти угла, не отмеченного его печатью. Он сконструировал там самую фантастическую в мире мебель. Неужели он мастер на все руки? Его необузданные фантазии воплощены в лучших традициях итальянского дизайна, с использованием материалов высшего качества; застекленный шкаф, печь, столы, стулья. Изысканная жизнь в воображении ребенка. Правда, ребенка с коммерческой жилкой. На столе красуется каталог крупной выставки мебели Гуэрры, только что открытой в одной из галерей Нью-Йорка.

Пока маэстро ораторствует на улице, меня подзывает Лора. Она провожает меня наверх и показывает *Дверь его мыслей*. Дверь — она на самом верху — состоит из двух старых, непокрашенных стальных створок. Она никуда не ведет, упираясь в глухую стену. Время от времени Тонино распахивает эти створки, царапает на внутренней стороне какую-нибудь мысль и снова их закрывает. Никому другому не разрешено прикасаться к двери. Рядом его рабочий кабинет. Я ни о чем не прошу, но Лора считает само собой разумеющимся показать мне его святая святых. Если я обещаю молчать, то могу заглянуть внутрь.

Там стоят два стола, а на стенах развешаны фотографии Тонино. Тонино-юноша. Тонино-старец. В зрелом возрасте и младенчестве. С Тарковским. Параджановым. Братьями Тавиани. Лора сияет, заверяя меня, что все эти люди его обожают. Фотографий самой Лоры нет нигде.

Лора и Гуэрра встретились семнадцать лет назад.

— В Тбилиси. Но я русская, понимаете, не грузинка!

Поставив уже несколько собственных фильмов, она ассистировала в тот момент Тарковскому.

— Тонино и я полюбили друг друга, но не могли общаться. Это было ужасно. Ведь он хотел поведать мне все, и тогда он стал писать письма. По одному каждый вечер. Перед сном он сминал письма в комок и бросал их в большой чемодан. Однажды он привез мне этот чемодан, полный писем. Каждый день я брала по письму, разглаживала его и отдавала на перевод. Когда чемодан опустел, мы поженились.

Мы переходим в кухню с буфетом Тонино и изобретательной кладовкой Тонино, набитой его картинами. Кухня соединена с Лориной половиной дома. Маленькие комнаты в тепло-розовых тонах, увешенные полотнами, с множеством ковров и пухлых подушек. И большой пустой чемодан. Она живет в русском кукольном доме, с закрытыми ставнями, чтобы не видеть, как идет снег.

— Сама я больше не работаю. Я пыталась что-то сделать, но идеи Тонино всегда лучше. Знаете, сегодня, спустя семнадцать лет, я все еще чувствую себя его ученицей, а не женой.

Поздно вечером — все мы слегка захмелели — он подсаживается ко мне на самой высокой террасе под ореховыми деревьями. Он хочет знать, вынес ли я что-нибудь из его лекций. Боюсь, что он имеет в виду: научился ли я лучше писать сценарии. Нет, не научился. Более неподходящего человека на роль учителя не сыскать. Он рассказывает уйму занимательных историй, но совершенно не способен анализировать свое или чужое творчество. Тем не менее он задумал открыть в Пеннабилли школу для сценаристов. Кто-то должен его отговорить. Пока я сомневаюсь, следует ли сделать это мне, он и так все понимает. И пожимает плечами, как будто затея с киноакадемией Тонино Гуэрры уже потеряла для него всякий интерес.

— Повторю еще раз, можешь пропустить это мимо ушей, но, по крайней мере, моя совесть будет чиста: любое место обладает волшебством, которое ты сам в нем узришь. Конечно, легко утверждать такое, когда путешествуешь. Я бы хотел, чтобы каждый умел разглядеть волшебство в повседневной обстановке, сидя в кресле у себя в гостиной. А если люди этого не делают, так нужно их заставить. Когда в один прекрасный день они завернут в кинотеатр, хватай их там голыми руками. В твоем распоряжении полтора часа — распахни перед ними их собственный мир, который сами они увидеть не в состоянии.

Он с трудом поднимается и отряхивает брюки.

— Вот теперь ты все знаешь, так что — упаси Боже — даже и не думай требовать обратно свои деньги за обучение.

И уходит.

У него талант — внушить человеку чувство неполноценности. Я следую за ним, но нигде не могу найти.

Уж эти прописные истины мне известны, Тонино: важно не то, что видишь, а то, что ты об этом думаешь. Суть любого

объекта познаешь скорее с закрытыми глазами, нежели с открытыми.

— Эй ты, каланча! Как бишь тебя? — кричит Тонино мне на прощание. За неделю он не удосужился запомнить наши имена. Голландские сценаристы возвращаются в Голландию писать сценарии. Тонино и Лора меняют Пеннабилли на Москву. Я остаюсь еще ненадолго.

— Ну что, подписать или как?

Я протягиваю ему один из сборников его рассказов и ручку.

— Это ерунда. У тебя нет цветных карандашей?

Я вынимаю ящик с принадлежностями для рисования. Он опрокидывает содержимое на стол. Какое-то время его рука парит над карандашами и кисточками, а затем, словно управляемая свыше, принимается жадно их перебирать. Почти не глядя, он извлекает несколько цветов. Стремительными росчерками испещряет всю первую страницу, будто сомневаясь, что мои карандаши способны отобразить цвет. Между делом спрашивает, научился ли я различать запахи в его *Саду забытых плодов*.

— Некоторые, — говорю я. — Теперь и я буду хранить запахи, у которых есть воспоминания.

Он отрывает взгляд от размалеванной страницы и на сей раз действительно на меня смотрит. Ослабив хватку, он принимается заштриховывать плоскости в розовый, терракотовый, охровый и бирюзовый.

— Мельком, когда-то давным-давно, дитя города, ты видел рай, то зеленое растеньице меж булыжниками мостовой, ты просто забыл. Природа тебе его вернула.

На листке он рисует птицу — приторно красочную, замысловатую, сказочную утку с перьями на голове. *Возвращенный рай.*

Папочка смеется и в целом доволен. Не раздумывая, он подписывает книгу “Для Артуро”.

Б*арселона*

Барселона прихорашивается. Словно стыдясь своей внешности, она маскирует неровности толстым слоем макияжа. Олимпийский клиент, которого непременно следует ублажить, уже давно заманен в сети. И все же в городе ощущается нервное томление.

Моя темная комната в красном квартале уже несколько месяцев дожидается сноса блочного дома на противоположной стороне улицы, по всей видимости, скрывающего собой целое море света. Совсем скоро зеленая площадь изменит облик этой каталонской плотины. Очевидно, даже в этом районе во время Олимпийских игр предвидится большой наплыв туристов. Но почему именно этот блочный дом на противоположной стороне, а не другой? Никто не знает. Изображая бурную деятельность, здесь по семь раз в месяц перекапывают улицы, словно желая добраться до истины. Это симптомы олимпийской лихорадки.

Авиньонские девицы, прославленные Пикассо шлюхи,

сидят по утрам на тротуаре или стоят, облокотившись на витрины Каррер-д'Авиньо и безучастно глядя вокруг. Они постарели. Волосы вымыты голубым оттеночным шампунем. Одной рукой они защищают их от сильного ветра, поднявшегося с гор. Втайне они, возможно, надеются заполучить какого-нибудь проходящего мимо атлета. Иной раз они снимают с руки аккуратные дамские сумочки. И достают оттуда маскировочный карандаш и зеркальце, проверяя, как долго продлится еще ИХ время.

Дует трамонтана.

— Наконец-то видно небо! — восклицает старик, ковыляя по набережной вдоль порта. Одна из многих жертв полиомиелита, а может, раненный при режиме Франко.

С какой стороны? Он указывает ввысь.

— И, черт побери, оно голубое!

Он продолжает стоять улыбаясь. В надежде получить мелочь в награду за свою шутку. Ничего не добившись — не страшно, — он садится рядом со мной. От него пахнет ваксой.

— Разве здесь не ужасно? Чудовищно! — крик души. — Они ведут себя так, будто здесь Сен-Тропе. Это порт, а не бульвар. Понатыкай они еще пятьсот пальм и скамеек, все равно бульваром он не станет. Здесь работают. Ну то есть работали. Да, и я работал! Чудовищно!

Тем временем бульвар уже растянулся на несколько сотен метров, между пульсирующей жилой города Рамблой и квартал простолюдинов Барселонетой. И действительно, бульвар изобилует пальмами и разноцветными скамейками, многие из которых своими округлыми формами пытаются подражать произведениям Гауди, — и напрасно. Между набережной и главной артерией города, граничащей с пешеходной зоной, щедро выложены свежие булыжники. Пальмы не в состоянии заглушить шум автотранспорта, проносящегося мимо на бешеной скорости.

— И так до Франции. Праздник для разводчиков пальм. С таким же успехом они могли бы построить и стену. Раньше город просто доходил до воды. Сейчас нас от нее отрезали. Такие склады, как этот, стояли прежде везде. Они были нашей жизнью. Я и сам там работал. Клерком, подумать только! А сейчас остался вот тот единственный пакгауз, к тому же оборудованный под ресторан, который никому не по карману. А если нам хочется на море, то мы, конечно, благополучно пересекаем шоссе, но потом приходится продираться сквозь толпу туристов, а это смертельно опасно!

Захлебываясь от смеха, он достает щетку, встает на колени и принимается начищать мои ботинки.

— Ради бульвара они хотят переместить нефтехимический завод. Хорошо, вот только куда? В конце концов они просто увьют его плющом или выкрасят в веселые цвета, а потом скажут, что это лес или шедевр искусства. В общем, смех один, эти Олимпийские игры, чудовищно!

В Барселоне много обманчивого. Готические ворота сооружены в прошлом веке, барочный фасад реконструирован в двадцатых годах. Каталонские архитекторы не столь щепетильны, легкомысленно заимствуя, обменивая и видоизменяя разные стили. Аутентичность означает здесь не упорные поиски чего-то нового в почти истощенной фантазии, а изощренное копание в прошлом. Подобным образом, после многовекового застоя, за минувшее столетие Барселона сумела-таки создать самобытную, впечатляющую архитектуру. Колумб, возвышающийся на высоченной колонне, ненароком стал причиной трагедии этого города. Отправляясь в путешествие, он покинул Барселону в момент расцвета торговли и культуры, однако открытый им континент, до которого было легко добраться из других портов, в одно мгновение лишил Барселону превосходства, и она не смогла воспользоваться плодами испанского возрождения. Поэтому подлинная архитектура эпохи ренессанса и барокко здесь не встречается. Впрочем, город возводит собственные декорации.

Бронзовый палец Колумба бесцельно парит над морем, указывая скорее в направлении Египта, чем Америк. Он повернулся спиной к Новому Свету, а ведь мореплаватель, устремленный вглубь суши, — зрелище жалкое и абсурдное.

Около полудня по безотрадной равнине шествует сюрреалистическая процессия. Ветер с гор поднимает белое облако пыли и сбрасывает его в море красочных многослойных широких юбок. Выстроившись в длинную цепочку, шествующие пробираются по камням и рытвинам голой строительной площадки, граничащей вдалеке с пригородными многоэтажками неимущих. Севильские женщины и девочки облачены в нарядные платья всех цветов радуги, мальчики и мужчины — в строгие черные костюмы и жесткие круглые шляпы. Некоторые из них, как положено, гордо восседают на лошадях. Большинство оставили свои автомобили на гигантской парковочной стоянке. Это четвертый и последний день большого Севильского праздника. Но ведь это же не Севилья.

Участники праздника — севильские гастарбайтеры в Каталонии, а звуки и гирлянды вдалеке, куда они смиренно держат путь, лишь копия их народного праздника. Неспешная процессия минует мальчика, сидящего на обочине дороги. Ему лет семь. Волосы поседели от пыли. Такое впечатление, что он сидит здесь уже несколько дней, без сна, еды и питья. Играет на своем маленьком синтезаторе — вяло и безразлично — только аккорды: C, G, C, G. Его музыку заглушают громоподобные раскаты севильяны, извергающиеся из колонок на праздничной площади.

Равнина уставлена шатрами, образующими улочки. Перекрестки снабжены табличками с названиями улиц родных пенатов участников праздника. На дорогах этого искусственного города многолюдно. Бездна народу безустанно движется в ритме, заразительно

отбиваемом ладошками. Хлопают все — от мала до велика. И танцуют. Даже лошади. Между наездниками разгорается борьба — у чьего коня самая красивая поступь. Пьяный всадник в кровь разбивает широкими квадратными стременами бока своего скакуна, который недостаточно высоко поднимает ноги и недостаточно быстро разворачивается.

В тени шатров оборудованы сцены, прогибающиеся под топотом танцующих севильяну. Кто под какой ритм танцует? Тонкий брезент пропускает наружу множество различных мелодий. Музыка из палатки коммунистической партии перемешивается с музыкой демократов.

— У социалистов опять самый скучный стенд, — ворчит толстый коротышка за длинным деревянным столом. Ему снова удалось влезть в его старые узкие севильские брюки, но теперь, когда он сидит, они почти что трещат по швам.

— И самые дорогие закуски! — с пластмассовой тарелкой, наполненной сыром, хлебом и жареной черной кровяной колбасой, подсаживается его жена. Разносят блюдо с креветками, уже довольно долго простоявшее на жаре, и разливают тяжелое вязкое белое вино со вкусом скверного хереса. Теперь понятно, откуда этот тошнотворный запах.

— Хорошенько выпить, — говорит мужчина, — вот в чем секрет. Главное — поднять настроение, а если хватил лишку, то поможет herbabuena.

Он пододвигает к себе бутылку с настойкой мяты, "доброй травы".

— Пара глотков — и ты трезв как стеклышко. Но стоит тебе осознать, что это не Севилья — и рядом не лежала, — приходится по новой заливать в себя вино. Я так давно не был дома, что уж и сам не пойму, по чему скучаю. Они лезут из кожи вон, но все равно это не то, нет... нет...

Он делает внушительный глоток, в два прыжка оказывается у сцены, ждет неслышного мне музыкального знака и включается в танец, безупречно повторяя движения других. Полностью владея собой, он гордо и страстно отплясывает севильяну. Поедая кровяную колбасу, его жена подстегивает его жалобным криком. Под конец, с набитым ртом, она затягивает песню. От неожиданности я не сразу вникаю в смысл слов этой душещипательной мелодии:

Сегодня наконец у моего мужа
выходной,
Сегодня наконец я схожу с ним
за покупками
в "Суперкор"!

Над кладбищем трамонтана совершает чудо. С безоблачного неба на скорбящую семью проливается дождь. Вдова облокотилась на склеп. Ее покойный супруг стоит рядом, прислоненный к стене, в своем гробу. Он ждет своей очереди. Кладбище на Монжуике идиллическое, но переполненное. На каждую семью здесь отводится склеп площадью в один квадратный метр, не больше. Женщина кладет одну руку на гроб. Другой поглаживает деревянную крышку гроба, примерно в том месте, где голова

покойного должна была припасть подбородком к груди. Она терпелива. Вся семья наблюдает, как сначала удаляется мраморная эпитафия, затем замковый камень. Один из могильщиков заглядывает в темноту, подзывает второго, и в конце концов, после кратких переговоров, третий вползает на коленях внутрь, покуда из дыры не остаются торчать лишь его стертые подошвы. Затем он выкарабкивается обратно, осторожно, чтобы не удариться головой. Рывком выдергивает старый гроб наружу, с такой силой, что с него слетает крышка. Родственники не двигаются, бесстрастно взирая, как могильщик засучивает рукава клетчатой рубашки, берет кирку и с внезапной мощью ударяет по свинцовой плите, закрывающей тело. Стеклянное окошко, через которое родные обливаясь слезами когда-то прощались с покойным, разбивается. Осколки падают на череп цвета и консистенции жевательного табака. Еще два точных удара, и гроб раскрывается, подобно волшебному ящику фокусника, когда в кульминационный момент трюка все его стенки откидываются. Находящийся там труп скукожился и высох. Лишь лицо вполне сносно сохранило свои обтянутые кожей черты. Первое-наперво берется голова и одним ловким движением забрасывается обратно в склеп. Родственники продолжают умиленно щебетать друг с другом. А что им еще остается? До той поры пока они не в состоянии заплатить за второй склеп, им приходится проявлять покладистость. Они покорно смотрят, как могильщик в клетчатой рубашке поворачивается спиной к склепу и широко расставляет ноги. Затем наклоняется и хватает распластанный перед ним труп за плечи. Машинально просовывает покойника между ногами в склеп, словно ковер. Песок и оставшуюся от трупа труху он скармливает трамонтане. Деревянные обломки старого гроба пинками отшвыривает с дороги. Теперь родственники готовы предаться скорби. Перед склепом возлагается новый покойник. Несколько слов, и гроб очередного члена семьи исчезнет в ненасытной дыре. Родственники выстроились в шеренгу для прощания и сложили руки в молитве, но в их позах сквозит равнодушие. С наигранной беззаботностью они бросают взгляд прямо в вечность. Никто и бровью не ведет, когда раздается хруст, потом еще — покойник не желает пролезать в склеп — и еще раз, когда он наконец оказывается на месте. Они прикидывают, кто именно из присутствующих вскоре расплющит сегодняшнего усопшего и кто кого, спустя время, заставит потесниться. Даже вечный покой и тот здесь не такой, каким его рисует воображение.

Вечером на сцене роскошного оперного Театро дель Лисео Мэрилин Хорн в солидном мужском костюме исполняет арию Танкреда. На улице тем временем все поменялись ролями. Вокруг этой позолоченной бонбоньерки на бульваре Рамбла с наступлением сумерек расхаживают мужчины в нарядных платьях. Какой-то

трансвестит, похоже, позаимствовал свое одеяние из шикарных бутиков Пасео де Грасья. Другой, наоборот, одет нарочито просто — в шерстяном свитере, с повязанной на голове косынкой. В толчее он-она присаживается за мой столик и делает заказ. Мы разглядываем прохожих из-под сводов гармоничной, закрытой с четырех сторон Королевской площади. Молодой человек с собранными в пучок волосами жонглирует огнем, а четверо южно-американских пончо зажигательно распевают о парящем в небе кондоре.

— Они родились здесь за углом, — говорит моя соседка по столу. — Сегодня в моде "La Bamba", а завтра, возможно, "Эдельвейс". И тогда эти барселонские парни нацепят на себя ледерхозен.

Она элегантно закидывает ногу за ногу и строит мне глазки.

— Каждому свое, не правда ли?

Опустошив несколько стаканов, она встает на защиту Барселоны.

— Какая красота, какая свобода. Это самый прекрасный город на свете. Тот, кто не хочет разглядеть его красоту, ничегошеньки не увидит. Но стоит только надеть нужные очки, как все вокруг преображается. Фешенебельные гостиницы, магазины как в Париже, лучшие музеи мира, Пикассо, Миро — и при этом можно играть любую роль. И мы играем. Мы, каталонцы, мастера лицедейства. Мы играем в испанцев. У нас свой язык, но мы притворяемся, будто говорим на языке большинства. Все мы носим маски. Каждый свою. Ради удобства. Под маской никто тебя не трогает и можно спокойно оставаться самим собой. Как Гауди! Вот кто истинный каталонец. Весь город он обвесил гирляндами, блестящими, как детские бусы. Он украсил город на свой вкус. Пример для подражания всем нам: не нравится? — расцвети, переделай. Гауди это понимал, и его стеклянные бусины кажутся нам брильянтами. Он ребенок, превративший свою комнату в залу дворца.

Она выпивает последний стаканчик и смешивается с коктейльными платьями на Рамбле, хлынувшими из Театро дель Лисео. В это время Мэрилин Хорн, снимая с лица бакенбарды, слушает пение фальшивых перуанцев под окнами своей гримерной. Они тоже маскируют свою ординарность, — чудовищно! — превращая обыденную жизнь в любовную песню:

Я нарезаю латук, чтобы сделать
салат, карамба!

Ян Броккен
В *доме поэта*

Фрагмент книги

Перевод Ирины Лейченко

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

Анна Ахматова *Воронеж*

Часть I. Хроника побега

За три дня до смерти он отдал мне двенадцать вырванных из записной книжки листочков. Плотно исписанные страницы, перепачканные брызгами кофе, кругами от стаканов и винных бутылок, чернильными подтеками и следами прижженных окурков. Почерк был мелким, аккуратным, в нескольких местах слегка перекошенным, но, за исключением одного отрывка, где слова прятались за путаницей букв, разборчивым. Ни зачеркиваний, ни приписок. Правда, строчки тесно жались друг к другу, используя каждый миллиметр листа.

— Это на будущее, — сказал он.

Он сидел на диване. В гостиную пучками врывался солнечный свет. К тому времени он мог лишь отличать свет от тьмы, красный от черного. Как ни странно, выглядел он хорошо, молодо — в точности на свой возраст, на лице играла обаятельная улыбка, от которой щеки собирались в складки. Волосы опять отросли и прикрывали торчащие уши; кожа вновь посмуглела, бросив на его лицо отблеск Востока. Он на ощупь побрился, надел фланелевые брюки и клетчатую, как шахматная доска, кофту, в которой он любил ближе к вечеру пить чай в компании друзей. Он был привязан к этому русскому обычаю и не любил чаевничать в одиночестве.

Двенадцать страниц, заботливо сбереженных в пластиковой папке. Он подтолкнул ее на другой конец низкого столика, ближе ко мне. Затем поднялся и прошаркал в комнату, где стоял “Стейнвей”

© 2008 Jan Brokken
© Ирина Лейченко. Перевод, 2013

1954 года, его ровесник, концертный рояль с богатым сонорным звучанием.

Он уже давно не дотрагивался до клавиш. Нерешительное начало пьесы я принял за его нерешительность. При мне он никогда еще не играл ее, но исполнение было безошибочным. Первые шелестящие звуки вдруг вспыхнули пламенем, темнота уступила ослепительному сиянию, затишье сменилось бурей. Я не мог его видеть, но знал, что глаза его были закрыты или устремлены к потолку, голова откинута. Он всегда так играл, во всяком случае вещи, которые хорошо знал.

Сначала я напряженно слушал, но потом стал перебирать странички у себя в руках. Слова, написанные кириллицей, казались угловатыми, словно вырезанными на дереве. Под каждой записью была проведена черта, следующая запись начиналась с даты, написанной слева: 19 мая 1976 г., 20 мая, 21 мая... Дневник.

Это был дневник, который он вел весной 1976 года, сразу после побега из СССР. Его поместили в лагерь для беженцев, расположенный в бывшем аббатстве неподалеку от Рима. Он мне об этом рассказывал: целых тридцать дней он просидел в одиночной камере, где компанию ему составляли только ручка, карманная записная книжка, термос с кофе по утрам и бутылка красного вина по вечерам. Вино он выпросил у одного охранника, застенчивого деревенского паренька, чьи глубоко посаженные темные глаза неумолимо напоминали ему о матери.

Комната, а затем и весь дом, наполнились переменчивыми звуками. Пьеса, несомненно, русского композитора, была короткой – всего несколько минут. По ступенькам бесконечных трелей ноты взбирались все выше и выше, пока не достигли самой высокой до. И внезапно музыка иссякла.

Он отошел от рояля и опять сел напротив меня.

– Прокофьев? – спросил я.

– Скрябин.

Он указал на листочки. Точнее, в их направлении. На самом деле он указал на букет белых тюльпанов на журнальном столике. Я испугался – он действительно начал слепнуть. Все происходило так быстро, так ужасно быстро: еще две недели назад мы сидели на кухне и рассматривали фотографии. Я вскочил с дивана, будто собираясь позвать на помощь, но, к счастью, он и этого не увидел.

– Попроси Татьяну перевести, – сказал он мягко, но решительно.

Она, единственная в нашей компании, будучи русской по рождению, с легкостью говорила и читала на этом языке. Татьяна знала его почерк: он часто писал ей, когда в очередной раз сидел в шумном зале аэропорта в ожидании рейса или когда, страдая от скуки в неуютном гостиничном номере, беседовал с ней в своем воображении. Он писал письма, которые подписывал “Юра”, “Юрка”, “Юрочка”, “Юренька” или просто “Юрий”.

Он все хорошо продумал: дневник он оставит мне, чтобы я мог им воспользоваться, когда

буду о нем писать... Переведет дневник его старейшая подруга на Западе, Татьяна, дочь русских эмигрантов, которые давным-давно обосновались в Нижних землях, в Брюсселе. Он и сам когда-то так же сбежал в Амстердам, не очень хорошо представляя себе, что его там ждет, но с твердым намерением вовсю наслаждаться свободой.

Когда он указал на тюльпаны, я понял, что он свои дела завершает. Физическое здоровье еще позволяло ему протянуть какое-то время, к нему вернулся аппетит, он стал есть, и со вкусом. Он даже вновь начал пить — накануне вечером мы распили привезенную мной бутылку бордо, лучшего медокского вина. Но в душе он сдался. Сначала помутнело зрение в левом глазу, а теперь свет исчез и из правого. Он блуждал в тумане, который сгущался с каждым днем, он с трудом различал клавиши, и это было для него самой жестокой из всех казней.

Снаружи доносились знакомые звуки Амстердама: пыхтение прогулочных корабликов на канале, шелест ветвей, плаксивое треньканье велосипедных звонков, визг трамвайных колес. "Наш город", — часто говорил он. Так оно и было: мы с ним были родом из совершенно разных мест, разных миров, разного окружения, но теперь оба были частью этого чудно́го города. Амстердам стал нам родным, превратился в точку опоры в нашей кочевой жизни. Город был нашим и в другом смысле: без Амстердама мы никогда бы не встретились, без Амстердама не завязалась бы наша дружба.

* * *

Через три недели после его кремации передо мной лежал напечатанный на машинке перевод дневника. И его автор опять предстал передо мной таким, каким был при жизни: обаятельным, остроумным, честным, сумасбродным, застенчивым и иногда, ни с того ни с сего, отчаявшимся, строптивым, испуганным или злым.

О своем побеге он рассказывал мне много раз. Я знал, что ему предшествовало, был в курсе всех обстоятельств, но дневник заставил меня почувствовать его потерю, которую, несмотря на все успехи, ему так и не удалось восполнить.

Сам я бежал множество раз, сначала из дома, потом за границу. Я знал, что при побеге возникает острое ощущение, что, когда от слов переходишь к делу и чувствуешь, как километры, один за другим, проносятся у тебя под ногами, ты способен улететь на Луну. Я знал и то, что эйфория эта мгновенно проходит, как только в незнакомом городе ты натыкаешься на пару затуманенных глаз, которые пялятся на тебя так, будто ты несешь полную галиматью.

На этом сходство кончалось. Всякий мой побег был не более чем отъездом; ничто не мешало мне вернуться обратно. Я был родом из свободной страны, где такой шаг не нес на себе печати необратимости. Для него же побег был экзистенциальным поступком: он сжег все мосты и превратил своего отца, мать, братьев, дядей, кузенов и племянников, друзей и учителей в живых мертвецов.

У него не было выбора. В Москве он чувствовал себя затравленным. Единственный человек, которому он доверился, принялся распускать слухи сначала в консерватории, потом в более широких кругах, среди музыкантов и художников. В те дни стукачи были повсюду — в столовых и на улице, в автобусе, в метро, в парках, в университетской библиотеке и в фойе консерватории. Они ничего не упускали и сообщали обо всем неприличном, подозрительном или мятежном. В кармане пальто он находил анонимные записки, а однажды, в общежитии, где он с дядей и матерью занимал полторы комнаты, раздался телефонный звонок.

Вместе с матерью они переехали к дяде Арику. Ее решение было непоколебимым: она не собиралась оставлять ребенка одного в Москве. Для матери его возраст не имел значения. Официально он, может, и считался взрослым, но без ее постоянного присутствия у него ничего бы не вышло, она была в этом совершенно уверена. С раннего детства он казался ей более нервным, неуверенным в себе и беззащитным, чем его братья. Чтобы следить за тем, правильно ли он питается, достаточно ли спит и занимается ли каждую свободную минуту на фортепиано, она бросила работу в Казани и вместе с ним переехала в столицу.

Мать и дядя Арик были рядом, поэтому, когда в дверь постучали с криком "Мальчика к телефону!" — он заволновался еще больше. Никто и никогда не звонил ему домой, просто потому, что он никому не давал этот номер. Это было слишком неудобно: телефон находился в вестибюле и, чтобы ответить на звонок, нужно было сбежать на пять пролетов вниз. Звонивший не представился; он услышал голос, вкрадчивый голос, который лишь намекнул: "Я знаю, что про тебя говорят".

Он всегда был осторожен — из страха перед матерью, которая была строга во всем, но и из чувства самосохранения. Учеба подходила к концу, и для продолжения карьеры он нуждался в помощи сверху. Он не мог позволить себе оступиться. И все же скрывать свою настоящую природу становилось все труднее. В Советском Союзе все играли в прятки, никому не удавалось во всем оставаться самим собой. Он зашел так далеко в этой игре, что изменил даже походку. Шаги его стали намеренно широкими, уверенными, неуклюжими. Он больше не семенил, он маршировал. Такая походка требовала огромных усилий, она не совпадала с его чувством ритма. То же происходило и с его манерой говорить, с его взглядом. Иногда ему хотелось вслух заявить, что он не в силах больше выдавать себя за другого, что, родившись левшой, невозможно в наказание заставлять себя всю жизнь пользоваться правой рукой, в конце концов он доверился не тому человеку: сокурснику по консерватории, тоже пианисту, но менее талантливому. Зависть порождает сплетни, он должен был это понимать.

По советским понятиям, он был психически больным, не-

нормальным. Он боялся, что его отправят на перевоспитание в сибирскую колонию на два, четыре года, а то и на восемь лет, или в лучшем случае его ждет жалкая судьба пианиста или учителя музыки в далекой провинции, в Алма-Ате или Ташкенте. Он был слишком честолюбив, чтобы так рисковать, к тому же и в провинции ему пришлось бы избегать юношей и мужчин, которых он узнавал из сотен.

Возможно, мысль о побеге не вцепилась бы крабом в его мозг, если бы он никогда не выезжал из СССР. Когда он жил в Казани, все, что лежало за пределами России, казалось ему захолустьем. Ни одна страна мира не была столь сильной, влиятельной и необъятной, как его Родина. "Одни только перелетные птицы знают, где кончается Россия", — писал Чехов. В том, что касалось справедливости, современности, глубины, техники, науки, ни одна держава не могла сравниться с Россией; русская музыка и русская литература достигли небывалых высот. Он искренне верил, что в случае отъезда его ждала судьба Рахманинова: обуреваемый тоской по Родине, он жил бы прошлым, а не будущим.

Когда ему исполнилось семнадцать, его выпустили в Париж, на Международный конкурс имени Маргерит Лонг и Жака Тибо; в двадцать один год его послали в Брюссель, на конкурс имени королевы Елизаветы. Там он понял, что представление о мире было навязано ему школой, радио, телевидением и даже родителями. Может, за пределами России и не чувствовался запах чернозема (Стравинский: "У русской земли особенный запах, его невозможно забыть"), но было очевидно, что люди там жили беззаботней, свободней и комфортней. Нидерландское радио пригласило его дать дневной концерт в амстердамском Концертгебау. Тогда он понял, что на Западе никому нет дела до его гомосексуальности, во всяком случае, она не будет стоить ему карьеры. В Амстердаме его походка вновь стала естественной.

Вернувшись на родину, он не мог больше постоянно ходить на поводке, слушаться чужих указаний: в выборе репертуара, который ему хотелось играть, книг, которые ему хотелось прочесть, выставок, которые ему хотелось посетить. Со своим консерваторским преподавателем он выучил сочинение Софьи Губайдуллиной — это была музыка, запрещенная к исполнению. Творчество Губайдуллиной считалось "декадентским", ее исключили из Союза композиторов. Ему никогда не разрешили бы играть Шёнберга, Булеза или Стокхаузена. Ефим Голышев? Запрещен. Владимир Ребиков? Запрещен. Ефим Голышев еще за 12 лет до Шёнберга написал первое произведение в 12-тоновой технике, Владимир Ребиков еще в 1912 году начал экспериментировать с гармоническими кластерами... Ему никогда не позволили бы исполнять их произведения на публике, а ведь он прекрасно разбирался в математической составляющей этой музыки, это был талант,

унаследованный им от матери. До переезда в Москву она преподавала математику в средней школе.

Он читал партитуры, поэтические сборники, мемуары. В основном классику. Рукописи современников было трудно достать, в лучшем случае, они распространялись в самиздате. Он не пропускал ни одной выставки современного искусства, но те всякий раз оказывались слишком ручными, правильными, это было искусство, не прокладывающее новых путей. Он решил было следовать примеру Святослава Рихтера, собиравшего современную живопись и организовывавшего у себя дома тайные выставки. Но, побывав несколько раз в его пятикомнатной квартире (он еще ни разу не ступал на порог такого огромного жилища), он понял, что, благодаря всемирной славе, Рихтеру позволялось больше других. Как ни странно, он осознал это, только увидев ванную маэстро: пока он мочился, его взгляд скользнул по полке, на которой длинным рядом стояли бутылочки с лосьонами для бритья и духами дорогих марок, привезенными с Запада. Вместе с парочкой однокурсников они раскрыли флаконы и наглотались их содержимого. Даже на следующий день у него изо рта еще несло "Шанелью № 5".

Славы можно было добиться за один день, например, победив на конкурсе, а вот обрести неприкосновенность было труднее. Как показывала карьера Рихтера, на это уходили долгие годы. Все это время ему пришлось бы приспосабливаться к системе, а это было ему противно: с самого детства он только тем и занимался, что выполнял пожелания окружающих. Когда ему было шесть, мать решила сделать из него великого пианиста. Еще более великого, чем его старший брат, которого усадили за инструмент в том же возрасте. Николаю суждено было пойти далеко, закончить Московскую консерваторию, но мать знала, что ему не хватало исключительной одаренности вундеркинда. Через пару лет она отвела другого сына в музыкальную школу в Казани, опять в надежде на успех. Андрюше не хотелось соперничать с братьями, и он поменял фортепиано на скрипку. Из трех братьев именно его, Юрия, мать считала самым способным. В ее глазах он был избранным, прирожденным талантом. Она догадывалась об этом по позе, которую он принимал, садясь за инструмент, по тому, как он прикасался к клавишам. Ее слух — натренированный, развитый слух — рассказал ей остальное. Когда началась война, она вынуждена была прервать свои занятия фортепиано, ее детская мечта не сбылась. Эту потерю должен был восполнить он, и никто другой.

Когда ему исполнилось девять, мать доверила его обучение Ирине Дубининой, и в четырнадцатилетнем возрасте он пришел к выводу, что не может и дня без нее прожить. Когда ему задавали вопрос, он смотрел на нее и, если она качала головой, он отвечал "нет". Он ни шагу без нее не мог ступить. Когда ему исполнилось семнадцать, Ирина Ду-

бинина отвезла его в Москву и передала прославленному педагогу Якову Заку, самому мягкосердечному человеку на свете, который принял его как отец.

Он знал, что все эти люди были готовы принести свою собственную карьеру в жертву его успеху, но благодаря им его жизнь оказалась расписана по минутам. Пока мать присматривала за ним в Москве, его младший брат жил за тысячу километров, дома, в Казани, с отцом и младшей сестрой его матери. Всякий раз, когда он вспоминал об Андрюше, ему становилось неловко: почему брат вынужден довольствоваться попечением тети?

Ему было уже двадцать два, он хотел жить собственной жизнью. Но это было чрезвычайно трудно. Он никогда не жил один, в каждой мелочи он советовался с матерью. Он даже хотел поделиться с ней своим желанием начать новую жизнь на Западе. К счастью, он промолчал. Она никого не любила так, как его, это проявлялось в каждом ее слове, в каждом взгляде, но именно поэтому она могла бы сообщить о его планах в КГБ, чтобы удержать дома, в СССР. Органам были известны ее, как, впрочем, и его, слабости.

* * *

Вообще-то он собирался подождать еще год. Год или чуть дольше: сделать себе имя в Москве или Ленинграде, сыграть пару крупных концертов, выпустить первую пластинку. Ранний успех в СССР открыл бы ему многие двери на Западе, как это произошло с Ашкенази, Нуриевым, Барышниковым и многими другими музыкантами, танцорами, писателями, шахматистами, которые отважились на Большой шаг. Его планы спутали поползшие о нем слухи.

Неожиданно его пригласили в Италию, в Брешию, сыграть на телевидении с оркестром Итальянского радио в прямом эфире. Поездка была организована в последний момент: он должен был заменить Артуро Бенедетти Микеланджело, который впал в известное многим артистам состояние полусмерти, которое зовется боязнью сцены. В самолете он с удивлением обнаружил, что к нему не приставили сопровождающего из Госконцерта. Только тогда он понял, что судьба дает ему шанс, не ухватиться за этот шанс было бы глупо.

В аэропорту его должен был встречать представитель посольства, несомненно, гэбэшник. Но вновь ему улыбнулась судьба: самолет приземлился рано. Он улизнул из переполненного зала прибытия и, выбравшись наружу, вцепился в первую попавшуюся женщину: “Отвезите меня в ближайший полицейский участок! Я буду просить политического убежища! I beg you, please, please![1]” Он беспомощно жестикулировал, рассчитывая на свое обаяние, которое имело на окружающих такой же эффект, как кипяток на кусок льда. Женщина спросила толь-

1. “Умоляю вас, пожалуйста, пожалуйста!” (*англ.*) (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ко одно: “Откуда вы?” В машине она сказала: “Из России? Вы, наверное, пианист”. Он испугался: “У меня это что, на лбу написано?” — “Нет, — ответила она, — на пальцах”.

Все произошло быстро, слишком быстро, так что у него не было возможности заколебаться или еще раз спокойно проанализировать ситуацию. Женщина решила, что лучше отвезти его на вокзал, и дала ему денег на билет до Рима. Опасаясь преследования, он всю дорогу прятался в туалете. В Риме он явился в главное полицейское управление. Лишь во время допроса, когда его спросили об “окончательном месте назначения”, он задумался, куда же, собственно, направляется. В какую страну? В какой город?

— В Амстердам, — ответил он.

На третьем курсе консерватории он участвовал в конкурсе Чайковского. После выступления к нему подошел человек, обстоятельно похваливший его исполнение “Кампанеллы”. Он работал на нидерландском радио. “Если тебе когда-нибудь понадобится помощь, — сказал он, — позвони по этому номеру в Амстердаме”. Он протянул свою визитную карточку. Звали его Хансом; это было все, что он запомнил: казавшееся немецким имя, Ханс, и фамилия, начинавшаяся на “к”.

С того вечера в Большом зале Московской консерватории он всегда держал эту визитку при себе, как талисман, в бумажнике, в заднем кармане, какие бы брюки ни надевал. Когда Ханс нервно, как будто заговорщически, протянул ему визитку, ему пришло в голову, что этот кусочек бумаги, не больше спичечного коробка, может когда-нибудь послужить ему билетом на Запад.

— Ваше контактное лицо?

— Ханс, — ответил он полицейскому и вынул карточку из бумажника. Дежурный бригадир переписал данные.

Не прошло и часа, как он уже сидел под замком, в келье старого аббатства недалеко от Рима, близко к Богу, но вдали от родных.

3

Он как раз начал чувствовать себя амстердамцем — купил велосипед, высокий, солидный, черный велосипед, выкурил первый косячок, на улице, у всех на виду, — когда его нидерландский импресарио стал настойчиво советовать ему принять участие в Международном конкурсе пианистов имени Вана Клиберна в Форт-Уорте. Это был лучший способ сделать себе имя в США. Победитель мог рассчитывать на концерт в Карнеги-холле, музыкальном святилище Нью-Йорка, а “who can make it there, can make it anywhere,”[1] пророкотал импресарио.

Конкурсы были для него добровольной пыткой. На конкурсах имени Чайковского, Маргерит Лонг и королевы Елизаветы он с легкостью выходил в финал, но в самом

1. “Кто достигнет успеха там, тот достигнет успеха где угодно” (*англ.*).

конце нервы мешали ему сыграть так, как он мог. Дело было и в его манере игры: он отвергал интерпретации, которые блистали, как зеркала, но отражали лишь пустоту; он не боялся риска, подчеркивал угловатые очертания вещи и, случалось, брал фальшивую ноту.

Конкурсант должен быть сделан из стали, а не из крови и плоти. Или должен осознавать, что на кону стоит его жизнь, как это было с Яковом Заком, его учителем. В 1937 году он, еврей, принимал участие в конкурсе Шопена в Варшаве. Зак мог не сомневаться в том, что, если "Правда" не поздравит его с победой на первой полосе, молодая жизнь его закончится в Сибири. Развязанная Сталиным антисемитская кампания в те годы приобрела неслыханные масштабы и щадила только тех, кто достиг выдающихся успехов в науке или искусстве. Каждую ночь по Москве колесили черные автомобили НКВД и забирали людей. Аресты не обошли ни одну улицу, ни один дом. Евреи перед сном выкладывали фланелевое белье и немного еды, на случай, если ночью придет их черед. "Хроматический этюд", исполненный Заком в состоянии транса, помог ему избежать собственных похорон.

Для Юрия ставки не были столь высоки. Конечно, на кону стояло его будущее, но эта перспектива была слишком смутной, чтобы зажать его в угол. На конкурсе Чайковского он занял третье место, на конкурсе королевы Елизаветы снова третье, на конкурсе Маргерит Лонг и Жака Тибо четвертое.

— А на "Ван Клиберне" будешь первым, — предсказал импресарио.

Сам Юрий не был в этом так уж уверен. В жюри входило три советских пианиста. США и СССР, конечно, соперничали во всем, но в музыке обе державы по очереди воздавали друг другу должное и исключали небольшие государства из борьбы. Когда Барток прибыл в Нью-Йорк, никто не протянул ему руку помощи — он был венгром. Барток скончался в 1945 году в больнице для бедных. Через два года в том же Нью-Йорке Шостаковича ждал триумфальный прием. Перед ним, самым известным советским композитором, композитором вражеской стороны, американцы готовы были склониться в поклоне.

В Форт-Уорте, в техасской глубинке, ситуация должна была развиваться так же: первый приз полагался советскому пианисту, а если нет, то американскому. Это была игра, в которой его импресарио разбирался слабо: как истинный нидерландец он верил в справедливое решение. Он не учел и того, какая клоунада разыгрывается вокруг музыкантов. Опять помешала разница в культуре и менталитете: выходца из маленькой страны легко впечатлить чем-то масштабным и мощным. В документах, присланных организаторами конкурса, сперва перечислялись приемы, устраиваемые спонсорами, и только в приложении — конкурсный репертуар.

Юрий едва не отменил поездку в Техас, в том числе из-за аргумента, которым импресарио надеялся его убедить. Ван Клиберн, который редко выступал на публике, но все еще считался величайшим американским пианистом, возглавлял жюри. "Он же супергомик, он в тебя сразу втрескается", — заверил его импресарио.

Подобные замечания — грубые, топорные — выводили Юру из себя. Если Ван Клиберн и должен был во что-нибудь "втрескаться", так это в его игру! В тот вечер, в общежитии у дяди Арика, когда его позвали к телефону, он пообещал себе, что проживет жизнь с достоинством. С достоинством в делах, мыслях и душе. И ни на секунду не опустится до вульгарного интриганства, не говоря уж о кокетстве.

Он ждал встречи с Ваном Клиберном, но по другой причине. Для советской молодежи Ван Клиберн был кумиром. В 1958 году он выиграл первый конкурс Чайковского. В финале он исполнил Третий концерт Рахманинова и Первый — Чайковского. Председатель жюри позвонил Хрущеву спросить, можно ли отдать победу американцу; тот, через год после запуска первого спутника, посчитал, что преимущество СССР было достаточным, и великодушно поинтересовался, заслуживает ли американец победы. Победы он заслуживал. "Ну так дайте ему приз!" За этим последовали триумфальные гастроли по Союзу, повсюду техасского пианиста заваливали охапками цветов. Дело было не только в его свободной, грандиозной, романтической манере игры, но и в том, что он был первым западным музыкантом, выступившим за "железным занавесом", и это рождало у публики надежду на политическое потепление. Харви Лейвэн ("ван") Клайберн стал символом еще робкой в те годы мечты о свободе. Даже когда в шестидесятые напряжение между Востоком и Западом вновь возросло, Ван Клиберн продолжал выступать в СССР, и его концерты вызывали такую бурю восторга, что он часто не мог уйти со сцены раньше полуночи. В Москве американца приветствовали восторженные толпы, на улице его в буквальном смысле носили на руках и осыпали подарками. Поклонники вырезали его фотографии из газет и журналов и вешали на стену. Он воплощал собой свободу, современность, Америку, причем, благодаря своей мальчишеской внешности, Америку Джеймса Дина и Элвиса Пресли. Вот этому Вану Клиберну Юрий хотел пожать руку в Форт-Уорте.

Дополнительной приманкой для него служила и обязательная программа. Из обязательного репертуара он мог выбрать Хроматическую фантазию и фугу BWV 903 Баха, Фантазию до минор KV 475 Моцарта или Фантазию до мажор Шумана — вещи, которые он выучил в Москве, которые ему подходили и которые он мог сыграть посреди ночи, когда роящиеся в голове химеры мешали ему заснуть и он пытался успокоиться за роялем. Это были произведения, которые он понимал, а он перехо-

дил к исполнению только тогда, когда каждая нота казалась ему абсолютно логичной. Так как он играл только те вещи, в суть которых проник, его репертуар еще не был особенно широким: эта обязательная программа казалась ему подарком судьбы.

Он решил ехать.

Перелет был ужасным: он прибыл в лондонский Хитроу, хотя его техасский рейс вылетал из Гатвика (ошибка импресарио), аэропорт он покинуть не мог из-за отсутствия британской визы, пришлось умолять пограничников дать ему пропуск, в конце концов, с нужной бумажкой в кармане, он сел в такси и поехал в Гатвик, где из-за задержки опоздал на самолет. Следующего рейса пришлось ждать четыре часа, и, когда он наконец прибыл в Форт-Уорт, оказалось, что багаж его потерялся.

В чужом смокинге он побывал на вечеринке, где пожал руку Вану Клиберну, в наспех купленной футболке дал три интервью тележурналистам, которых интересовала только причина его побега из СССР. Футболка была ему мала, он чувствовал себя не в своей тарелке и, может быть, поэтому на вопрос корреспондента телекомпании "Эй-би-си": "Что вы думаете о вводе советских войск в Афганистан?" — он беспомощно ответил: "Bad, — что было еще ничего, но потом добавил: — Isn't it?[1]". Он терпеть не мог журналистов и спрашивал себя, не оказалась ли свобода всего лишь игрой в кошки-мышки, в которой он обязан был покорно участвовать: говорить то, что от него хотят услышать. Когда другой журналист задал ему тот же вопрос ("Ваше мнение о вторжении в Афганистан?"), он нашелся: "Это в большой терции или в малой?"

Он остановился не в отеле, а в гостях у одной семьи, спонсировавшей конкурс, семьи Смит. В этом заключалась еще одна причина, по которой он не хотел участвовать в конкурсе Вана Клиберна: он понемногу стал чувствовать себя слишком взрослым, чтобы жить в гостях у семьи, как ребенок. Смит был не только чрезвычайно богат (ему принадлежало десять процентов акций нефтяной компании "Тексас ойл"), он и вел себя соответствующе. На улице было сорок градусов по Цельсию, а мистер Смит включал кондиционер на такую мощность, что в доме было пятнадцать градусов и впору было затопить открытый камин: "Ты ведь русский? Значит, ты любишь слушать, как в камине потрескивают дрова". В саду бассейн олимпийского размера был разделен пополам стеклянной перегородкой: в одной половине можно было плавать, а во второй резвились акулы, призванные создать иллюзию тропического моря. Юрий наивно спросил миссис Смит: "Вот это и называют декадентством?"

Он прошел предварительные туры и готовился к полуфинальному выступлению, на этот раз в собственном смо-

1. "Это плохо... Не правда ли?" (*англ.*)

кинге (чемодан, наконец, нашелся). Даже привычная длина рукавов успокаивала его. И тут произошло событие, которому, понял он сразу, суждено было преследовать его всю оставшуюся жизнь.

В полуфинале ему достался четвертый порядковый номер. После выступлений первых трех кандидатов был объявлен небольшой перерыв. Он ждал за кулисами. Там же находились члены жюри, среди которых был советский пианист Андрей Петров — старый лис в помятом сером костюме. Прозвучал гонг. Когда Юрий собрался сделать шаг на сцену, Петров прошипел ему в ухо: "Знаешь, что Яков Зак умер? Паралич сердца. Все твоя вина, твоя".

Намек на то, что его побег на Запад стал причиной смерти его учителя, обрушился на него чудовищным ударом. Он вышел на сцену, будто в тумане.

Он играл не для публики, не для жюри, он весь, полностью отдался игре, как будто Яков Зак вновь сидел рядом, и он вновь слышал голос учителя: "Ну же, отдай всего себя, пропади они все пропадом, главное — музыка!" Это был его всегдашний совет: "Юрочка, не обращай внимания на ошибки, главное — музыка!"

Жюри единодушно не пустило его в финал. Председатель был не исключением: он не решился выделить сбежавшего из Союза пианиста. Ван Клиберн поверил в свою миссию и по-прежнему видел себя в качестве узкого мостика между Востоком и Западом. Этой позиции ничто не могло угрожать. Он желал умереть апостолом мира и не пропускал ни одного приема в советском посольстве. Политические мотивы он ставил выше музыки; по сути, из художника он превратился в дипломата, в пешку в запутанных отношениях между Востоком и Западом.

Публика возмутилась. Супруги Смит прямо в зале собрали для Юрия деньги, десять тысяч долларов — сумму, которую вручают победителю конкурса. Нью-йоркский импресарио Максим Гершунофф предложил организовать для него серию концертов в США, начиная с Зала Элис Тулли в нью-йоркском Линкольн-центре, затем, через четыре месяца — в Чикаго и в конце года в качестве кульминации — в Карнеги-холле.

Его же ничто не интересовало. День за днем в голове у него гудело только: "Зак... Зак... Зак... я убил Якова Зака".

Он полетел в Нью-Йорк, сыграл в Зале Элис Тулли. Бурные овации, многочисленные крики "браво". Рецензенты были единодушны в своем восхищении. "Самый потрясающий фортепианный концерт, на котором мне доводилось бывать" (Билл Зэкариасен, "Дэйли ньюс"). "Замечательное выступление от начала и до конца" (Джон Рокуэлл, "Нью-Йорк таймс"). "Один из самых волнующих концертов на моей памяти" (Спейт Дженкинс, "Нью-Йорк пост"). "Самый выдающийся и поэтичный молодой пианист из всех, кого я слышал" (Эндрю Портер, "Нью-Йоркер").

Он свалил газетные вырезки в кучу и поднес к ней горящую зажигалку.

Зак. Он убил Зака.

Очередная вечеринка с многочисленными "важными шишками", очередное празднование с горами черной икры и бесконечным потоком шампанского. Гершунофф вился вокруг него: "Какой успех, какой успех... ты теперь мой сын, мой любимец, новый Горовиц, я организую тебе концерты в every goddamned city of the United States[1]". Опять куча приглашений, в том числе и лично от Владимира Горовица, написанное от руки. Но он отклонял все приглашения, и это тоже.

Он скучал по своему дому на Брауэрсграхт. Ему не терпелось как можно скорее вернуться в Амстердам.

1. ...каждом несчастном американском городе (*англ.*).

Олаф Кунс
Не-Швейцария

Из книги “Кавказские канатоходцы. Путешествие по запущенному саду России”

Перевод Евгении Ярмыш

От каждого только и слышишь: “Береги себя! Будь осторожен!” Так и сам в конце концов занервничаешь. Одно слово “Чечня” наводит страх на многих моих друзей и коллег. Я покупаю билеты в канун Нового года и сообщаю об этом Анне, своей девушке, за день до отъезда. Я переживаю не просто так: эту республику в составе России, которую некогда сровняли с землей, сейчас восстанавливают полным ходом, и, тем не менее, там до сих пор пропадают правозащитники и среди бела дня убивают несогласных журналистов. Сам по себе регион по-прежнему остается полем битвы нелегальных вооруженных формирований и разрозненных дивизий секретных служб.

Анна угрожает, что больше не будет со мной разговаривать. “У нас даже нет детей”, — говорит она. Серьезный повод для русской женщины не пускать мужа в Чечню. Маме я сообщаю, что уезжаю на пару дней в отпуск в Турцию — давно проверенная, надежная отговорка. За месяц вперед оплачиваю страховку. К счастью, я еду не один. Компанию мне составляют журналист Арнольд ван Брюгген и фотограф Роб Хорнстра, и у всех у нас впереди шесть дней в автономной республике. Роб и Арнольд работают над “The Sochi Project” — замечательной интернет-страничкой, финансируемой самими читателями. Роб и Арнольд печатают книги, организуют выставки и делают все, чтобы в преддверии Олимпийских игр дать как можно более полное представление обо всем Кавказском регионе. Чечня для нас — белое пятно, а трудности, пережитые сообща, легче наполовину. Мы летим в Северную Осетию, во Владикавказ, — билеты на прямые рейсы в чеченскую столицу, Грозный, можно купить лишь в затерянном московском офисе.

— Это что, аэропорт? — спрашивает Арнольд. Из окошка старого “Туполева” виднеются крохотное здание и прямая линия бетонных плит. Прежде чем я успеваю ответить, самолет проваливается во что-то наподобие воздушной ямы, и мы камнем падаем вниз. И вот мы на земле, до крохотного здания рукой подать. Подъезжает разваливаю-

© 2012 Olaf Koens
© Евгения Ярмыш. Перевод, 2013

щийся автобус, чтобы забрать пассажиров и проехать расстояние в несколько метров. Путь из Владикавказа в Грозный усеян полицейскими постами, поэтому нам важно найти "адекватного" таксиста. К тому времени как Робу все-таки удается вызволить у пограничников фотоаппарат, штатив и линзы, аэропорт уже практически пуст. Лишь водитель автобуса еще здесь: следующий рейс только через пять часов, и водитель коротает время за разгадыванием кроссвордов у себя в будке. Выбор такси не велик, только Мурад стоит снаружи и ждет нас. "Сто баксов, и через три часа вы на месте!" Цена нас устраивает, и мы усаживаемся в Мурадову развалюху — "ладу". "Да, с такими длинными ногами, как у вас, будет туговато, — говорит он. — Ничего, скоро пересядете в классный 'мерседес'!"

Где Мурад собирается обзавестись этим "мерседесом", мы решили не спрашивать.

И вот перед нами Кавказ во всей красе. Каждый километр между постами не похож на другой — Владикавказ лежит среди полей, а в нескольких километрах от города зеленые поля сменяются красноватой пустыней. Вдали поднимаются горы. Вдруг Мурад останавливает машину на обочине, выключает мотор и закуривает сигарету. "Понимаете, — говорит он нам, — я ничего не имею против чеченцев, но ингушей на дух не выношу. Мерзкий народец. Все, кроме вон того парня". Из другой машины к нам подбегает человек, который должен доставить нас к чеченской границе. Смена машин на Кавказе работает безукоризненно: таксистам не нужно ехать на дальние расстояния, а главное, они не имеют дела с незнакомыми стражами правопорядка, которых приходится подкупать. Деньги отдаешь первому или последнему таксисту. "Если хочешь, можешь так и из Сочи в Махачкалу доехать! — смеется Мурад. — Удачи в Грозном!"

Второй таксист более молчаливый, но ясно, что он как-то связан с журналистами. "Вы — настоящие партизаны. Храбрые ребята! Только в последнее время здесь особо не на что смотреть. У нас сейчас спокойнее. Или еще опаснее. Одному Аллаху известно". Он тоже резко съезжает с дороги, а по полосе безопасности к нам и впрямь подъезжает "мерседес". Нашего последнего водителя в этой цепи машин зовут Умар. Дороги отличные, "мерседес" проносится мимо городов и деревень, о которых я знаю лишь из военных сводок. "Очень хорошая машина, — с гордостью говорит Умар. — Смотри, как скорость набирает!" Несколько секунд спустя мы уже мчимся на скорости 170 километров в час по Чечне. Вечереет. На приборной панели высвечивается надпись "Bitte Anschnallen" ("Пожалуйста, пристегните ремни").

"Вы, конечно же, католики? — спрашивает Умар. Я не отвечаю и смотрю в окно на брошенные посты и разнесенные взрывами заводы. — Значит, католик, — заключает Умар. — Я ничего. У каждого своя вера. Но чтобы без веры? Это нельзя! Оттого и рухнул Советский Союз, потому что

это была страна безбожников. Нельзя же верить в партию! И хорошо, что Аллах сделал так, что проклятый Союз развалился. Знаешь, почему наши 'лады' такие плохие? 'Мерседесы', как бы там ни было, собирают немецкие протестанты, которые боятся Бога. Не моего Бога, но все-таки". <... >

Большие, пустые и печальные дома

"Здесь тоже снег сошел", — вздыхает водитель такси, которое мы остановили с утра в Грозном. Мы едем в Урус-Мартан — эпицентр исламистского сопротивления. В здешних лесах скрываются десятки, если не сотни, радикальных исламистов. "Раньше можно было хотя бы положиться на смену времен года. Но теперь на Кавказе и с ними творится что-то непонятное", — рассказывает, вздыхая, водитель. Он не спрашивает, зачем мы едем в Урус-Мартан. Жители Гойти, деревушки, расположенной перед Урус-Мартаном и за блокпостом, которого здесь боятся как огня, вечно беспокоятся из-за погоды. В январе здесь всегда лежит снег, сейчас же лишь чуть-чуть моросит. Грозный отстраивается с нуля, в Гойти же, по указу правительства, лишь изменены названия улиц. До сих пор никому не удается сразу найти адрес.

В ходе чеченских кампаний сопротивление было очень велико. В конфликте участвовали в том числе исламистские лидеры из Саудовской Аравии. В деньгах, связях и возможностях недостатка не было. Теперь же, как считают аналитики, здесь осталось лишь несколько сот мусульманских повстанцев, к тому же плохо организованных. Они раздроблены на мелкие группировки, каждая из которых имеет своего предводителя и по-своему перетолковывает радикальный ислам. Одни борются за Кавказский эмират с самоуправлением от Москвы до Махачкалы, другие же — только за собственный регион. Большинство террористов хочет лишь мести. Эта группа наиболее активна. Достоверных цифр нет, и все же не проходит и недели, чтобы здесь не взорвали блокпост. На YouTube можно найти видеозаписи, на которых длиннобородые мужчины попивают чай и, грозя кулачищами, клянутся отомстить. Они живут в палатках посреди сумрачных лесов, шлют друзьям эсэмэски и иногда с гордостью снимают на камеру, как они заваривают чай или ловят форелей. Немного воображения, и все это превращается в подобие бойскаутского лагеря.

Урус-Мартан строго контролируют ФСБ и российские войска. С нами почти никто не желает говорить, потому что здесь до сих пор арестовывают, пытают и убивают. И не важно, виновен человек или нет. Жители Гойти не узнают собственную деревню. Из-за постоянного переименования улиц невозможно отыскать нужный адрес. Мы просто наматываем круги. Через полчаса мы наугад стучимся в деревянные ворота. Это восьмой дом на безымянной улице, а мы знаем, что нам нужен номер восемь. Соседи говорят,

здесь и до нас бывали журналисты. Через несколько минут показывается пожилая женщина в туфельках. "Вы — Роза Бетаева? — спрашиваю. — Я хотел бы поговорить с вами о ваших пропавших сыновьях". Женщина, плача, открывает ворота. Мы должны снять обувь, и нам разрешают погреться у чугунной печки. "Простите, — говорит женщина. — Меня зовут не Роза, и в этой деревне я не знаю ни одного Бетаева. Но я впустила вас, потому что у меня тоже пропал сын".

По всему Кавказу, за сотнями тысяч ворот, у сотен тысяч чугунных печей вы услышите одно и то же. Молодых мужчин под прикрытием борьбы с терроризмом арестовывают, не называя причин, и на долгие годы отправляют в тюрьму по сфабрикованным обвинениям. "Мой сын исчез, день за днем не появлялся дома. Полтора года я почти не спала, когда вдруг от него пришло письмо. Сын сидит в тюрьме в Сибири. Я девять дней провела в поезде, чтобы передать ему кусок хлеба. Выживет он или нет, одному Аллаху известно! Я так скучаю без своего мальчика! — Все еще плача, женщина берет себя в руки: — Я тебя пугать не хочу, — говорит она, — но ты — третий журналист в моем доме. Двумя другими были Анна Политковская и после нее Наталья Эстемирова. Их обеих убили, так что знай, во что лезешь".

Тут и там в Гойти меж деревянных домиков стоят отремонтированные дома. Найти семью Бетаевых оказывается легким делом. Их дом, в сравнении с деревянными лачугами остальных, кажется дворцом. Чеченцы, выигравшие дела в Страсбургском суде по правам человека, получают денежные компенсации на банковский счет в Голландии, и большинство из них на эти средства ремонтирует свои жилища. Нам открывает Иса Бетаев. "Раньше, чтобы попасть домой, мне приходилось прыгать через этот ручеек. А теперь я перебросил через него большой мост. — Лицо Бетаева расплывается в улыбке. — Проходите, жены нет, так что весь дом наш". Дом огромный, с множеством комнат, теплым полом и мебелью, от которой еще пахнет новизной. И лишь кровати пропавших сыновей до сих пор те же. В ночь с 23 на 24 апреля 2003 года в дом вломилось человек двадцать в масках. Держа Бетаевых под прицелом автоматов, они перерыли весь дом в поисках оружия и радиоаппаратуры. Согласно документам Страсбургского суда, у мужчин "были светлые волосы, голубые глаза, прямой нос. Говорили они по-русски, без акцента". Бетаев в одном исподнем сидел на кровати лицом к стене. Когда солдаты собрались поднять половицы, до командира вдруг дошло, что стоит им начать выбивать пол, как весь дом обвалится прямо на них. Несколько минут спустя солдаты ушли. Когда шум бронированной машины стих, Иса понял, что двоих его сыновей похитили.

"Мы ни о чем таком даже и не думали. Во время второй чеченской войны ничего особенно страшного не было, — рассказывает Бетаев. — Я работал техником на коммунальном предприятии в Грозном. Мы

были не богачи, но и не то чтобы совсем уж плохо жили. Леча работал дома, делал мебель, Ибрагим учительствовал в школе неподалеку. Мы никого не трогали. Мои дети не сбились с пути, хоть мы все очень хорошо знали, что происходит. — Я осторожно спрашиваю, что именно. — Что?! — старик в удивлении смотрит на меня. — Да война! В Гойти жило намного больше людей, это сейчас он деревней стал. Все знали что к чему. Москва хотела подавить сопротивление и применяла самые зверские методы. Повсюду исчезали молодые парни. Одни ушли партизанить в леса, а других, как моих ребят, забрали среди ночи. Арестованы без причины. Непонятно, за кем они приходят, они ничего не говорят, ничего не объясняют. Они выбивают дверь и уводят твоих сыновей. А дальше тишина".

Дальше тоже была тишина. "Я тут же отправился к прокурору Урус-Мартана. Я все сделал: написал все жалобы, обратился ко всем властям. Что мог, то и делал. И до сих пор — ничего. Никто в правительстве не знает, где мои сыновья, все молчат". До тех пор пока Бетаев при помощи адвоката не передал дело о пропавших сыновьях в Страсбургский суд. Из Москвы пришел ответ: "Правительство не согласно с обвинениями и указывает на то, что в ходе расследования не выявлено фактов, подтверждающих, что истцы подвергались негуманному или унизительному обращению". Роза и Иса Бетаевы получили семьдесят тысяч евро — сумму, не подлежащую налогообложению и оплате юридических издержек. В доме висит китайская картина, изображающая водопад. "Как бы ни был велик дом, без детей в нем пустота и горе", — вздыхает Иса.

Вскоре мы сидим в Урус-Мартане за кухонным столом Молди и Зуры Ненкаевых и их шести сыновей — Исы, Мусы, Руслана, Апти, Сулима и Ислама. Молди, отца, увезли на операцию в Красноярск, Зура, мать, переживает. Она просит сыновей разлить чай, а сама ставит на стол мокрую пепельницу. Сыновья не смеют курить в присутствии матери. О Муслиме, седьмом сыне Ненкаевых, до сих пор ничего не известно. Его арестовали летом 2002 года вместе с братом Исой. "Муслим хотел найти где-нибудь работу, но его никуда не брали, понимаешь? Он остался жить с нами и тоже делал мебель. Я упрашивалаИсу, чтобы он взял Муслима к себе. Он работал в ОМОНе, там было хорошо, и ему хорошо платили", — рассказывает Зура. Она нервно теребит волосы и сдвигает хвостик одной из внучек, с каждым разом правее.

Затем сам Иса с трудом продолжает рассказ. "Да, я работал в ОМОНе, — говорит он. — Работал шофером, водил 'урал'. Как-то раз я сказал командиру, что мой брат ищет работу, но даже не думал, что нас арестуют вместе". В дом Ненкаевых тоже посреди ночи ввалились вооруженные люди.Ису и Муслима под дулом автоматов доставили в центр города. Обоих братьев держали на втором этаже конторы ФСБ. "Мы долго разговаривали, — рассказывает Иса, — часов до семи утра. Потом нам

пленкой заклеили глаза и рты, и в какой-то миг я перестал слышать брата. — На следующий день кто-то сорвал пленку с глаз Исы. — Мне завязали глаза и втолкнули в машину. Мы выехали за город, минут пятнадцать ехали по проселочной дороге. Потом машина остановилась, и меня повалили наземь лицом в грязь. Я услышал, как щелкнул калашников, но никто не выстрелил. Машина уехала, через десять минут я снял повязку с глаз. Стояла ночь, рядом со мной лежал тот самый калашников без патронов. Тогда я взял и пришел домой".

"Не грызи сахар, зубы испортишь! — вдруг кричит Зура. — Надо ли говорить, что после этого мы каждый день ходили в военный штаб? — рассказывает она. — Они над нами просто издевались. Только и говорили: 'Приходите завтра'. Но никто не осмеливается сказать хоть что-то. Никто не знает, где Муслим и как он живет. Денег, вот чего они хотят. Они все хотят то денег, то оружия. А узнать что-нибудь от них нельзя".

В мае 2009 года суд постановил выплатить родителям двадцать тысяч евро компенсации. На счет Исы перевели десять тысяч, остальные братья получили за счет Страсбурга по семьсот пятьдесят евро. На эти деньги отремонтирован дом, а отец проходит лечение. Иса купил машину, и на ней везет нас в офис адвоката, который помогает вести дела. Для Исы это трудная дорога. "Я все помню, словно это вчера было, — рассказывает он. — Вон там, слева, была милиция. Сейчас там интернет-кафе. Справа, там, где сейчас здание администрации, нас держали. Я иногда останавливаюсь там. Просто так, послушать. Мне до сих пор кажется, что я слышу голос брата".

Муса Куркиев повесил в своем крошечном офисе громадный флаг Объединенной Европы. В офисе беспорядок, и Куркиев постоянно извиняется. "Мы затеяли перестройку здания, а это всегда долго. Лучше не снимайте здесь, — просит он. Роб настаивает, и Куркиев смущенно улыбается. — После смерти Натальи мы стали осторожнее. Я не хотел бы, чтобы на фото что-нибудь было, понимаете?" Роб нехотя прячет камеру. Куркиев возглавляет правозащитную организацию "Мемориал" в другом регионе Чечни. Его соратницу Наталью Эстемирову, одну из самых заметных членов организации, летом 2009 года подкараулили, затолкали в машину, а несколько часов спустя ее труп обнаружили посреди поля в нескольких километрах от чеченской границы. Кто за этим стоит, догадаться несложно. Олег Орлов, председатель "Мемориала", в тот же день назвал его имя. "Я точно знаю, кто убил Наталью Эстемирову. Мы его все знаем. Его зовут Рамзан Кадыров". Сам же Кадыров утверждает, что активистку-правозащитницу убили нарочно, чтобы выставить в черном свете его режим. Он подал на "Мемориал" в суд.

И все равно Куркиев продолжает работать. "Конечно же, нам мешают. Им хочется, чтобы дела так и заглохли здесь. Но у нас много работы, много дел. — Для многих Куркиев — последняя надежда. — Я

всего лишь адвокат", — обезоруживающе улыбается он. Дважды в месяц он принимает посетителей, и дверь его офиса трещит под напором жертв по-прежнему тлеющего российско-чеченского конфликта. "Все случилось слишком быстро, — поясняет Куркиев. — Обращений в Европейский суд по правам человека нет, к этому Россия оказалась не готова. Можно подписывать сотни договоров, но, до тех пор пока сама Россия не станет более демократичной и прозрачной, особого смысла в этом нет. Сейчас же все это хорошая мина при плохой игре. На Северном Кавказе — так точно. Россия, будь ее воля, давно уже с удовольствием разорвала бы все эти договоры. Решения суда стоят стране кучу денег, и каждое из них оборачивается позором. Президент Медведев вечно кивает на эти инстанции, говоря об опасности, грозящей суверенитету страны, и о правовом государстве. Но граждане имеют право добиваться справедливости, и этого права у них никто не отберет. — Куркиев поясняет, что, с юридической точки зрения, в России почти нет проблем. — У нас прекрасный свод законов, который гарантирует нам самые разные фундаментальные права. Но слова — это всего лишь слова. А на самом деле все куда сложнее. Стоит только кому-нибудь указать на тебя пальцем, как тебя тут же обвинят, арестуют, и от тебя следа не останется".

Я расспрашиваю Куркиева о начале войны. "Первая война? Да не о чем здесь говорить. Тогда Чечню разбомбили, камня на камне не оставили, а российские войска танками давили население. Когда эта кампания окончилась, настала тишина. Тишина и террор. Невиновных по ночам вытаскивали из постели, и они исчезали. — Муса вздыхает. — Как адвокат я бессилен. Поначалу они еще соблюдали принципы paper trail[1], правозащитным организациям все-таки сообщали о состоянии этих ребят. Родственники могли навещать их в тюрьме. А потом исчезла даже видимость, и никто знать не знал, что с ними. Даже адвокатам не разрешалось читать документы, на все законы просто наплевали. И до сих пор так. И сейчас ни в чем не повинных молодых парней забирают просто так, ничего не объясняя. Но в последнее время мне кажется, что они все-таки меньше пропадают. Их забирают, сажают в машины и отправляют в сибирские тюрьмы, откуда они выходят через несколько лет".

Все налаживается очень медленно, подытоживает Куркиев. "С каждым годом убивают все меньше и все меньше людей исчезает. Но структура власти остается прежней, здесь не меняется ничего. Те же люди носят ту же форму, и все до сих пор боятся их как огня. — Но, считает адвокат, все может быть иначе. — Дос-

1. Paper Trail (букв.: бумажный след) — принцип юридической и медицинской практики, по которому любые свидетельства, показания и т. п. непременно документируются и являются доступными для вовлеченных лиц. (*Прим. перев.*)

таточно лишь отдать приказ. Арестовать нескольких коррумпированных правительственных чиновников. Но все так и сидят на своих местах, и с каждым годом у них все больше денег. Измените это, и все здесь очень быстро восстановится. Но ключ не у нас на Кавказе. Он – в Москве".

Злые духи

Грозненский Исламский медицинский центр – уникальный в своем роде. Это единственное место в мире, где изгнание дьявола не только разрешено правительством, но даже им финансируется. У массивных ворот кирпичного здания, расположенного недалеко от центра города, ожидают десятки людей. Рядом, в маленьком ларьке, бородатый мужчина торгует святой водой, четками и изданиями Корана разной толщины.

"Проходите на третий этаж", – командует охранник, подвергая наши голландские журналистские удостоверения тщательному осмотру. У двери всем нужно разуться. Снаружи, даже сквозь толстые стены, слышны стоны. На всех этажах толпится народ. Одни нервно меряют шагами помещение, другие лежат на полу. Они вопят, плачут и дико брыкаются, но озабоченные родственники крепко удерживают их на ворсистых коврах. Человечек в зеленых одеждах пожимает нам руки и провожает в палату. В палате лежит женщина с маленькими ступнями, в носочках с веселенькой расцветкой и под одеялом, натянутым на лицо. Секунду мне кажется, что она мертва, но в изголовье, у каждого уха женщины, стоит по огромному микрофону. Голос визгливо, в шальном темпе, начитывает суры Корана. Арабский язык перемежается стонами, напоминающими картечь. Человечек в зеленых одеждах повторяет суры и кричит их в уши другой девушке, лежащей на чем-то вроде дивана. Судя по доносящимся звукам, эту же процедуру проводят по всему зданию. Нам выдают по табуретке и оставляют наедине с двумя девушками. Лишь через некоторое время я замечаю женщину постарше: она сидит на диванчике рядом с девушкой и приветливо мне улыбается.

"Это достаточно узкая специализация, – поясняет Марбек Юсунов, главный врач-имам в зеленых одеждах. – Мы декламируем суры Корана, но наши возможности весьма ограниченны. Мы всего лишь лечим немного нетрадиционными методами, но вылечить, к примеру, головную боль, болезни сердца или эпилепсию мы можем. – Мы с трудом разбираем слова врача, и он чуть приглушает визгливый голос на пленке. – В обычных больницах они что лечат, что не лечат, а мы здесь и вправду помогаем людям", – говорит Юсунов. Девушка на столе из Дагестана. "У нее джинн, злой дух. Что эти джинны порой творят с людьми – и рассказать страшно. Они причиняют людям боль, всячески вредят им и даже потихоньку подзуживают их выброситься из окна. Поэтому здесь все заперто наглухо. – Молодая девушка-дагестанка ссорится с мужем, и теперь ее

здесь лечат. — Упрямый джинн. Мы уже долго с ним беседуем, объясняем ему, что он ведет себя неправильно и почему он должен уйти".

Джинны — они как люди, считает Юсунов. "Ко мне до этого приходила женщина, так у нее джинн очень довольный жизнью. У него просторная квартира в Москве, две комнаты, не меньше. Так он там сидел месяцы напролет и не хотел уходить". Мягким голосом, приветливым лицом и ярко-зеленой одеждой Юсунов напоминает хирурга из голландской клиники. "Я изучал здесь исламскую медицину, — рассказывает Юсунов. — Мы используем, в основном, старинные методы лечения, кое-где применяя современную технику". Суры Корана записываются на флешку в формате mp3 и запускаются в режиме повтора через Winamp-проигрыватель.

Когда Юсунов выбегает из комнаты по какому-то срочному врачебному делу, из другого угла комнаты к нам выходит женщина. "Я никогда не верила в подобную ерунду, — говорит она. — У меня университетское образование и сын в Москве. Но однажды в нашей семье начало твориться что-то странное. Один из родных попросту сошел с ума. Он вдруг стал говорить по-русски со странным акцентом, как если бы он был с Украины. А ведь он там ни разу не бывал! Мы обратились к имаму Юсунову, и он нам в прошлый раз так помог! Он очень хорошо говорит, и вообще он очень добрый человек. — Женщина с удовольствием оглядывает сцену, которая, даже спустя четверть часа, вызывает у меня страх. Звуки снова раздаются на полную мощь. Одеяло, наброшенное на голову девушки, поднимается и опускается вместе с ее дыханием. "Тебе же можно задавать ему вопросы? — спрашивает меня женщина. Я киваю. — Спроси его, почему сейчас развелось так много злых джиннов! Откуда они берутся?" Я обещаю женщине спросить об этом. Когда Юсунов возвращается, на экране его компьютера включилась защита. Калейдоскопические линии на экране истерически скачут в такт стонам.

"Ну, мы этого духа все равно вытащим, — говорит Юсунов. — Он начинает говорить громче: — Руслан! Ты должен выйти! Выходи, наконец! Руслан! Или ты остаешься? Руслан, или как там тебя? Слушай меня! Я хочу, чтобы ты меня слушал! — Девушка под одеялом начинает сильно брыкаться, и уже не может удерживать ноги. — Вот ты где сидишь? В ногах? Слушай меня! — Юсунов кричит все громче: — Где ты? Я хочу, чтобы ты заговорил со мной! Говори со мной! — Девушка бросается из стороны в сторону. — Ты уже долго там сидишь. Слишком долго! Это я тебе говорю! Выходи!"

Вдруг Руслан отвечает тяжелым голосом, прорывающимся сквозь усталое дыхание девушки.

— Нет! Нет! — говорит Руслан.

— Как это нет? — кричит имам. — Ты должен выйти! Сейчас же выходи!

— Я остаюсь! — вопит девушка мужским голосом.

— Если не выйдешь сейчас же, ты об этом пожалеешь! Смотри-ка! Смотри! За тобой даже иностранные журналисты пришли. Плохи твои дела, понял, джинн? Плохи! Тебя сфотографируют, и твое фото появится во всех газетах мира!

Между тем нас с Арнольдом начинает понемногу тошнить. Роб продолжает щелкать камерой. "Выходи! Сейчас же!" У девушки больше нет сил, но имам продолжает кричать. Но когда у него вдруг звонит телефон, сеанс внезапно обрывается. Дух по-прежнему сидит в девушке, когда та медленно начинает приходить в себя. "Он так больно давит мне на грудь, — с трудом говорит она. — Он во мне уже много лет".

Юсунов утешает ее. "Не волнуйся, мы его достанем. — Он снова придвигает микрофоны к ушам девушки и ставит суры. — Его муж наслал, — рассказывает он нам. — Он хочет, чтобы она отдала ему все свои деньги, и этот дух будет сидеть в ней до тех пор, пока она не покончит с собой. Иногда у нее отнимаются ноги, иногда болит голова. Бедная девочка. Она уже во всех больницах побывала, но обычные врачи раз за разом признают ее здоровой. Пока этот джинн не оставит ее в покое, дела ее плохи".

Продолжительность и частота сеансов зависят от болезни. Лечение в центре бесплатное, врачи получают хорошую зарплату из фонда Ахмеда Кадырова, на счет которого поступают миллиарды из России. На эти же деньги нанимают футбольных тренеров, строят дороги, мечети и покупают скаковых лошадей. Женщина на диване смотрит на меня с надеждой. Я спрашиваю Юсунова, откуда в наше время берется столько злых духов. "Да они всегда были! — смеется Юсунов. — И у вас они есть, только вы их по-другому называете: депрессия или шизофрения. Лекарствами тут не поможешь, надо примириться с самим собой. Стоит джинну покинуть тебя, и болезнь тут же пройдет. Если лечение оказывается успешным, высвобожденных духов отправляют в Мекку. По крайней мере, если это мусульманин, — поясняет Юсунов. — К нам все чаще приходят чеченцы, жившие в Бельгии или Нидерландах, и тогда мы имеем дело с духом, который говорит по-французски. Бедняги ни слова не могут сказать по-французски, а тут выходит дух, который совсем не понимает по-чеченски. И мы отправляем их прямиком обратно к вам на родину".

"Р*ююд*, Р*ууд*. К*ак тебя зовут?*"

Пару недель спустя я приезжаю в Амстердам за новой российской визой — уже столько времени прошло, а эту штуку приходится запрашивать каждый раз заново. В Москве еще лежат метровые сугробы, а в Амстердаме уже началась весна. Я с удивлением смотрю на красивых светловолосых женщин, храбро гарцующих по улицам на велосипедах. Иногда я спрашиваю себя, какая нелегкая понесла меня в Россию. Вечером мне нужно в Ам-

стердам-Оост. Таксист-турок начинает фокусничать со счетчиком, и я разражаюсь ругательством на русском языке. "Ты откуда?" — спрашивает таксист на ломаном английском. "*Чечня*", — отвечаю я. Таксист рассыпается в извинениях, и с меня причитается лишь семь с половиной евро.

Я сижу с друзьями за столом на кухне, и тут мне приходит эсэмэска от Арнольда. В ней написано: ГУЛЛИТ ТРЕНЕР "ТЕРЕКА"! Я понимаю, что живу в России. Поэтому я тут же звоню Алви Каримову, и тот, к моему удивлению, подтверждает: так и есть. Пишу материал для газеты и звоню на Радио 1. В последних минутах выпуска BNN я рассказываю о Чечне и объясняю, почему Гуллит сошел с ума. Я говорю, что Гуллиту несдобровать, если он не выполнит свое обещание: сделать из грозненского любительского клуба футбольную команду европейского уровня. Не оправдать ожиданий чеченского диктатора — значит подписать себе смертный приговор. Не так давно Кадыров обезглавил своих противников, после чего их тела спрятали, а головы насадили на кол и поставили в саду жертвы как предупреждение.

Когда после долгих переговоров, отказов и тренировок с командой в Турции Гуллит все-таки приезжает в Грозный, я снова еду в город вместе с Арнаутом Брауэрсом, коллегой из "Volkskrant". Рядом с билбордами, на которых висят портреты президента Дмитрия Медведева и премьера Владимира Путина, по случаю вывесили огромные плакаты с разными фотографиями Гуллита. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГРОЗНЫЙ, РЮЮД! — выведено на них громадными буквами.

Во время пресс-конференции, которая проходит в усиленно охраняемой администрации президента Чечни, на наших глазах разворачивается сюрреалистический спектакль. Футболист, в свое время передавший свой кубок Нельсону Манделе, как ни в чем не бывало, сидит рядом с Рамзаном Кадыровым.

— Рююд, Рууд. Как тебя зовут? — спрашивает он.

— Рююд, — отвечает Гуллит, с многозначительной улыбкой на лице.

— Вот и хорошо, значит, я тебя правильно назвал, — смеется Кадыров.

Еще раньше пресс-секретарь поинтересовался, есть ли в зале голландские журналисты. Он откашливается. "Господин Гуллит не будет говорить на отвлеченные темы, но ответит только на вопросы, касающиеся футбола и клуба. Всем ясно?" На Кадырове нечто вроде хламиды, Гуллит же одет в аккуратный костюм. Он поясняет, что к нему обратился президент клуба и предложил стать тренером грозненского "Терека". "Президент клуба — это, конечно же, сам президент, — рассказывает Гуллит. — За прошедшие две недели я познакомился с командой. Они хорошие ребята и готовы к серьезным тренировкам".

Планка, поставленная Кадыровым, высока: "Я желаю, чтобы Гуллит выжал из команды все, что можно и, конечно же, чтобы команда играла за Европейский кубок. В ближай-

шие месяцы мы должны как минимум войти в пятерку лучших команд России", — говорит он. Гуллиту отводится две недели на подготовку команды, и сам он, по собственному утверждению, "ждет не дождется начала матчей".

Во избежание критики, Гуллит рассказывает, что ему довелось побывать в местах куда опаснее Чечни. "Я побывал в Дарфуре и в некоторых частях Экваториальной Африки. И если я вынес оттуда что-либо, так это то, что футбол дарит радость. Если я способен сделать так, чтобы человек улыбался и у него появился повод для гордости, мне этого вполне достаточно. Связываться с политикой я не хочу. — Свою роль сыграла и зарплата. — Скажу вам честно, что я здесь хорошо, даже очень хорошо зарабатываю, — говорит Гуллит. — Но главное: в команде есть боевой дух, и я хочу начать с ней работать". Когда российская журналистка спрашивает, правда ли, что, после того как команда возьмет кубок, Гуллиту выплатят десять миллионов рублей (двести пятьдесят тысяч евро), в беседу вмешивается Кадыров: "Десять миллионов рублей? Да разве это деньги?! Ты, наверное, имеешь в виду десять миллионов евро!"

Гуллит с надеждой смотрит на своего кормильца. "Договорились?" — спрашивает он с улыбкой.

"По рукам!" — отвечает Кадыров. Тон задан.

Затем Арнаут задает вопрос, который необходимо было задать. "Вы сказали, господин Гуллит, что ищете острых ощущений. За последние двадцать четыре часа в Грозном совершено четыре покушения. Достаточно ли остры для вас эти ощущения?"

Видно, что Кадыров раздражен. "Они просто пытаются нас очернить. Я сегодня проехал по всему городу, и не видел никаких взрывов. — Чуть позже он смягчается: — Все идет как надо. На свете есть бомбы, мины и прочая дрянь в том же духе. Но если кто-нибудь бросит из окна автомобиля ручную гранату, ничего особенного не случится. Бандиты и террористы есть по всему миру, но поверьте мне, что здесь, в Чечне, безопаснее, чем где бы то ни было в России!"

Гуллит рассказывает, что лучше не играть с огнем, поэтому жить в Чечне он не будет. "У нас есть тренировочная база в Кисловодске, чуть глубже в горах, там я буду жить, и там я буду тренировать команду". Все время, пока идет пресс-конференция, Кадыров явно скучает, и вдруг выдает, что ему и вправду нравится Гуллит, потому что тот — настоящий мужик. "Ему не страшно. И мы такие же, чеченцы вообще не боятся смерти". Гуллит по-прежнему улыбается, а Кадыров наказывает переводчику не переводить последнюю фразу о смерти. Гуллит говорит, что свое первое доброе дело он уже сделал. "До прошлого месяца никто в Европе не знал о команде 'Терек' из Грозного. Теперь весь спортивный мир знает, где играет эта команда". Затем президент Чечни поднимается и достает из-под

письменного стола зеленую футболку "Терека". – "Наденька прямо сейчас", – просит Кадыров, но Гуллит только улыбается. Из зала он выходит в галстуке.

Утром того же дня в грозненском аэропорту публика напряженно вглядывалась в небо. На остальной территории России по-прежнему зверски холодно, в Чечню же пришла весна, и некоторые из десятков собравшихся в аэропорту фанатов даже ходят в футболках. "Гуллит – это просто сон, – говорит Аслан, один из болельщиков, которых привезли в аэропорт в правительственных автобусах. – С приездом Гуллита здесь станет спокойнее. Еще когда у нас была война с русскими, я всегда был за голландцев, никогда за русскую команду не болел. А теперь голландский герой будет играть за мою команду. Я о таком и мечтать не мог, чтобы сам Черный Тюльпан... Да это просто дар небес!" В словах парня сквозит горькая ирония. "Черными тюльпанами" в России называют ночные рейсы с погибшими солдатами. Такие "черные тюльпаны" поднимаются по ночам в воздух над Кандагаром и Грозным.

На летном поле грозненского аэропорта в ожидании Черного Тюльпана собрались пресса, фанаты, танцевальный ансамбль, аккордеонист и группа закутанных девушек. В репортаже с места событий для "RTL Nieuws" я рассказываю о прибытии Гуллита и затем, в ходе выпуска новостей, еще раз выхожу на связь, когда маленький частный самолет садится посреди холмов. Из самолета выходит Гуллит, и тут же поднимается гвалт. Он, похоже, под впечатлением и пробует чеченский блинчик. "Очень вкусно!" – говорит он по-голландски. Закутанные девушки хихикают над иностранным языком. Гуллита мигом увозят в город в 'мерседесе' с тонированными стеклами и номерным знаком КРА. Улицы пустынны, на перекрестках дежурят вооруженные люди. За несколько часов до приезда Гуллита во время покушения в центре города ранило цветочника.

По окончании пресс-конференции мы, стремглав, несемся на еще недостроенный футбольный стадион. К моменту прибытия журналистов Гуллит уже чуть было не уехал снова. На большой скорости джип, за рулем которого сидит Кадыров, грохочет мимо нас по немощеной ухабистой дороге. Гуллит сидит на пассажирском сиденье и вынужден крепко держаться. Чуть позднее встречи с Гуллитом ожидает большая группа детей из футбольной академии с недвусмысленным названием "Рамзан". Кадыров играет с учениками, позволяет им попадать в цель и хохочет, когда те забивают. "Талант – это важно, но желание – еще важнее, – поясняет Гуллит. – Поэтому будете стараться – придете через десять-пятнадцать лет играть ко мне в команду". Позади за всем пристально наблюдают люди с автоматами. "А теперь – все фотографироваться!" – кричит Кадыров. Дети выстраиваются в шеренгу и кричат "Аллах Акбар!" По телу высокого голландца пробегает заметная всем паническая дрожь. В глазах у него страх. Он продолжа-

ет улыбаться, но кажется, будто бы он озирается, чтобы удостовериться, что все еще жив. Дети одним пальцем указывают на небо и кричат: "Гуллит! Гуллит! 'Терек'! 'Терек'!". Рююд Гуллит говорит, что футбольная академия произвела на него впечатление. "Построена каких-нибудь три месяца назад", — поясняет хромой, бывший бандит. Теперь он работает в службе безопасности Кадырова.

Чуть дальше танцуют несколько мужчин. "Ты выучишься этим замечательным кавказским танцам?" — спрашивает Кадыров с надеждой.

"Конечно же, мне хотелось бы, — отвечает Гуллит. — Но только после того, как мы выиграем матчи".

Кадыров раскатисто хохочет. "Полезай", — командует он. Снова подъезжает "мерседес", и Кадыров занимает место за рулем. Гуллит глубоко вздыхает и ищет переводчика, затерявшегося где-то в толпе. Не переставая улыбаться, он смотрит на меня и указывает на Кадырова в машине: "Может быть, ты спросишь у него, нельзя ли мне надеть шлем?"

Тем же летом однажды в понедельник на официальном сайте клуба "Терек-Грозный" появляется сообщение, текст которого сильно смахивает на жалобы сталинских времен. "Гуллиту следует знать, что его пригласили не ходить по дискотекам и наслаждаться ночной жизнью, но тренировать клуб и показывать хороший результат". Спустя пять месяцев Гуллит не смог сдержать обещание, и "Терек-Грозный" занимает четырнадцатую строчку в таблице российских футбольных клубов. "У нас здесь нет наркоманов и распущенной ночной жизни, как в Нидерландах и других странах Европы" — значится далее в сообщении. Гуллит налгал западной прессе и опозорил российскую новостную рубрику. Ему предъявлен ультиматум. На следующий день он обязан выиграть у пермского клуба "Амкар", в противном случае, его чеченские похождения окончатся.

У кромки поля в Перми Гуллит все так же улыбается. Но когда в последние пятнадцать минут матча счет по-прежнему 0 : 0, он начинает волноваться. На последней минуте защитник "Терека" Сергей Омельянчук забивает в собственные ворота. На этом карьера Гуллита в Чечне окончена. В считаные минуты после окончания матча в российское информационное агентство "Интерфакс" поступает звонок от Кадырова, в котором он подтверждает, что Гуллиту лучше не возвращаться. "Он не показал себя с лучшей стороны, — сказал Кадыров. — Все надежды насмарку"

Ольга Тилькес

Б*атавское ухо*

Голландия — это страна, где земля лучше воздуха...

Уильям Темпл

Начну с признания, что утверждения о легкомыслии французов, эксцентричности англичан, заносчивости испанцев и им подобные всегда вызывали у меня чувство недоверия. И чем больше меня пытались убедить в жадности, хитрости или высокомерии какой-то нации в противовес собственным щедрости, правдивости и кротости, тем больше восставал здравый смысл, не принимавший утверждений о том, что все французы — легкомысленны, англичане — скрытны, испанцы — высокомерны, а немцы — обжоры и пьяницы. Сомнения у меня вызывали даже выражения типа "уйти по-английски" или "целоваться по-французски", и я помню приятное чувство удовлетворения от подтверждения собственной прозорливости, когда оказалось, что поцелуй до недавнего времени был "флорентийским", а уход "по-английски" сами англичане называют французским — to take a French leave.

Поэтому вместо того чтобы рассказывать о том, какие же такие голландцы, я расскажу о качестве, которое приписывалось им испокон веков и которое до сих пор отпугивает иностранцев. Сами жители Нижних Земель и гордились им, и боролись с ним. Я расскажу о голландской прямоте, которая ее носителями воспринималась и воспринимается как прямолинейность и открытость, но в глазах иностранцев, особенно южан, это прямота из разряда "хуже воровства".

Впервые я столкнулась с ней еще в Ленинграде, где вместе с четырьмя другими студентками я начинала учить голландский язык. Учебников не было, и азами и буками мы овладевали по сборнику анекдотов и по пословице "голь на выдумку хитра". Анекдоты мы читали, переводили, разыгрывали в ролях, превращали их в маленькие рассказы, меняя прямую речь на косвенную.

© Ольга Тилькес, 2013

"ИЛ" с признательностью публикует эссе из готовящейся к выходу книги "В зеркале. Русские о Голландии, голландцы о России". Составитель и главный редактор Петер д'Амкур. Схоорл, Conserve, 2013.

Единственное, чего мы не делали, — мы не смеялись. Анекдоты скорее удивляли. Запомнился из них один: “Молодой человек приходит в мясную лавку и рассказывает, что у него родился сын.

Мясник. Сколько весит?

Счастливый отец. Семь фунтов!

Мясник. С костями или без костей?”

Диплом я писала про клюхты, народные фарсы, полные обманщиков, пьяниц и неверных жен, которые на потеху зрителям пьют, ругаются и кидаются ночными горшками со всем их содержимым. Как, собственно, им и положено в народной смеховой культуре. Каково же было мое удивление, когда, придя впервые в театр в Амстердаме (что само по себе было шоком: среди фотографий артистов ни одного знакомого лица, ни одного знакомого имени!), я увидела то же самое. Играли “Трех сестер”, и извечная чеховская старуха-няня делала под собой лужу. Система Станиславского à la Hollandaise снижала психологический реализм до гротеска, придавая “подводному течению” создателя актерской системы буквальное значение. До сих пор я хожу в голландский театр не без опаски, хотя видела с того времени немало великолепных спектаклей.

Позднее, занимаясь историей голландского Золотого века, я познакомилась и с историей голландской “прямоты”. Об этих двух историях я и хочу рассказать. Хотя теперь принято говорить о нидерландцах, вслед за всеми, писавшими о жителях этой страны с конца XVI века, я буду называть их голландцами — по названию самой богатой провинции, игравшей первую скрипку в Республике — или фламандцами — по самой богатой из Семнадцати провинций Испанских Нидерландов.

Как и многие до сих пор бытующие “клейма” того или иного народа, это также связано с физической географией и восходит к Гиппократу, выделившему три климатические зоны и давшему характеристику их обитателям. Север Европы населяли люди, обладавшие недюжинной силой, но не блиставшие умственными способностями. Народы Азии были наделены изощренным умом, но физически слабы, трусливы и ленивы. И лишь жители умеренной зоны, то есть Греции, где жил сам Гиппократ, сочетали в себе лучшие качества обитателей двух крайних зон. Идею подхватил Аристотель, а вслед за ним поэты, географы, историки и даже архитекторы. Витрувий в начале шестой книги пишет, что русые и сероглазые северяне красиво сложены и сильны, но тяжелый влажный воздух замедляет работу их ума, цепенеющего от сырости, как змея. Тацит наделил свободолюбивые и воинственные германские племена, среди которых он называет и племя батавов, простыми и грубыми нравами. Образ людей, сильных духом и телом, но грубых, недалеких и невежественных, укрепился так прочно, что Марциал в одной из эпиграмм хвалится тем, что его шутки знает всякий, у кого нет “батавского уха”.

Это *Батавское ухо* (*Auris Batava*) Эразм включил в 1508 году во второе издание своих "Пословиц" ("Adagia"), вышедшее в Венеции в типографии знаменитого Мануция. Объясняя, что выражение Марциала означает грубого невежу, Эразм пытается реабилитировать батавов: за полвека до этого была найдена рукопись "Германии" Тацита, и в смелых обитателях острова, омываемого водами Рейна, голландцы узнали себя. Признавая, что у них нет изысканности итальянцев, Эразм воспевает простоту, прямоту и честность батавов. Да, говорит он, они проявляют пагубную склонность к обжорству и пьянству, но это происходит оттого, что страна так богата благодаря своей торговле. Да, среди них не так много ученых, но что делать, если ученость ценится меньше, чем нравственность.

Эразм первым представил изъян грубости нравов батавов как достоинство их простоты. Через полвека худородные дворяне Испанских Нидерландов подобным же образом превратят уничижительное "gueux", "нищие попрошайки", как окрестил пришедших с Прошением к наместнице ее советник Карл Берламон, в почетный титул "гезов". Они переймут всю атрибутику "нищих": суму, миску, бутылку, а на жетонах, которые должны были носить нищие, выбьют "Во всем верны королю". Прибавив на реверсе: "Даже низведенные до уровня нищих". В музее истории в Гааге можно увидеть стеклянную чашу 1571 года с именами пяти гезов: Treslong, Renesse, Egmond, Morgan, Bailleul. Против имени шестого, Дроге, выгравировано: sans ester ghys. Он не мог называться "нищим", потому что не был дворянином!

С Эразма начинается битва за батавов. Ее подхватывает корреспондент Эразма и автор "Хроники Голландии, Зеландии и Фрисландии" Ауреолий, рисующий страну батавов как идиллическую Аркадию, где в гармонии живут бесстрашные и добродетельные аграрии и рыбари. За ним грубость *Батавского уха* опровергает Адриан Юний, гуманист, поэт, личный врач Вильгельма Оранского и историограф Голландии. Он пишет, что если раньше батавы и были слишком доверчивы, так что их обманывал каждый, да еще вдогонку обзывал их глупыми простаками, то торговые поездки стали точильным камнем для их ума, а знакомство с многими языками и культурами превратило их в космополитов наподобие Улисса. Этот "многоопытный муж", который "странствовал долго" и "многих людей города и обычаи видел", являл пример того, что благоразумие и рассудительность приобретаются в путешествиях.

С этого времени богатая купеческая верхушка Республики делится на тех, кто верит в теорию географического детерминизма, и тех, кто верит в "батавский миф". Первые посылают сыновей в *гранд тур* по Италии и Франции, цели которого сформулировал знаменитый Юстус Липсий. В поездке юноша должен был приобрести благоразумие и рассу-

дительность (prudentiae), знания (scientiae) и высокие моральные качества (morum). Липсий хотел бы, чтобы его последний пункт стал для путешественника первым, но он понимал, что "живущие праведно бегут толпы, и праведность таится в сердце, а не написана на лбу. Чтобы встретить их, нужно близко знать людей, а это редко выпадает на долю путешественников". Искусство же разговора и изысканных манер можно увидеть и со стороны, и у путешественника есть все резоны искать их за границей, у более цивилизованных народов — итальянцев, испанцев, французов, "но это приобретенное искусство должно стать естественным, без нарочитости и не напоказ. Иначе это вызовет только смех, которым часто встречают вернувшихся из Италии и Франции".

Огромное значение, которое придавали *гранд туру* своих детей голландские "nouveaux", видно из детального плана поездки, составленного в 1592 году Йоханом ван Олденбарневелтом, Адвокатом Голландии, фактически управлявшим страной, для своих сыновей, старшему из которых было в этот момент три года, а младшему один год! После учебы в Лейденском университете они должны были девять (!) лет провести в поездках по Франции, Италии, Швейцарии и Германии под присмотром "прецептора", знатока юриспруденции, истории, латинского, греческого, итальянского и французского, притом человека светского и из хорошей семьи. Излишне говорить, что все честолюбивые планы ван Олденбарневелта закончились ничем, и сыновья, которым отец прочил большое будущее, приобрели за границей лишь титулы, почетные должности и многочисленные долги.

Как раз этого и опасались те, кто верил в "батавский миф". Гордые суровой прямотой батавов, они боялись, что из поездки по Италии или Франции молодые люди вернутся с галантными манерами и одетыми по последней моде, но с такой же пустой головой, с какой они и уезжали. Юнцов, пускавшихся в дальний путь, подстерегали и другие опасности. Тот же Липсий предупреждает путешественника, что среди мужчин в Италии много хитрых и ловких обманщиков, а среди женщин есть красавицы, но они распутны и бесстыдны, "поэтому для *простаков вроде нас*, — пишет самый известный в то время профессор Лейдена, — там кроется опасность, спасти от которой путешественника могут рассудительность и счастье". Опасались и соблазна содомии, поджидавшего их чад в Италии, особенно в Тоскане, а в самой Тоскане — во Флоренции, слывшей по всей Европе вторым Содомом (отсюда и "флорентийский поцелуй"). Помимо угрозы плоти существовала и угроза духу: еще не окрепшие в вере юнцы попадали к католикам. И поэт-купец Румер Фиссер, защищая старые нравы, рисует картину Золотого века, когда люди были простыми и наивными. Потом пришло вежество, усмотрело в простоте и наивности глу-

пость и грубость, и люди лишились чистоты нравов. Он призывает голландцев не стыдиться своей неотесанности, ведь в искусстве мореплавания они намного превосходят все другие народы. Любопытно, что вслед за поэтом-купцом, пытавшимся извинить неотесанность искусством мореплавания, голландцы называют свою прямолинейность, в которой иностранцы усматривают бестактность и невоспитанность, "прямо по морю".

Отголоски споров недорослей, стыдившихся "батавского уха" и страстно желавших как приобрести "вежество", так и на время покинуть родительский кров, и сторонников "прямо по морю" слышны в "Диалоге Филемона и Пуденса о Путешествиях" самого читаемого поэта того времени Якоба Катса. Все имена диалога — говорящие, как и название книги, в которую он входил, — "Зерцало старых и новых времен". Стыдящийся своей неотесанности юноша Пуденс собирается в дальние края, чтобы "учить языки и приобрести хорошие манеры", но мудрый Филемон не видит в этой затее никакого прока: "Камбала как была, так и останется плоской". Пуденс настаивает на своем: "И неотесанного можно обтесать". В конце концов Филемон соглашается, что поездка может принести пользу, но только если путешественник отправится в путь, хорошо все обдумав, не будет ездить слишком долго и прислушается к хорошим "урокам путешествия". Например, к такому: "Только хамы и растяпы / Щадят поля дорожной шляпы". Иными словами, лучше лишний раз снять шляпу, чем прослыть невежей. И Пуденс едет на юг набираться хороших манер, надеясь вернуться оттуда Пруденсом.

Пока неотесанные голландские увальни превращались в краях учтивости и предупредительности в галантных кавалеров, учились легко танцевать и непринужденно кланяться, враги раздували образ грубого и неотесанного пьяницы-голландца. В конце XVI — начале XVII века врагами были испанцы, а с середины XVII века — англичане. С легкой руки Шарля де Костера и Шиллера весь мир знает о ненависти жестокосердного короля Испании к свободолюбивому нидерландскому народу. Однако мало кто знает, что до того, как в пословицу вошла фраза "España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura" ("В Испании мои корни, в Италии — счастье, в Нидерландах — могила"), среди кастильских грандов бытовало выражение "No hay más Flandes" — "Нет ничего лучше Нидерландов". Страна представлялась им краем благоденствия, краем молочных рек с кисельными берегами. Вынужденные вернуться вслед за Филиппом в грязь Толедо, они с тоской и вожделением вспоминали чистоту Фландрии, а сам Филипп выписывал оттуда саженцы в разбитые по образцу фламандских сады.

С началом Восстания, бывшего в глазах испанцев Мятежом, рождается и новый образ фламандцев, вернее, возрождается старый образ недалеких и простодушных пьянчужек-бата-

вов, которых мятежникам так легко удалось поймать на удочку, потому что фламандцы все россказни принимают за чистую монету. Это овцы, которых мятежники-волки убедили, что во всем виноваты собаки-испанцы. Главным волком был, конечно, Tudesco, немец Вильгельм Оранский. Играя словами "кальвинист" и "calvo" — "лысый", испанцы представляют Оранского с лысой головой и лысым, calvo, сердцем, монстром, который при живой жене живет с princesa monja, принцессой-монахиней, сбежавшей из монастыря (Шарлотта Бурбон, третья жена Оранского).

Начало Мятежа они сводят к пьяной выходке нидерландских дворян, переодевшихся после обильных возлияний нищими и вручивших Прошение наместнице (кутежи и переодевания были в порядке вещей среди нидерландской знати). Пьянство шло рука об руку с грубостью нравов. Алонсо Васкес рассказывает, что младенцам дают в Нидерландах бутылочные тыквы, наполненные вином или пивом, а взрослые только и делают, что пьют и целуются, не вытерев рот, и такой поцелуй называется у них "гугенот". В пьесе Лопе де Веги "Бедность не порок" слуга удивляется, узнав, что в Нидерландах вместо вина пьют пиво. За неимением испанского вина он и сам пьет это голландское пойло, "эту мочу хворой кобылы, у которой вот уже три дня как горячка". Похоже, что Лопе де Вега не знал, что к пиву, правда, английскому, пристрастился в Англии и испанский король Филипп II. Среди испанских солдат ходили слухи о страшном обычае фламандцев приносить в дар любимой девушке голову испанца, но все эти испанские рассказы о людях с песьими головами — лишь вывернутая наизнанку "черная легенда", шитая белыми нитками.

Негативный образ голландцев у англичан намного прочнее, непонятнее и интереснее. О его глубине свидетельствует хотя бы длинный перечень устойчивых словосочетаний со словом "Dutch" (голландский): "Dutch courage" — храбрость после выпивки, "Dutch party" — каждый платит за себя, "Dutch bargain" — сделка, выгодная только одной из сторон, "Dutch comfort" — слабое утешение, "Dutch concert" — пение, кто в лес, кто по дрова, "Dutch feast" — пирушка, на которой хозяин напивается раньше гостей, "Dutch nightingales" — лягушки... Объяснить его можно было бы столкновением коммерческих интересов голландцев и англичан, которое привело к трем войнам, следовавшим одна за другой в 50, 60 и 70-е годы XVII века, не превратись Dutch в пейоратив за много лет до этого.

Английская аристократия всегда с пренебрежением относилась к неродовитым фламандцам и голландцам. Елизавета считала ниже своего достоинства вести переговоры с худородными дворянами Нидерландов, которые были к тому же мятежниками, свергшими законного монарха. Когда же после падения Антверпена английской королеве не оставалось ничего другого, как послать на помощь Соединен-

ным Провинциям армию, один из сопровождавших графа Лестера офицеров пренебрежительно отозвался о голландцах как о "державных повелителях мельниц и сыров". Богатые купцы, пусть они и заседали в Генеральных Штатах, определяя политику страны, оставались для англичан лишь неотесанными "сырными головами".

Конечно, были среди англичан и исключения. Одним из них был английский посланник в Республике Уильям Темпл, чьим секретарем станет позже Джонатан Свифт, знаменитый автор "Гулливера". Темплу явно пришлись по душе простота и благоразумие голландских регентов, которые оказались совсем не теми варварами и алчными торгашами, какими их представляла английская пропаганда. В простоте и скромности жизни магистратов Темпл видит одну из причин могущества Нидерландов. С уважительным изумлением он пишет, что вице-адмирал де Рейтер и Великий пенсионарий Йохан де Витт не отличаются от обычных горожан ни одеждой, ни жилищем, ни столом, ни привычками, ни обхождением. Во всем они обнаруживают простоту и скромность частных граждан. Но и сам Темпл вызвал симпатию голландцев своей легкостью, доброжелательностью и рыцарством. Так, Le Chevalier, его и будет называть де Витт. Для Великого пенсионария приезд Темпла, при знакомстве *первым* протянувшим ему руку, что значило в то время гораздо больше, чем сейчас, было настоящим благословением, особенно в сравнении с предыдущим английским послом в Республике Джорджем Даунингом (это в его особняке находится резиденция британского премьер-министра), люто ненавидившим все голландское и высланным из страны за интриги и шпионаж.

Благословенны были первые годы в Нидерландах и для самого Темпла, несмотря на его насмешливые сетования: "Не вдыхаем ничего, кроме туманов, и не говорим ни о чем, кроме дел". Или о голландском языке: "Невозможно увидеть красоту женщины, если она говорит на этом языке. <...> Он звучит так, как будто женщина всегда чем-то недовольна и в то же самое время говорит с тобой свысока, как будто мужчина занял у нее денег и не хочет отдавать". Не будучи ни профессиональным дипломатом, ни профессиональным писателем, играючи, за партиями в теннис с де Виттом, Темпл наладил сложные отношения между Островом и Республикой, а его "Замечания о Республике Соединенных Провинций" — лучшее эссе, написанное о Нидерландах того времени.

Простота всего уклада жизни, отмеченная Темплом, была связана не только со старыми безыскусными нравами, но и с идеями стоиков, близкими голландскому мировоззрению, с неизменным стремлением к душевному равновесию, как бы ни повернулась к тебе Фортуна. Ян Сикс, портрет которого напишет Рембрандт, постоянно повторяет в своем альбоме-дневнике: "Лучше правдиво, чем красиво". Богатый купец

Рейнир Пау, вступивший в открытую борьбу с могущественным Адвокатом Голландии Йоханом ван Олденбарневелтом, отказался от рыцарства и, следовательно, дворянства, пожалованных ему и английским королем Яковом I, и французским королем Людовиком XIII.

Простота была связана и с "достойной умеренностью", к которой призывал Кальвин. Бросать деньги на ветер, покупая слишком дорогие наряды и имея множество слуг, было в противоречии с dignitas и свидетельствовало лишь о тщеславии parvenu. Всем нам знакомы по портретам строгие черные одеяния и белоснежные воротники голландских кальвинистов. Но Амстердам все же не был Женевой, и те, кому неудержимо хотелось продемонстрировать богатство, всегда могли найти лазейку для своего тщеславия.

Шелк, шедший когда-то только на платье королей, стал к началу XVII века излюбленным материалом голландского купечества. На крашении шелка богатеют Сиксы, и только что упомянутый Ян Сикс путешествует по Италии, собирая греческую скульптуру, рисунки Рафаэля и Микеланджело, Мантеньи и Леонардо или то, что за них выдавалось. Отец Вондела, самого прославленного поэта голландского Золотого века, обосновавшись в Амстердаме, сменил профессию шляпника на торговлю шелком, и его магазин шелковых чулок оказался таким доходным, что младшего сына он посылает сначала в университет, а потом в Италию (мы, тем не менее, знаем только старшего). В черном шелке изображен Андрис Бикер, один из самых богатых и могущественных голландцев. На его указательном пальце кольцо с черным камнем. На самом деле это брильянт, специально положенный на слой жженой кости, чтобы скрыть блеск. Блистать богатством надо было без блеска. Меньше всего блеска на портретах меннонитов, которых во всем, в том числе и в одежде, должна была отличать умеренность: маленькие воротники, часто не накрахмаленные (переводить муку на крахмал считалось грехом), манжет часто и вовсе нет, как нет и украшений, разве что обручальное кольцо на указательном пальце. Именно меннониты, нередко занимавшиеся торговлей шелком, владели баснословными состояниями.

Голландская простота пришлась мне по душе. Мне нравятся человеческие пропорции голландских домов и их беленые стены. Я не скучаю по коринфскому ордеру, который здесь, как, впрочем, и в других протестантских странах, встретишь нечасто. Но больше всего мне по нраву пришлась прямолинейность голландцев, их "батавское ухо" или "прямо по морю". На прямой вопрос они ожидают такого же прямого ответа. "Нет" действительно означает "нет", а "да" — "да". Здравомыслие купцов, ремесленников и земледельцев, людей занимающихся практической деятельностью, их опыт, трезвый взгляд на вещи принесли понимание того, что страх назвать вещи своими именами

только усложнит проблему, а решить ее легче "прямо по морю". Иностранцев, привыкших обволакивать отказ вежливым уходом от ответа, увертками, экивоками, туманными обещаниями или расплывчатым согласием, голландская прямота поначалу шокирует. Но, однажды поняв, что за прямотой не кроется желания обидеть, остается только радоваться легкости общения, которому не мешают церемонии, обычно называемые "китайскими". Но это уже тема для другого рассказа.

Декарт, проживший в Нидерландах более двадцати лет, говорил, что выбрал эту страну, потому что "ее климат способствует мысли" — примечательное высказывание для человека, определившего себя через мысль. Правда, Декарт имел в виду не влажность воздуха, а духовный климат, свободу выражения мысли, неотъемлемую часть которой составляет голландская прямота — "прямо по морю" и "батавское ухо".

Голландская литература на страницах "ИЛ"

1958

де Фрис Тойн — *Олень*. Рассказ. Перевод И. Табаровской [6]

1964

Волкерс Ян — *Черный сочельник*. Рассказ. Перевод с английского Г. Шведова [8]

1977

Люсеберт — *Сатирические стихи*. Перевод Виктора Топорова [2]

1984

Боманс Ходфрид — *Рассказы*. Перевод Игоря Братуся [6]

1985

Кармиггелт Симон — *Рассказы*. Переводы В. Любаровой, И. Волевич, Ю. Сидорина и И. Братуся [6]

1990

ван Веринг Косс — *Ханс-Георг Раух*. Перевод И. Ланина [10]

1991

Верхейль Кейс — *Тишина русской лирики*. Два этюда. Вступление Анатолия Наймана [3]

1992

Слауэрхоф Ян Якоб — *Корабль дураков*. Стихи. Перевод Евгения Витковского [3]

1996

Нотебоом Сейс — *Следующая история*. Повесть. Перевод Игоря Ланина [12]

Рогхеман Виллем М. — *Стихи*. Перевод и вступление Д. Сильвестрова [12]

1998

Палмен Конни — *Законы*. Главы из романа. Перевод И. Трофимовой [1]

1999

Мулиш Харри — *Симметрия*. Рассказ. Перевод С. Белокриницкой [11]

2001

ДЕ МООР МАРГРИТ — *Дженнифер Винкелман.* Рассказ. Перевод и вступление С. Князьковой [11]

2002

ВАН ХЕЕ МИРИАМ — *Стихи.* Перевод Д. Сильвестрова [11]

2007

РОГХЕМАН ВИЛЛЕМ М. — *Стихи.* Перевод и вступление Дмитрия Сильвестрова [7]

2012

НОТЕБООМ СЕЙС — *Гроза.* Рассказ. Перевод Евгении Ярмыш [9]

Арнон Грюнберг
Arnon Grunberg
[р. 1971]. Прозаик, драматург, сценарист. Лауреат крупнейшей нидерландской литературной премии Константейна Хёйгенса [2009].

Автор романов *Серые понедельники* [*Blauwe maandagen*, 1994], *История моей плешивости* [*De geschiedenis van mijn kaalheid*, 2000; рус. перев. 2005], *Тирза* [*Tirza*, 2006] и др.
Повесть *День святого Антония* переведена по изданию *De heilige Antonio* [Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2011].

Кадер Абдола
Kader Abdolah
[р. 1954]. Нидерландский прозаик иранского происхождения. Лауреат престижных литературных премий Нидерландов, в том числе приза *Золотое ослиное ухо* за лучший дебют [1994] и премии имени Э. дю Перрона [2001].

Автор романов *Дом при мечети* [*Het huis van de moskee*, 2005] и др., большого числа статей.
Повесть *De kraai* публикуется по изданию *Объединение коллективной пропаганды голландской книги* [*Stichting collectieve propaganda van het Nederlandse boek (de Stichting CPNB)*. Uitgeverij de Geus bv, Breda, 2011].

Херман Кох
Herman Koch
[р. 1953]. Писатель, журналист, телеведущий. Лауреат премии *За лучшую книгу* [2009].

Автор романов *Ужин* [*Het diner*, 2009], *Летний дом с бассейном* [*Zomerhuis met zwembad*, 2012].
Рассказ *De voorbijgander* взят из сборника *Краткая история предательства* [*Korte geschiedenis van het bedrog*. Amsterdam: De Bezige Bij, 2011].

Саннеке ван Хассел
Sanneke van Hassel
Актриса и писательница. Лауреат премий дебютантов *Женщина и культура* [2005], *Селексиз* [2006] и Культурного фонда БНГ [2007].

Автор сборников рассказов *Ледяной дождь* [*Ijsregen*, 2005], *Белое Перо* [*De witte veder*, 2007] и др.
Рассказ *De witte veder* взят из сборника *Белое Перо (рассказы)* [*De witte veder (verhalen)*. Amsterdam: De Bezige Bij, 2008].

Рутгер Копланд
Rutger Kopland
[наст. имя Рутгер П. Хендрик ван ден Хоофдаккер]
[Rutger P. Hendrik van den Hoofdakker]
[1934–2012]. Поэт. Лауреат премии Питера К. Хофта [1998].

Автор 15 стихотворных сборников.
Перевод стихов выполнен по изданию *Счастье опасно* [*Geluk is gevaarlijk*. Amsterdam: Rainbow Pocketboeken Uitgave in samenwerking met Uitgeverij G.A. van Oorschot, 2000].

Рамсей Наср
Ramsey Nasr
[р. 1974]. Поэт, прозаик, драматург, выступает как актер и режиссер. Национальный поэт-лауреат [2009—2013].

Автор книг *27 стихотворений и ни единой песни* [*27 gedichten & Geen lied*, 2000], *богоматерь-цепеллин* [*onze-lieve-vrouwe-zeppelin*, 2006], *Моя новая родина* [*Mijn nieuwe vaderland*, 2011] и др.
Перевод фрагментов *Зимней сонаты* [*Wintersonate*] выполнен по изданию *Неурочный расцвет* [*Onhandig bloesemend*. Amsterdam: De Bezige Bij, 2004].

Миха Хамел
Micha Hamel
[р. 1970]. Поэт, композитор, дирижер.

Автор трех книг стихов: *Подсчитаны по одному* [*Alle enen opgeteld*, 2004], *Небесные корни* [*Luchtwortels*, 2006], *Теперь, когда ты спросил* [*Nu je het vraagt*, 2010].
Перевод стихотворения выполнен по изданию *Подсчитаны по одному* [*Alle enen opgeteld*. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Augustus, 2004].

Тоон Теллеген
Toon Tellegen
[наст. имя Антониус Отто Херманнус]
[Antonius Otto Hermannus]
[р. 1941]. Поэт, прозаик, драматург. Лауреат премии Константейна Хёйгенса [2007].

Автор книг для детей, многие из которых переведены на русский язык, более 20 стихотворных сборников, четырех драм, нескольких книг прозы, в том числе *Две старые старушки* [*Twee Oude Vrouwtjes*, 2000; рус. перев., 2003], *Поезд в Павловск и Остфоорне* [*De Trein naar Pavlovsk en Oostvoorne*, 2003; рус. перев., 2003].
Публикуемые стихи взяты из сборников *Медленное падение* [*Een langzame val*. Amsterdam: Querido, 1991], *Школа танцев* [*Een dansschool*. Amsterdam: Querido, 1992].

Арьен Дейнкер
Arjen Duinker
[р. 1956]. Поэт, журналист, переводчик.

Автор книг *Пескоструйный аппарат и другие стихи* [*De gevelreiniger en anderen*, 1994], *История перечислений* [*De geschiedenis van een opsomming*, 2000; рус. перев. 2006], *И что? Бесконечность* [*En dat? Oneindig*, 2004] и др.
Публикуемое стихотворение взято из сборника *Соседская детвора* [*Buurtkinderen*. Amsterdam: Querido, 2009].

Эстер Наоми Перкин
Ester Naomi Perquin
Поэт. Обладатель почетного звания Поэт г. Роттердама [2011—2012].

Автор книг стихов, отмеченных премиями: *Приспущенные салфетки* [*Servetten halfstok*, 2007], *Досмотр камер* [*Celinspecties*, 2012] и др.
Публикуемое стихотворение взято из сборника *От имени другого* [*Namens de ander*. Amsterdam: Van Oorschot, 2009].

Ян Волкерс
Jan Wolkers
[1925—2007]. Писатель, поэт, скульптор.

Всемирную славу Волкерсу принес роман *Турецкие сладости* [*Turksfruit*, 1969] и его экранизация режиссером Полом Верхофеном [1973].
Текст публикуется по изданию *Назад в Ухстхейст* [*Terug naar Oegstgeest*. Amsterdam: Meulenhoff, 1970].

Сейс Нотебоом
Cees Nooteboom
[р. 1933]. Поэт, прозаик, журналист, переводчик. Лауреат премии Гёте [ФРГ, 2002], Европейской литературной премии [Австрия, 2003]. Кавалер ордена Почетного легиона [Франция, 1991].

Автор романов *Филип и другие* [*Philip en de anderen*, 1954; рус. перев. 2006], *Ритуалы* [*Rituelen*, 1980; рус. перев. 2000], *День поминовения* [*Allerzien*, 1998; рус. перев. 2004], *Красный дождь* [*Rode Regen*, 2007; рус. перев. 2011] и др. В *ИЛ* печатались его повесть *Следующая история* [1996, №12], рассказ *Гроза* [2012, № 9].
Публикуемые эссе взяты из книги *Все пути ведут в Сантьяго* [*De omweg naar Santiago*. Amsterdam / Antwerpen: Uitgeverij Atlas, 2007].

Артур Жапен
Arthur Japin
[р. 1956]. Прозаик, драматург, сценарист.

Автор романов *Черный с белым сердцем* [*De zwarte met het witte hart*, 1997], *Сон льва* [*De droom van de leeuw*, 2002; рус. перев. 2011], *Вацлав* [*Vaslav*, 2010] и др.
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Все рассказы* [*Alle verhalen*. Amsterdam / Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers, 2011].

Ян Броккен
Jan Brokken
[р. 1949]. Писатель и журналист.

Автор романов *Провинция* [*De provincie*, 1984], *В доме поэта* [*In het huis van de dichter*, 2008] и др., книги *Души Балтии* [*Baltische zielen*, 2010].
Перевод фрагмента романа *В доме поэта* выполнен по изданию *In het huis van de dichter* [Amsterdam / Antwerpen: Uitgeverij Atlas, 2010].

Олаф Кунс
Olaf Koens
[р. 1985]. Журналист, фриланс-корреспондент телекомпании RTL [Нидерланды]. С 2008 г. живет в Москве.

Автор репортажей, посвященных различным аспектам жизни в России.
Текст публикуется по изданию *Кавказские канатоходцы. Путешествие по запущенному саду России* [*Koorddansen in de Kaukasus. Reis door Ruslands onbeheersbare achtertuin*. Nieuwe Amsterdam Uitgevers, 2012].

Ольга Тилькес
Преподаватель русской литературы, доктор филологических наук. В настоящее время работает в Амстердамском университете.

Один из авторов рубрики *ИЛ Письма из-за рубежа* [2004, № 6; 2005, № 7].

Переводчики

Светлана Князькова
Переводчик с нидерландского, специалист по нидерландской литературе.

В ее переводах публиковались рассказы и повести С. Кармиггелта, Я. Волкерса, Х. Клауса, Х. Раса, Х. Лампо, Р. Скуманса, романы М. де Моор *Серое, белое, голубое* [1996], А. Грюнберга *Фантомная боль* [2005] и *История моей плешивости* [2011], а также *Неспящие* А. Вербеке [2009]. В *ИЛ* в ее переводе опубликован рассказ М. де Моор *Дженнифер Винкелман* [2001, № 11].

Надежда Возненко Переводчик с нидерландского.	В ее переводе вышли книги Ш. Схейена *Дягилев. Русские сезоны навсегда* [2012—2013; в соавторстве с С. Князьковой], а также фрагменты романа *Тонио* А. Ф. Т. ван дер Хейдена [*Звезда*, 2013, № 6]. В *ИЛ* публикуется впервые.
Екатерина Торицына-Астахова Переводчик с нидерландского.	В ее переводе вышла пьеса Л. Векеманс *Ее сестра* [2011]. Готовится к печати перевод книги Г. Кёйера *Книга обо всем* [Самокат]. В *ИЛ* публикуется впервые.
Ирина Михайлова Переводчик, лингвист. Доктор филологических наук. Лауреат премий Нидерландского литературного фонда *NLPV-vertalersprijs* [2005] и за вклад в укрепление российско-нидерландских культурных связей Посольства Российской Федерации в Нидерландах *RusPrix* [2011].	А ее переводе вышли произведения Й. Хейзинги, С. Нотебоома, А. Ф. Т. ван дер Хейдена, К. Верхейла, М. Нейхофа, Г. Гезелле, М. Бисхёвела, К. ван хэт Реве, Я. Волкерса и др. В *ИЛ* публикуется впервые.
Нина Тархан-Моуравi Переводчик с нидерландского.	Выпустила четыре сборника переводов русской поэзии на нидерландский язык, переводила стихи А. Ахматовой, О. Мандельштама и др. На русском языке в ее переводе опубликованы стихи И. Герхардт, Х. Марсмана, Я. Кампертa, Г. Комрея и др. В *ИЛ* публикуется впервые.
Евгения Ярмыш Переводчик с нидерландского и английского языков. Лауреат конкурса переводов имени Норы Галь [короткий список — 2012].	В ее переводе с нидерландского опубликованы рассказы С. Нотебоома *Гроза* [*ИЛ*, 2012, № 9] и *Конец сентября* [*Звезда*, 2013, № 6].
Екатерина Асоян Переводчик с нидерландского.	В ее переводе изданы романы современных голландских авторов К. Палмен *Наследие* [2000], Л. де Винтера *Небо Голливуда* [2002], Т. Краббе *Пещера* [2006], Т. де Лоо *Близнецы* [2009], А. Энквист *Контрапункт* [2011], а также фрагмент романа М. Раскер *В неизвестном направлении* [*Звезда* , 2013, № 6].
Ирина Лейченко Переводчик с нидерландского и английского языков.	В ее переводе с нидерландского опубликованы отрывок из романа *Вот имена* Т. Виринги и глава из книги Я. Брокена *Души Балтии* [*Звезда*, 2013, № 6]. В *ИЛ* публикуется впервые.

[11] 2013

ПЕРЕВОДИМ С ШВЕЙЦАРСКОГО: РОМАН ГЕРХАРДА МАЙЕРА “БОРОДИНО” / РАССКАЗЫ И СТИХИ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ШВЕЙЦАРИИ / РОБЕРТ ВАЛЬЗЕР, ШАРЛЬ-АЛЬБЕР САНГРИЯ И ФИЛИПП ЖАКОТЕ В РУБРИКЕ “ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА” / ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: “СМЕРТЬ БОЛЬШОГО ФАВРА” ШАРЛЯ-ФЕРДИНАНДА РАМЮ / И ДР.

В оформлении обложки использован фрагмент картины Винсента Ван Гога [1853–1890] *Вороны в пшеничном поле* [1890].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко.
Дмитрий Черногаев.
Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова.
Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. “Третьяковская”, “Новокузнецкая”);
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске “Экспресс-хроника” (Страстной бульвар, д. 4);
в киоске “Лингвистика” (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине “Русское зарубежье” (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине “Фаланстер” (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в Санкт-Петербурге:
в книжном магазине “Все свободны” (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в Пензе:
в книжном магазине “В переплете” (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

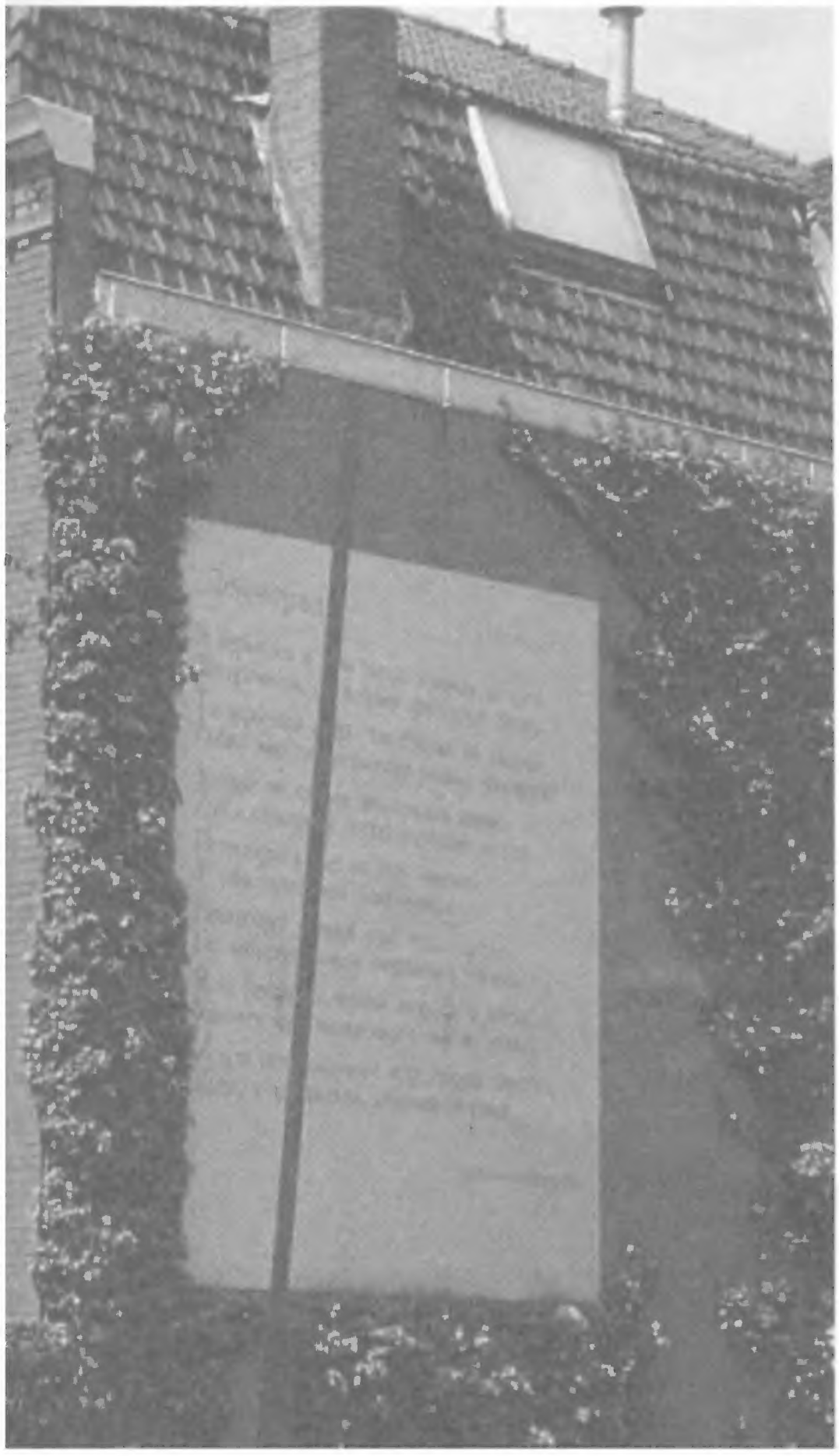
Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 18.09.2013
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 3962.
Тираж 4500 экз.

Отпечатано в ОАО “Можайский полиграфический комбинат”.
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru
www.oaompk.рф
Тел.: (495) 745-84-28; (49638) 20-685.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

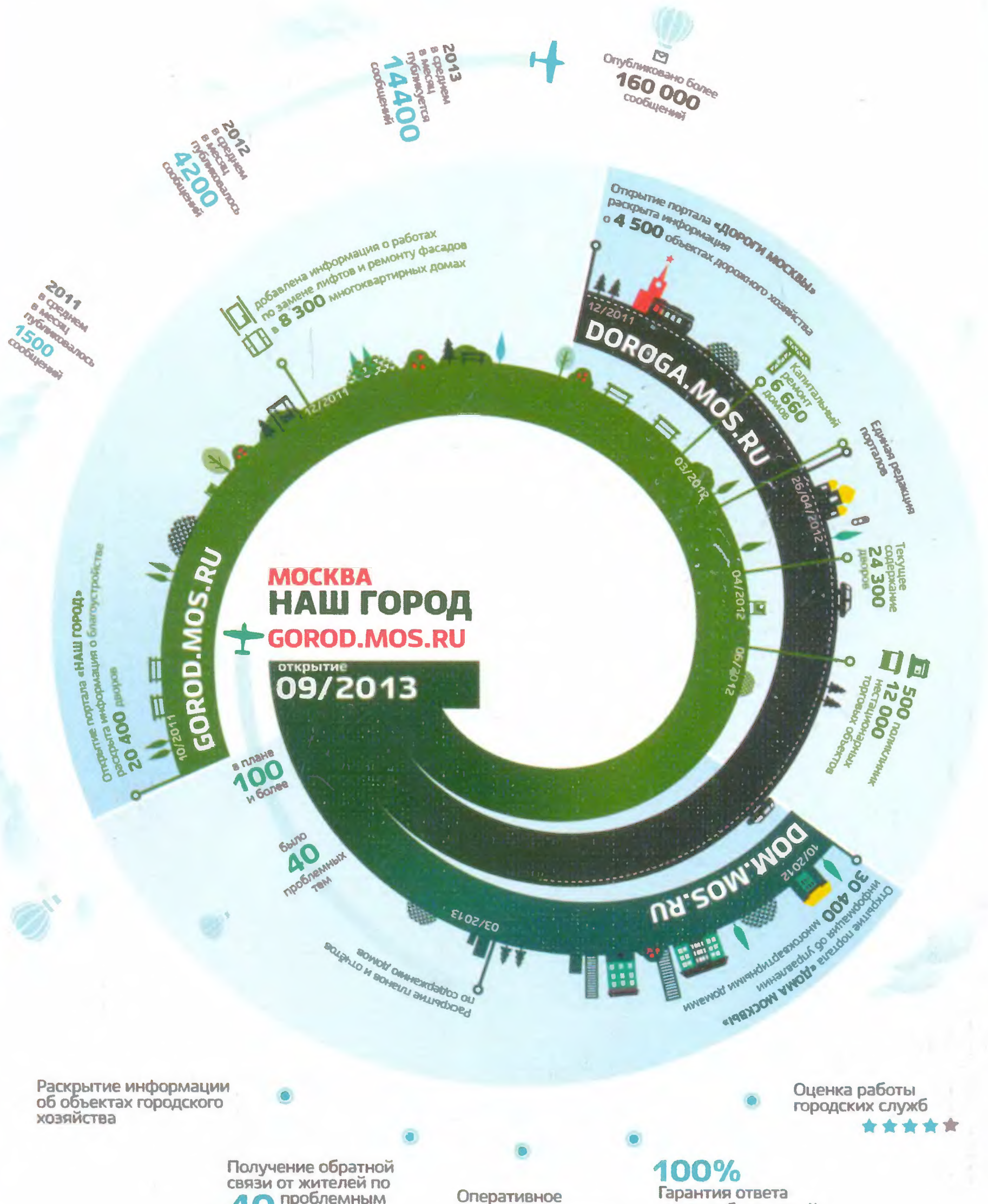
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь - начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.



Когда умирают кони - дышат,
(Kogda umirajut koni - dyšat,)
als paarden sterven - ademen ze
Когда умирают травы - сохнут,
(Kogda umirajut travy - soxnut,)
als grassen sterven - verdorren ze
Когда умирают солнца - они гаснут,
(Kogda umirajut solnca - oni gasnut,)
als zonnen sterven - doven ze uit
Когда умирают люди - поют песни,
(Kogda umirajut ljudi - pojut pesni)
als mensen sterven - zingen ze liederen

Прямая связь
с Правительством
Москвы

ЭВОЛЮЦИЯ ПОРТАЛА GOROD.MOS.RU



Раскрытие информации об объектах городского хозяйства

Оценка работы городских служб

Получение обратной связи от жителей по **40** проблемным темам

Оперативное решение городских проблем

100% Гарантия ответа за **8** рабочих дней

12+

ISSN 0130-6545 13009
9 770130 654770

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2013, №10, 1–288
ISSN 0130-6545